



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Star 4120.224 (4)

K_C
4669

Fund
Inv. 5592

П. Смирновскій.

~~2938~~
IV
1067
III

ІСТОРІЯ РУССКОЇ ЛІТЕРАТУРЫ

ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВѢКА.

Выпукъ IV.

Дальнѣйшій обзоръ литературы Александровской эпохи.

I. Подражатели Карамзина.—II. Дмитріевъ.—III. В. Л. Пушкинъ.—IV. А. Измайлова.—
V. Нарбідній.

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Издание Петербургскаго Учебнаго Магазина: Петербургская Сторона, Большой пр., д. 6.
1901.

Slav 4120. 824 (4)

✓

72 *2



11.2102810+1842

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЕВЯТНАДЦАТОГО ВѢКА.

Дальнѣйшій обзоръ литературы Александровской эпохи.

I. Подражатели Карамзина

Подражатели „Бѣдной Лизы“ и „Писемъ русскаго путешественника“.—
Распространеніе сентиментализма.

Послѣ Карамзина прежде всего обращаютъ на себя вниманіе его подражатели, тѣмъ болѣе, что литература Александровской эпохи, можно сказать, началась именно ихъ произведеніями. Въ 1801 г. появилось подражаніе „Бѣдной Лизѣ“—повѣсть Ив. Свѣчинскаго: „Обольщенная Генріетта“, за которой послѣдовалъ цѣлый рядъ подобныхъ подражаній, закончившійся лишь въ 1811 г. „Несчастной Лизой“ князя Долгорукова. Въ промежутокъ между этими годами были написаны разными авторами и „Несчастная Маргарита, истинная россійская повѣсть“, и „Прекрасная Татьяна, жившая у подошвы Воробьевыхъ горъ“, и „Исторія Бѣдной Марыи“, и наконецъ „Марьина роща“ Жуковскаго.

Владимиръ Васильевичъ Измайлова (1773—1830) увлекался сентиментальными произведеніями европейскихъ писателей и былъ великимъ поклонникомъ Карамзина. Подражая послѣднему, онъ въ 1799 г. отправился путешествовать по южной Россіи и тоже съ цѣлью „собрать идеи и обогатить себя впечатлѣніями“. Результатомъ явились два томика, озаглавленные: „Путешествіе въ полуденную Россію“ и изданные въ 1800—1802 г. Образцомъ авторъ, очевидно, имѣлъ Карамзина: онъ облекъ свое сочиненіе въ форму писемъ и, подобно Карамзину, вносилъ въ него и сентиментально-лирическія изліянія чувствъ, и описанія разныхъ достопримѣч-

тельностей, и историческая воспоминания, и картины природы, и разного рода разсуждения, и черты быта и нравов—словомъ, старался ни въ чемъ не уклониться отъ программы „Писемъ русского путешественника“. Но Измайловъ не могъ равняться съ Карамзиномъ ни талантомъ, ни начитанностью, и потому письма его не могли стать на одну доску съ Карамзинскими.

Маршрутъ Измайлова былъ слѣдующій: Серпуховъ, Тула, Орель, Курскъ, Киевъ, Полтава, Николаевъ, Одесса, Крымъ, сѣверный Кавказъ, Астрахань, Сарепта, Царицынъ. Сентиментальный тонъ виденъ уже въ первомъ письмѣ, въ которомъ авторъ говоритъ:

„Подъ отечественнымъ небомъ странствуя съ мирною душою. Иногда вечерній вѣтерокъ нанесетъ облако горести, тѣнь задумчивости; но съ утренней зарею показывается мнѣ новая заря счастія, и пѣсни утреннихъ птичекъ пробуждаютъ въ душѣ моей новое чувство спокойствія и радости. Такъ и буду пилигримствовать, утѣшаюсь жизнью, наслаждаясь меланхоліей, наблюдая съ любопытствомъ и природу и человѣчество, и всѣ тѣ предметы, которыхъ воспоминаніе достойно оставаться эпохой въ жизни мыслящаго и чувствующаго существа. Со мною два человѣка, добрые и простые, которыхъ привязанность замѣняетъ для меня дружбу.. Я обхаживаю пѣшкомъ всѣ любопытныя мѣста, заглядываю въ каждый уголокъ рошицы, гуляю, взбираюсь на горы, сбѣгаю въ долины, ищу раздѣлять со всею вселеною живость чувствъ моихъ, сообщаю людямъ моимъ каждое новое открытие взора, обнимаю ихъ въ движеніи радости и спрашиваю: «Видите ли, какъ прекрасно льются струи сег о прозрачнаго ручейка? Слышите ли, какъ сладко поетъ соловей? Чувствуете ли, какъ сердце томится отъ нѣжности?»“

Для характеристики міросозерцанія автора приведемъ одно изъ киевскихъ его писемъ. Похваливъ чистоту нравовъ киевлянъ, Измайловъ въ XXXVI-мъ письмѣ говоритъ:

„Киевские жители прикасаются еще только къ развитію тѣхъ нравственныхъ способностей, которые составляютъ человѣка въ высочайшемъ смыслѣ сего слова; которое *) въ системѣ всемирной гармоніи должно, можетъ быть, довершить твореніе человѣка; которое до сихъ поръ остается предметомъ спора между апостоловъ науки и враговъ просвѣщенія, между Жань-Жакомъ и его антагонистами, между вѣрующими совершенію ума человѣческаго и невѣрующими“.

*) т.-е. развитіе.

„Между тѣмъ, по необходимому закону вещей, нравы и народы сближаются. Киевскіе жители заимствуютъ новые обычаи и мнѣнія. Протечетъ немного времени—и вы увидите, что они потеряютъ все доброе, что показываетъ въ нихъ юность рода человѣческаго; что они пріобрѣтутъ нѣкоторыя блестящія качества, которыхъ имъ недоставало, но безъ которыхъ можно быть счастливымъ, и что съ сими качествами захватять они и развратности, сопряженныя съ дальнѣйшимъ шагомъ къ просвѣщенію.

Въ этихъ словахъ сказалось вліяніе Руссо, котораго Измайлова очень цѣнилъ и называлъ *своимъ любезнымъ женевецемъ*. Но Измайлова склоненъ былъ думать, что Руссо возставалъ не противъ наукъ вообще, а противъ полупросвѣщенія. Къ приведеннымъ выше строкамъ онъ прибавляетъ:

„Черта, которая раздѣляетъ совершенное просвѣщеніе отъ совершенного невѣжества, есть, можетъ быть, средняя черта между двумя крайними точками счастія. Не сіе ли посредственное состояніе ума и науки осуждалъ славный антагонистъ науки?“

Полупросвѣщеніемъ Измайлова, какъ видно изъ его писемъ, называлъ то состояніе, когда люди, достигнувъ извѣстной вѣнчаной культурности и даже заведя у себя науки, не соединяютъ всего этого съ добродѣтелью. Онъ готовъ сдѣлать уступки скорѣе въ первомъ отношеніи, нежели во второмъ, и присутствіе добродѣтелей считаетъ необходимымъ условіемъ для счастья общества. Осуществленіе счастливой жизни онъ нашелъ у сарептскихъ колонистовъ: у нихъ, правда, нѣтъ „важныхъ наукъ“, но зато вѣнчаная европейская культура крѣпко соединена съ добродѣтелью — и потому жизнь этой общинѣ представляется автору идеальной, и онъ такъ ее описываетъ (въ письмахъ CXLI и CXLI):

„Торжество человѣческихъ обществъ есть, конечно, общество евангелическое, котораго братья поселились у насъ на берегахъ Сарпы“.

„Гуляю въ убѣжищѣ новыхъ евангелистовъ и радуюсь на гражданскій и нравственный порядокъ колоніи, которая присвоила себѣ, съ наукою добродѣтелей, художества нашего философического вѣка“.

„Вообразите себѣ посреди дикихъ пустынь веселый городокъ, украшенный не великодѣлными, но пріятными зданіями, съ малымъ числомъ людей, живущихъ безъ излишности изобилия, но безъ недостатковъ роскоши; счастливыхъ не блескомъ просвѣщенія, но простотою нравовъ; занятыхъ не важными науками, но полезными ремеслами. Вообразите себѣ уединенное убѣж

жище, гдѣ укрываются добродѣтели, изгнанныя въ мірѣ, гдѣ семейство людей есть семейство братій: такова Сарепта”.

„Но воображеніе не представить себѣ никогда того, что глаза видятъ здѣсь. Не довольно читать самое вѣрное описание Сарепты: надобно видѣть ее. Колонія выстроена очень хорошо; домики въ два этажа, оѣненные цвѣтующими райнами, занимаютъ площадь, къ которой примыкаютъ улицы, украшенныя также рядами пріятныхъ зданій. Здѣсь домъ директорскій, не превышая другихъ кровлею, величается одною смиренностью; тамъ прикасаются къ облакамъ одни тѣ дома, гдѣ воспитывается юношество и покоится вдовство *); далѣе, согласно съ бѣдностью жертвъ, приносимыхъ землею небу, стоитъ скромный храмъ молитвы; частныя жилища, фабрики, мастерскія улыбаются пріятно передъ глазами зрителя. Посреди площади, которая можетъ называться средоточiemъ колоніи, вырытъ колодезъ, изъ котораго вода проведена во всѣ кухни домовъ, чтобы быть всегда подъ рукою хозяина”.

„Подите по улицамъ, и вы встрѣтите на каждомъ шагу хозяйство трудолюбія и любовь къ порядку и тишинѣ. Спокойствіе въ домахъ, чистота даже на улицахъ, простота и опрятность въ одеждѣ каждого человѣка, выраженіе сердца на всѣхъ лицахъ. Такимъ, какъ идетъ здѣсь каждый колонистъ въ темномъ фракѣ, съ кроткимъ видомъ и смѣлымъ шагомъ, надобно воображать себѣ истинно счастливаго человѣка, который, по мнѣнію Руссо, тихо наслаждается въ глубинѣ своего сердца мирнымъ положеніемъ жизни. Такою, какъ видишь здѣсь каждую сестру за рукодѣльемъ, въ легкомъ корсетѣ, съ однимъ простымъ чепчикомъ на головѣ, подвязаннымъ ленточкою подъ шею, и съ ангельскимъ взглядомъ невинности, воображалъ я всегда ту женщину, съ которой хотѣлъ бы раздѣлить мое сердце, жизнь и уединеніе”.

„Вы можете въ нѣсколько минутъ замѣтить всѣ главныя черты ихъ гражданскаго учрежденія”.

„Первый изъ начальниковъ встрѣчается на улицѣ съ послѣднимъ изъ ремесленниковъ **), и вы трогаетесь до слезъ, видя ихъ братскую привѣтливость, ихъ взаимныя ласки, ихъ кроткое смиреніе, которое удаляетъ всякое первенство сана”.

„Вы видите въ окно огонь, пылающій на очагѣ. Войдите изъ любопытства. Сарептянка въ фартукѣ бѣломъ, подобно снѣгу,

*) Домъ вдовій и домъ братскій—одни изъ лучшихъ, изъ огромнѣйшихъ въ колоніи. (Примѣч. Изм.).

**) Я говорю по-нашему, но нѣть нужды сказывать, что въ Сарептѣ всѣ ремесла равны и всѣ одинаково уважаются. (Примѣч. Изм.).

съ руками столь же бѣлыми, отправляетъ кухню такъ чисто, такъ хорошо, что сама Софія, столь гордая въ семъ случаѣ, полюбила бы кухню *). Но кто жъ стряпаетъ? нанятая женщина, кухарка, служанка? Нѣть: сама хозяйка дома, мать многочисленнаго семейства и не послѣдняя въ обществѣ».

„Остановитесь передъ окошкомъ чистаго домика, который манить васъ къ себѣ. Вамъ открывается прекрасная комната: нигдѣ не видно пылинки, все чисто и свѣтло; столы краснаго дерева; по стѣнамъ шкафы, и за стеклами лежатъ... что бы вы думали?.. хлѣбы. Это калашня“.

„Но вотъ мельница. Мельникъ отработалъ и зоветъ васъ къ себѣ въ гости. Комната его убрана со вкусомъ; на столѣ лежать двѣ или три книжки; въ углу стоять клавикорды, и хозяинъ—тотъ, который за минуту передъ тѣмъ ссыпалъ муку на мельницѣ, прикасается легкими пальцами къ тушамъ инструмента и играетъ передъ вами симфонію. Вы удивляетесь? но спросите всѣхъ тѣхъ, которые были въ Сарептѣ“.

Письмо CXLI. „Насталъ часъ утра: братья и сестры въ молчаніи и въ смиреніи приближаются къ дому молитвы, кото-раго величество состоитъ въ простотѣ, и все украшеніе — въ одномъ образѣ Законодателя христіанъ. Мужчины садятся внизу, женщины вверху, въ особливомъ отдѣленіи, и одинъ изъ нихъ начинаетъ читать нравоучительныя главы изъ Библіи. Съ первымъ словомъ, съ первымъ именемъ Бога, произнесеннымъ языкомъ проповѣдника, глубокое чувство воцаряется во всѣхъ сердцахъ, тишина во храмѣ, благоговѣніе на лицахъ. Кажется, что Божество нисходитъ къ смертнымъ“.

„Стою во храмѣ, внимаю великимъ истинамъ, возвѣщаемымъ именемъ Бога, и самъ преклоняю колѣна. Между тѣмъ чтеніе пресѣкается: хоръ мужчинъ, вмѣстѣ съ нѣжными женскими голосами, поетъ небесные гимны, и ангельская гармонія переселяется, кажется, человѣка на небо“.

„Молитва кончится—и всѣ возвращаются въ дома свои къ рукодѣлью, работамъ и должностямъ. Надзиратель идетъ пещись обѣ общемъ порядкѣ, мать семейства приправлять чадолюбивою рукою обѣденное кушанье, ремесленникъ работать для удовольствія и для потребности: каждый платить долгъ свой общежитію—трудиться и покупать пропитаніе трудами рукъ своихъ“.

„Послѣ обѣда снова занимаются, снова работаютъ. Въ сіи

*) Руссо говорить въ своемъ „Эмилѣ“, что Софія чувствовала всегда отвращеніе заниматься кухнею. (Примѣч. Иzm.).

часы дня весь городокъ есть одна мастерская... Дѣятельность есть душа міра. Кажется, что Сарепта тогда еще счастливѣе и веселѣе".

„Вечеру дружеская искренность соединяетъ людей, иногда однихъ родныхъ, иногда и чужихъ. Они живутъ для тихихъ удовольствій и тѣмъ наполняютъ разговоры; тихо наслаждаются и тихо бесѣдуютъ. Вечерняя молитва, подобно утренней, при новомъ соединеніи братій и сестеръ, и встрѣча безмятежнаго сна, въ покоѣ ночи и совѣсти, заключаютъ кругъ ихъ мирнаго дня".

„Такъ гернгутеры проводятъ день свой; такъ они проводятъ и всю жизнь свою. Такъ хотѣль бы провести хоть нѣсколько минутъ живущій на театрѣ шумнаго свѣта и незнакомый иногда съ тѣми тихими движеніями, которые посещаютъ сердца сихъ людей" ¹⁾.

Другимъ подражателемъ „Писемъ русскаго путешественника" былъ князь Шаликовъ (Петръ Ивановичъ, 1768—1852). Онъ написалъ нѣсколько путешествій, изъ которыхъ мы остановимся на одномъ только, а именно на „Путешествіи въ Малороссію", изданномъ въ 1803 г. Это—маленькая книжечка, заключающая въ себѣ всего 43 письма. Но чему собственно подражалъ Шаликовъ? Почти исключительно однимъ сентиментальнымъ изліяніямъ Карамзина, вслѣдствіе чего въ „Путешествіи въ Малороссію" Малороссія-то и оказалась въ отсутствіи, а налицо только авторъ съ его различными чувствами, возбуждаемыми по большей части такими предметами, которые столько же могутъ встрѣтиться въ Малороссіи, сколько и во многихъ другихъ мѣстахъ. Это отсутствіе главнаго предмета въ письмахъ Шаликова видно уже изъ самыхъ ихъ заглавій: 1) „Выѣздъ", 2) „Разсужденіе", 3) „Встрѣча", 4) „Другъ", 5) „Горжество невинности", 6) „Буря", 7) „Усыновленіе", 8) „Кофе", 9) „Сладкія воспоминанія", 10) „Общество", 11) „Весна", 12) „Горестный образъ", 13) „Манускриптъ", 14) „Угощеніе", 15) „Любимецъ фортуны" и т. п.

Сдѣлавъ свое „Путешествіе", сравнительно съ письмами не только Карамзина, но даже и Иzmайлова, совершенно ничтожнымъ въ смыслѣ описанія страны, Шаликовъ и въ сентиментальныхъ изліяніяхъ стоитъ ниже автора „Писемъ русскаго путешественника". Правда, объектами его чувствительности являются, какъ и у Карамзина, природа, дружба, добродѣтель, людское горе,—но зато у Шаликова нѣтъ тѣхъ горячихъ рѣчей о просвѣщеніи, которые такъ часто встрѣчаются въ письмахъ издателя Московскаго журнала. О природѣ же, дружбѣ и добродѣтели Шаликовъ говоритъ вотъ, напримѣръ, въ какихъ выраженіяхъ.

„Природа, природа! что лучше, что милѣе тебѧ“... Съ тобою, въ объятіяхъ твоихъ все совершеннѣе! Радость ли, счастье ли—сердце наслаждается свободнѣе, сильнѣе; любовь ли, дружба ли—душа блаженствуетъ нераздѣльнѣе, полнѣе; красавица ли гуляетъ на зелени—она кажется богинею; дѣти ли бѣгутъ по лугу—они кажутся Амурами... Все такъ интересно, такъ привлекательно... И человѣкъ можетъ скучать природою! можетъ добровольно заключить себя въ угрюмомъ, хладномъ, городѣ тогда, когда она предлагаетъ ему безчисленныя веселія!... Неблагодарные!!“ (Письмо XI-е).

„Падаю на колѣна предъ Вездѣсущимъ, и єиміамъ благодарности возжигаю въ сердцѣ моемъ!—Ахъ! какой даръ для человѣка дружба! какое благо для него другъ!... Горе, горе тому, кто одинъ въ мірѣ—въ семъ печальному, слезному мірѣ!... (Письмо IV-е).

„Добродѣтель, святая добродѣтель!... во всякомъ мѣстѣ, во всякомъ состояніи добродѣтель равно прелестна, равно лучезарна—и мы вездѣ должны поклоненіемъ ей!“ (Письмо XIV-е).

„Для истиннаго счастья ничего иного не надобно, какъ здравый разсудокъ и неиспорченное сердце“ (Письмо X-е).

Въ письмѣ XII-мъ встрѣчаемъ слѣдующее сочувствіе людскому горю:

„Слушая однажды обѣднью въ сельскомъ храмѣ, я взглянуль на стоящихъ подлѣ меня крестьянъ—и увидѣль множество горбатыхъ между ними; одежда и лица доказывали, что они гораздо бѣднѣе другихъ.—Я захотѣль узнатъ достовѣрнѣе о состояніи ихъ—узналъ, и полуциркульныя ихъ спины показались мнѣ самыи простыи феноменомъ... Ахъ! радость и счастье поднимаютъ вверхъ голову нашу, а нищета и горесть наклоняютъ ее внизъ! Взгляните на любимца фортуны: онъ не думаетъ о томъ, что у него подъ ногами; онъ увѣренъ, что ходить по коврамъ, по розамъ—и шея его не имѣетъ никакой нужды сгибаться. Взгляните теперь на печальную противоположность—взгляните на забытаго людьми и рокомъ: пониклый, мрачный взоръ его устремленъ на землю; онъ ищетъ на ней... могилы, единственной отрады жизни своей!... Обманчивая надежда не распрымляетъ уже стана его... Горестный образъ!“

Сентиментализмъ Шаликова очень часто доходитъ до крайности—до приторности. Такимъ является онъ, напримѣръ, въ письмѣ: „Фортепіано“.

„Въ тихія, нѣжныя минуты вечера, въ уединенной комнатѣ, при блѣдномъ свѣтѣ луны, томные звуки фортепіано, произво-

димые женщиной — въ слезахъ... ничего не знаю трогательнѣе этого! Ахъ! какія магическія чувства овладѣютъ душою и сердцемъ вашимъ! Образъ счастія и горести, надежды и отчаянія въ сліяnnыхъ чертахъ предстанетъ вашему воображенію. Напрасно будете стараться отдѣлить одно отъ другого: нѣть возможности! Союзъ улыбки и слезы—доля человѣческая!—въ сіи минуты болѣе, нежели когда-нибудь, покажется вамъ неразрывнымъ. Ежели вы любили; ежели вы узнали сію главную, необходимую бурю, то вы еще чувствительнѣе, то вы еще болѣе находите себя въ очарованіи. О сердце! о любовь! благо ли вы, или мука? кто можетъ сказать да или нѣтъ—сказать и не ошибиться? Гдѣ же блаженство наше? неужели блаженство пустое слово? Ахъ, нѣтъ! сердце и любовь... но роза *не могла* быть безъ тернія! Вздыхаю и простираю руки къ блаженству; лью слезы и объемлю его!..“

„Одной изъ дамъ моихъ обязанъ я сладостю теперешнихъ моихъ чувствъ и мыслей. Ея фортепіано и слезы — слезы женщины за фортепіаномъ—вообразите еще разъ!—имѣли несказанную прелестъ для души и сердца моего! Ахъ, можетъ быть собственная душа и сердце ея въ сіи минуты были счастливѣе, нежели въ другія!“ ²⁾.

Князь Шаликовъ, кромѣ путешествій, написалъ много и другихъ статей сентиментального характера—и вездѣ почти сентиментализмъ у него доведенъ до крайности. Современники надѣ нимъ стали смѣяться, называли его сладенъкимъ и розовымъ, писали на него Ѣдкія эпиграммы, въ которыхъ его называли Вздыхаловымъ, Нуликовымъ и даже „кондитеромъ литературы.“ Но исторія нашла и за Шаликовымъ извѣстную долю заслуги. Галаковъ замѣчаетъ, что въ произведеніяхъ его „за смѣшными формами сентиментализма стоитъ очень почтенное дѣло—гуманность“, и прибавляется: „Сентиментальность противодѣйствовала грубости нравовъ. Какъ ни забавны и ни скучны мечтанія, вздохи и слезы чувствительного пастушка, но все же они сноснѣе похвальныхъ пѣсней татарской силѣ и безцеремонному обхожденію въ семье и въ обществѣ“ ^{3).}

Такимъ образомъ, въ первые годы XIX-го столѣтія сентиментальные произведения были у насть явленіемъ, пожалуй, еще болѣе распространеннымъ, нежели въ концѣ предыдущаго вѣка.

Теперь обратимся къ другимъ поклонникамъ Карамзина изъ среды старшаго поколѣнія писателей Александровской эпохи. Между ними видное мѣсто принадлежитъ Дмитреву и Василію

Львовичу Пушкину. Впрочемъ поклоненіе Карамзину обоимъ имъ не мѣшало высоко чтить и Ломоносова, и Державина, и Хераскова, а Дмитріеву—даже и подражать этимъ корифеямъ прежней нашей литературы.

II. Дмитріевъ (1760 — 1837).

„Взглядъ на мою жизнь“, какъ одно изъ наиболѣе цѣнныхъ произведеній Дмитріева.—Краткая виѣшняя его біографія.—Его воспитаніе, образованіе и вліяніе на него литературы иностранной и русской.—Отношеніе его къ нашимъ писателямъ старымъ и новымъ.—Его розовый взглядъ на старину и, не смотря на это, его умѣренный консерватизмъ.—Черты личности Дмитріева, родившія его съ тѣми писателями, вліянію которыхъ онъ поддавался.

Литературная дѣятельность Дмитріева далеко не вся принадлежитъ Александровской эпохѣ: онъ, подобно Карамзину, вступилъ въ XIX-й вѣкъ писателемъ, уже пользующимся большой извѣстностью, и имя его, послѣ имени Карамзина, было самымъ тогда популярнымъ и оставалось такимъ очень долго. Какъ проза автора „Писемъ р. путешественника“ считалась у огромнаго большинства современниковъ образцовой, такъ образцовыми считались и стихи Дмитріева. Но какъ ни громка была въ свое время его слава, какъ поэта, многіе и даже очень многіе стихи его послѣдующими поколѣніями забылись, и гораздо цѣннѣе этихъ забытыхъ стиховъ признаются составленные Дмитріевымъ въ 1823—1825 гг. записки, извѣстныя подъ заглавіемъ: „Взглядъ на мою жизнь“. Въ нихъ, кромѣ фактовъ автобіографическихъ, есть много такого, что обрисовываетъ пережитую авторомъ эпоху, а потому записки эти и до сихъ порь читаются не безъ интереса. Въ нихъ отразились многія черты изъ временъ императрицы Екатерины II и императоровъ Павла и Александра I. Авторъ разсказываетъ тутъ, между прочимъ, и о „коварныхъ царедворцахъ“ и объ интригахъ въ высшемъ чиновничьемъ мірѣ, и то тамъ, то сямъ указываетъ на людей, отличавшихся отчасти Фамусовскими пріемами устраивать свое ложеніе въ свѣтѣ. Такъ, напримѣръ, упомянувъ о томъ, что императоръ Павелъ „любилъ называться на балы своихъ вельможъ,“ Дмитріевъ продолжаетъ: „Тогда, на-перерывъ другъ передъ другомъ, истощаемы были всѣ способы къ приданію пиршеству большаго блеска и великолѣпія. Но вся эта наружная веселость не заглушала и въ хозяевахъ и въ гостяхъ скрытнаго страха и не мѣшала коварнымъ царедворцамъ строить ковы другъ противъ друга, выслуживаться тайными доносами и возбуж-

ждать недовѣрчивость въ государѣ, по природѣ добромъ, щедромъ, но вспыльчивомъ. Оттого происходили скоропостижныя паденія чиновныхъ особъ, внезапныя высылки изъ столицы даже и отставныхъ изъ знатнаго и средняго круга, уже нѣсколько лѣтъ наслаждавшихся спокойствiemъ скромной, независимой жизни⁴). Въ другомъ мѣстѣ своихъ записокъ Дмитріевъ такъ характеризуетъ чиновничій міръ временъ того же императора: „Со вступленіемъ моимъ въ гражданскую службу, я будто вступиль въ другой міръ, совершенно для меня новый. Здѣсь и знакомства и ласки основаны по большей части на расчетахъ свое-корыстія; эгоизмъ господствуетъ во всей силѣ; образъ обхождѣнія непрестанно измѣняется, наравнѣ съ положеніемъ каждого. Товарищи не уступаютъ кокеткамъ: каждый хочетъ исключительно прельстить своего начальника, хотя бы то было на счетъ другого. Нѣть искренности въ отвѣткахъ: ловятъ, помнятъ и передаютъ каждое неосторожное слово⁵). Чѣмъ выше подымался Дмитріевъ по ступенямъ своей служебной карьеры, тѣмъ болѣе замѣчалъ онъ темныя стороны высшей бюрократіи. Сказавъ о назначеніи своемъ въ 1798 г. дѣйствительнымъ оберъ-прокуроромъ Сената, онъ прибавляется: „Отсюда начинается ученичество мое въ наукѣ законовѣдѣнія и знакомство съ происками, эгоизмомъ, надменностью и работѣствомъ двумъ господствующимъ въ наше время страстямъ: любостяжанію и честолюбію⁶).

Само собой разумѣется, что „коварные царедворцы“ временъ Павла не стали лучшими и въ Александровскую эпоху. „Большая часть вельможъ“, —замѣчаетъ авторъ записокъ, говоря объ этой эпохѣ, — „держатся одного правила: уважать только того, кого боишься, или отъ кого надѣешься получить какую-либо выгоду; быть глухимъ и нѣмымъ насчетъ добра гдѣла своего ближняго и нескромнымъ при случаѣ малѣйшаго его промаха. Не распространяясь далѣе, изобразимъ свойство сего круга одною чертою“. И Дмитріевъ разсказываетъ о слѣдующемъ, бывшемъ съ нимъ весьма характерномъ случаѣ:

„Въ день Свѣтлого Воскресенія я слушалъ заутреню и обѣдню въ дворцовой церкви, и остался съ нѣкоторыми во дворцѣ ожидать обѣденнаго стола. Между тѣмъ пришло мнѣ на умъ спросить одного изъ старѣйшихъ въ нашемъ кругѣ⁷), не требуется ли дворскій этикетъ, или свѣтское приличие, поздравить съ наступившимъ праздникомъ принцессу Амалію, сестру императрицы, и принца съ принцессою Виртембергскихъ, имѣвшихъ во дворцѣ свое пребываніе. Онъ рѣшительно сказалъ мнѣ, что его

и нога не бывала у нихъ. Потомъ я обратился къ другому: тотъ отвѣчалъ, что онъ право не знаетъ, что сказать на мой вопросъ; *по крайней мѣрѣ самъ никогда того не дѣлалъ*. Я рѣшился идти наудачу; но, встрѣтъя въ сѣняхъ доброго маркиза де-Траверсе, предложилъ ему быть моимъ спутникомъ. «Съ радостью пошелъ бы съ вами, отвѣчалъ онъ:—но лишь только теперь былъ у нихъ вмѣстѣ съ графомъ **»—съ тѣмъ самымъ, который *никогда того не дѣлалъ!!* Итакъ я, придворный новичокъ, уже смѣло устремился къ моей цѣли—и нашелъ въ передней комнатѣ обѣихъ принцессъ на столѣ по листу для записыванія поздравителей, и на обоихъ листахъ имена моихъ *безпечныхъ*, которыхъ *и нога тамъ не бывала*.—Какъ назвать этотъ поступокъ? Почти невинною привычкою во всякомъ случаѣ, даже и въ неважномъ, выставлять себя и затирать другого. Промахъ мой не имѣлъ бы никакого послѣдствія, а все бы пріятно было для нихъ, если бы я сдѣлалъ промахъ. Сколько хитростей, даже и мелочей въ дворской науки!“ ⁸⁾

Вслѣдствіе всего этого Петербургъ Дмитріевъ называлъ „страною эгоизма“, и былъ очень доволенъ, когда, окончательно оставивъ службу, очутился подъ кровлею своего родного симбирскаго домика.

Иванъ Ивановичъ Дмитріевъ, землякъ и другъ Карамзина, родился въ 1760 г. въ Симбирской губерніи, въ родовомъ имѣніи своего отца—сель Богословскому, близъ Сызрани. По тогдашнему обычаю, еще въ дѣтствѣ былъ записанъ въ военную службу, которую и началъ нести съ 1774 г. въ Петербургъ, въ Семеновскомъ полку. По вступлениіи на престолъ императора Павла оставилъ эту службу съ чиномъ полковника и перешелъ на гражданскую. Въ 1798 г. Дмитріевъ, какъ уже знаемъ, былъ дѣйствительнымъ оберъ-прокуроромъ Сената, а въ новое царствованіе получилъ званіе сенатора и въ 1810 г. былъ назначенъ министромъ юстиціи. Уже этотъ краткій послужной списокъ показываетъ, что Дмитріевъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ писателей, у которыхъ главной дѣятельностью были литературныя занятія: писательствомъ онъ занимался урывками, и, въ противоположность усидчивому Карамзину, не могъ, по его собственному признанію, даже и въ зрѣломъ возрастѣ высидѣть за бумагой около часа: „нетерпѣливъ былъ обдумывать предпринимаемую работу“, говоритъ онъ о себѣ. „При малѣйшемъ упорствѣ риомы, при малѣйшемъ затрудненіи въ краткомъ и ясномъ изложеніи мыслей

моихъ, я бросаль перо въ ожиданіи счастливѣйшей минуты: мнѣ казалось унизительнымъ ломать голову надъ парою стиховъ и насиливать самого себя, или самую природу" ⁹⁾). Въ 1814 г. онъ оставилъ службу и поселился въ Москвѣ, где и умеръ въ 1837 г., доживъ до 77 лѣтъ. Похороненъ на московскомъ Донскомъ кладбищѣ.

Годы воспитанія и образованія Дмитріева протекли слѣдующимъ образомъ. Семилѣтнимъ ребенкомъ отвезли его въ Казань учиться въ пансионѣ французскаго мѣщанина Манженя, а скоро затѣмъ отдали въ новый пансионъ, открытый въ Симбирскѣ бывшимъ воспитанникомъ кадетскаго корпуса, отставнымъ поручикомъ Кадритомъ. Тутъ Дмитріевъ, вмѣстѣ съ старшимъ братомъ своимъ Александромъ, обучался языкамъ, французскому и нѣмецкому, русскому правописанію и слогу, исторіи, географіи и математикѣ. Особенно охотно занимался онъ исторіей и сочиненіемъ писемъ на заданную Кадритомъ тему. Но ученье это продолжалось недолго, "Дошли" — разсказываетъ Дмитріевъ — "до отца моего слухи, что умный и добрый Кадрить, которому тогда было 26 лѣтъ, платилъ дань слабостямъ своего возраста. Онъ испугался послѣдствія худыхъ примѣровъ, и взялъ нась изъ пансиона. Итакъ, на одиннадцатомъ году моей жизни прекратился рѣшительно курсъ моего ученія, когда я во французскомъ языкѣ не дошелъ еще до синтаксиса, а въ нѣмецкомъ остановился на глаголахъ" ¹⁰⁾). Далѣе образованіе продолжалось уже самоучкой — путемъ чтенія.

Нечего и говорить, что съ французской литературой Дмитріевъ сталъ знакомиться очень рано. Еще въ пансионѣ Манженя онъ прочелъ повѣсти Скаррона, Жильблаза де-Сантильяна и романъ аббата Прево д'Экзиль: "Приключенія маркиза Г**, или Жизнь благороднаго человѣка" (*Mémoires de l'homme de qualité*), въ шести частяхъ. О послѣднемъ произведеніи въ запискахъ Дмитріева читаемъ: "По этой книгѣ я получилъ первое понятіе о французской литературѣ: читая, — помнится мнѣ, въ третьямъ томѣ — описаніе ученой вечеринки, на которую молодой маркизъ и наставникъ его приглашены были въ Мадритѣ, въ первый разъ я услышалъ имена Мольера, Буало, Лопеца де-Вега, Расина и Кальдерона, критическое обѣихъ сужденіе, и захотѣлъ узнать и самыя ихъ сочиненія; этому же роману обязанъ я и тѣмъ, что началъ понимать и французскія книги" ¹¹⁾). Достигъ этого Дмитріевъ слѣдующимъ заслуживающимъ подражанія образомъ: дочитавъ четвертый томъ *Похожденій маркиза Г***, онъ узналъ

что послѣднихъ двухъ томовъ еще нѣтъ въ русскомъ переводѣ. Долго онъ грустилъ, что долженъ оставаться въ неизвѣстности обь участіи героевъ, и только во время пребыванія его уже въ Симбирскѣ одинъ изъ знакомыхъ его отца, порывшись въ своихъ французскихъ книгахъ, подарилъ ему два послѣднихъ тома романа Прево. „Этотъ день“—говорить авторъ записокъ—, былъ для меня праздникомъ! Но радость моя была минутная: въ первый же вечеръ схватилъ я пятый томъ, пробѣжалъ въ немъ первую страницу—и понялъ только нѣсколько словъ, изрѣдка—легкую фразу, и не могъ еще понимать полнаго содержанія періода. Но чего не превозмогаютъ настойчивость и терпѣливость? Я положилъ, съ помощью Вояжирова лексикона, непремѣнно прочитать отъ доски до доски оба тома. Приступя къ исполненію, я день отъ дня стать понимать болѣе; при чтеніи шестого тома уже я почти не имѣлъ нужды въ лексиконѣ. Наконецъ этотъ отважный подвигъ былъ эпохой, съ которой началъ я читать французскія книги уже не по неволѣ, а по охотѣ, и впослѣдствіи уже могъ переводить Лафонтена¹²⁾. Тутъ же Дмитріевъ, подобно Карамзину, заявляетъ, что чтеніе романовъ хорошо вліяло на его нравственность: они, по его выраженію, были для него „антиподомъ противу всего низкаго и порочнаго“. Приключенія маркиза Г**, говорить онъ, возвышали его душу. Нѣсколько позднѣе, уже будучи въ военной службѣ, Дмитріевъ увлекся легкой французской поэзіей: „прилѣпился къ вѣтреному Дорату¹³⁾ и его товарищамъ“. Еще позднѣе, а именно около того времени, когда Карамзинъ принялъся за изданіе „Московскаго журнала“, его усердный сотрудникъ „началъ изучать басенниковъ“, въ особенности Лафонтена и Флоріана¹⁴⁾. Увлеченіе легкой французской поэзіей и „басенниками“ имѣло, какъ увидимъ, большое вліяніе на поэтическую дѣятельность Дмитріева: онъ самъ прославился у современниковъ своими баснями и легкими, игривыми стихами.

Рано началось знакомство Дмитріева и съ русскими поэтами. Рассказъ его о первыхъ впечатлѣніяхъ отъ твореній Сумарокова и Ломоносова такъ интересенъ, что мы не можемъ не привести его цѣликомъ.

„Матушка“—пишетъ Дмитріевъ— „любила стихотворенія А. П. Сумарокова. Живучи въ Петербургѣ, она лично знала его. Поэтъ былъ въ короткомъ знакомствѣ съ роднымъ братомъ ея, Никитою Аѳанасьевичемъ Бекетовымъ. Не считая трагедій „Гамлета“, „Хорева“, „Синава и Трувора“ и „Артистоны“, получен-

ныхъ ею въ подарокъ отъ самого автора, она знала наизусть многія изъ другихъ его стихотвореній. Мнѣ очень памятна минута, когда она въ деревнѣ пересказывала оду его, посвященную Петру Великому. Матушка сидѣла на канапе за ручною работою, а старшій братъ мой противъ ея на подножной скамеечкѣ, и, держа на колѣняхъ листъ бумаги, онъ записывалъ карандашомъ стихъ за стихомъ; я же, стоя за нимъ, слушалъ съ большимъ вниманіемъ, хотя и не все понималъ. Это было еще до вступленія нашего во второй пансіонъ, и тогда я, едва ли не въ первый разъ, услышалъ имена *Париса* и *Авроры*, но помню, что при одномъ произношениі словъ *златого вѣка, утѣшенія*—я находилъ въ этихъ стихахъ какую-то неизъяснимую для меня прелестъ, гармонію, и послѣ нѣсколько разъ упрашивалъ брата повторить ихъ, чтобы я могъ вытвердить ихъ наизусть. Съ какимъ удовольствіемъ вспоминалъ я эти стихи, и вмѣстѣ съ мое дѣтство, когда чрезъ нѣсколько лѣтъ послѣ того, бывши унтеръ-офицеромъ въ петергофской командѣ, увидѣлъ я въ первый разъ Монъ-Плэзиръ и открытое море! Съ той минуты, пока находился въ Петергофѣ, почти всякое утро я встрѣчалъ восходящее солнце у домика Петра Великаго. Опершись на перилы, то глядѣлъ я на синее море, на едва видимый флотъ съ Кронштадтской рейды, то оборачивался къ домику, осѣненному столѣтними липами, и мысленно повторялъ—уже съ благоговѣйнымъ умиленіемъ не къ стихамъ, но къ виновнику вдохновенія:

Домикъ, что при самомъ морѣ,
Гдѣ *Парисъ* въ златой жиль вѣкъ,
Собесѣдуя *Аврорѣ*.
Утѣшеніемъ нарекъ.

Столь же пріятно мнѣ вспоминать одинъ вечеръ Великой Субботы, проведенный отцомъ моимъ посреди нашего семейства за чтеніемъ. Это также происходило въ деревнѣ, уже по выходѣ моемъ изъ послѣдняго пансіона. Въ ожиданіи заутрени, отецъ мой, для прогнанія сна, вынесъ изъ кабинета собраніе сочиненій Ломоносова, и началъ читать вслухъ извѣстныя строфы изъ Іова; потомъ „Вечернее размышеніе о величествѣ Божіемъ“, въ которомъ два стиха:

Открылась бездна, звѣздъ полна;
Звѣздамъ числа нѣть, безднѣ дна

произвели во мнѣ новое, глубокое впечатлѣніе. Чтеніе заключено было одою на взятіе Хотина. Слушая первую строфиу, я будто перешелъ въ другой міръ; почти каждый стихъ возбуждалъ во

мнѣ необыкновенное вниманіе, хотя и неизвѣстно мнѣ еще было, о какой говорится горѣ:

Гдѣ вѣтър въ лѣсахъ шумѣть забылъ;
Въ долинѣ тишина глубокой;
Внимая нынѣ, ключъ молчитъ, и проч.

Потомъ третій стихъ въ девятой строфи:

Мурза упалъ на долгу тѣнь

полюбился мнѣ вѣрностью изображенія. Тогда пришло мнѣ на память, какъ, бывши еще ребенкомъ и гуляя съ мамкою по двору, забавлялся видомъ долгой тѣни своей.

Но послѣдніе четыре стиха девятой строфи:

Надъ войскомъ облакъ вдругъ развился,
Блеснуль горящимъ вдругъ лицомъ;
Омытымъ кровю мечомъ
Гоня враговъ, герой открылся,

особенно же послѣдніе два въ двѣнадцатой:

Свилася мгла, герой въ ней;
Не зритъ ихъ око, слухъ не чуетъ



исполнили меня священнымъ благоговѣніемъ. Я будто расторгъ пелены дѣтства, узналъ новыя чувства, новое наслажденіе, и прельстился славою поэта¹⁵⁾.

Еще до поступленія въ военную службу началъ знакомиться Дмитріевъ и съ сочиненіями Хераскова. Эти три корифея нашей литературы XVIII-го вѣка, особенно Сумароковъ и Херасковъ, нравились Дмитріеву не только въ ту пору, когда онъ не успѣлъ еще „прилѣпиться“ къ вѣтрѣному Дорату,—но и въ тѣ годы его жизни, когда уже были очень извѣстны имена Жуковскаго и Пушкина. Въ запискахъ своихъ онъ сказалъ въ одномъ мѣстѣ: „Сумароковъ и понынѣ въ глазахъ моихъ—поэтъ необыкновенный“, а въ другомъ, все еще помня критику Строева¹⁶⁾, который въ 1815 году, въ журналѣ: „Современный Наблюдатель российской словесности“, первый рѣшился отнестись отрицательно къ произведеніямъ Хераскова, авторъ этихъ записокъ выразилъ свое негодованіе на молодое поколѣніе за то, что оно „столь нагло уничижаетъ творца Россіяды“¹⁷⁾.

Поэзія Державина стала извѣстна Дмитріеву еще съ 1776 года. Онъ, какъ самъ говоритъ, „всегда былъ искреннимъ почитателемъ высокаго поэтическаго таланта“ Державина и называлъ его „единственнымъ у нась живописцемъ природы“¹⁸⁾.

Само собою разумѣется, что такое поклоненіе авторамъ,

писавшимъ въ высокомъ стилѣ, должно было имѣть вліяніе и на литературныя занятія самого Дмитріева. И дѣйствительно, легкія сказки и басни перемежались у него произведеніями то патріотическаго, то религіознаго характера, въ духѣ подобныхъ же произведеній Ломоносова, Сумарокова, Хераскова и Державина.

Понятно также, что на Дмитріевѣ не могло не отразиться и вліяніе Богдановича, его предшественника въ легкой поэзіи: сказка Дмитріева „Причудница“ есть подражаніе Вольтеру; но вмѣстѣ съ тѣмъ въ ней многое напоминаетъ и „Душеньку“ Богдановича.

Теперь, раньше чѣмъ перейти къ вопросу о томъ, какъ относился Дмитріевъ къ произведеніямъ Карамзина, надо сказать, что авторъ пѣсни о голубкѣ тоже былъ склоненъ и къ мечтательности и къ чувствительности, что видно уже изъ его записокъ. Въ одномъ мѣстѣ ихъ находимъ такой разсказъ:

„Никогда не забуду меланхолического, но какъ-то пріятнаго впечатлѣнія, испытаннаго мною однажды въ положеніи путника. Съ наступленіемъ вечера вѣзжаю я въ околицу большого селенія, и нагоняю толпу поселянъ обоего пола, возвращающихся съ полевой работы. Черезъ всю деревню я велѣлъѣхать шагомъ, чтобы не разлучиться мнѣ съ ними. Долго слѣдовали они за мною и оглушали меня своими пѣснями, потомъ разсыпались въ разныя стороны; между тѣмъ я продолжаю путь мой, и веселыя пѣсни еще отзываются въ ушахъ моихъ. Достигаю до конца селенія, и вижу поселянина, въ глубокой старости, сидящаго на завалинкѣ послѣдней хижинѣ и держащаго на колѣняхъ своихъ младенца. Вѣроятно, это былъ внукъ его. Старикъ глядѣлъ спокойно; послѣдніе лучи солнца падали на обнаженное темя его. Путешествіе, младенецъ въ противоположности съ старцемъ, поюшая молодежь, закатъ солнца — все это представило мнѣ яркую картину жизни во всѣхъ возрастахъ и конецъ ея. Я не однажды разсказывалъ обѣ этой сценѣ знакомымъ мнѣ рисовальщикамъ и живописцамъ: мнѣ хотѣлось возбудить въ нихъ желаніе составить изъ моего описанія иносказательную картину, но разсказъ мой не подействовалъ на ихъ сердце“ ¹⁹⁾.

Присоединимъ къ этому еще тѣ строки, въ которыхъ Дмитріевъ говоритъ, что онъ любилъ наслаждаться „живописными видами, голубымъ небомъ, кроткимъ сіяніемъ солнца, вѣнчаннымъ и внутреннимъ спокойствіемъ, любилъ „давать волю своимъ мечтамъ“ ²⁰⁾), — и мы поймемъ, что произведенія Карамзина должны были нравиться Дмитріеву и поддерживать въ немъ сентимен-

тальное настроение. И настроение это отразилось въ его поэзии, и не только въ его пѣсняхъ, но и во многихъ пьесахъ иного рода.

Когда Карамзинъ началъ издавать „Московскій журналъ“, Дмитріевъ сдѣлался его сотрудникомъ и на первый разъ отдалъ издателю всѣ свои стихотворенія, предоставивъ выборъ его личному вкусу. Выбранное Карамзинъ напечаталъ въ первыхъ трехъ частяхъ своего журнала, и выборъ этотъ былъ для Дмитріева какъ бы урокомъ, разъяснившимъ ему, что хорошо и что дурно въ его творчествѣ. Такъ по крайней мѣрѣ думалъ самъ Дмитріевъ, и въ запискахъ своихъ сказалъ, что съ четвертой части „Московскаго журнала“ начался уже новый періодъ его поэзіи²¹). Съ этихъ поръ Дмитріевъ сталъ смотрѣть на Карамзина, какъ на высокій литературный авторитетъ. „Ничье одобрение“ — заявляетъ онъ — „столько не лъстило моему самолюбию, какъ одинъ привѣтливый взглядъ Карамзина... Съ какимъ нетерпѣніемъ ожидалъ отъ него отзыва! Съ какой радостію получалъ его! Съ какимъ удовольствиемъ видѣлъ стихи мои уже въ печати! Каждое письмо моего друга было поощреніемъ для дальнѣйшихъ стихотворныхъ занятій“²²). Время, когда Карамзинъ издавалъ свои журналы — „Московскій“ и „Вѣстникъ Европы“, — было самыемъ горячимъ временемъ и литературныхъ занятій Дмитріева. „Кажется“, — говоритъ онъ, — „будто мнѣ суждено было тогда только воспаменяться поэзіей, когда Карамзинъ издавалъ журналы... Съ пресѣченіемъ „Московскаго журнала“ охолодѣло во мнѣ соревнованіе... Съ появлениемъ „Вѣстника Европы“ въ 1802 году, я обратился опять къ музамъ... Съ переходомъ его въ другія руки, я писалъ уже рѣдко и мало“²³).

Вліяніе Карамзина на Дмитріева выразилось не только въ поддержкѣ и поощреніи сентиментального настроения въ своемъ сотрудникѣ, но и въ воздействиіи на его слогъ. Дмитріевъ едва ли не первый оцѣнилъ преобразованія Карамзина въ нашемъ литературномъ языкѣ и сталъ его разумнымъ послѣдователемъ, хотя изъ того еще не вытекаетъ, что онъ совершенно отказался отъ „высокаго штиля“ Ломоносова для тѣхъ своихъ произведеній, где вѣль рѣчь о „матеріяхъ важныхъ“.

Это совмѣстное сочувствіе и Карамзину и писателямъ, ему предшествовавшимъ, довольно ясно отразилось въ посланіи Дмитріева къ своему другу, написанномъ въ 1795 году, т.-е. въ томъ году, когда истребившій Сызрань пожаръ не пощадилъ и родного дома Дмитріева, его „отеческаго крова“, вслѣдствіе чего поэтъ



находился тогда въ сильно грустномъ настроении. Въ этомъ настроении онъ писалъ Карамзину:

Какихъ же пѣсней ждать отъ сердца огорченнаго?
Печальныхъ. — Но почто мнѣ граціямъ скучать,
Когда твой нѣжный гласъ ихъ будетъ услаждать?
Пускай онъ твое „Посланіе“ *) читають,
И розовый вѣнокъ любимцу соплетають.
Пускай Херасковъ, мужъ, отъ дѣтства читимый мной,
То въ міръ Фантазіи путь кажеть за собой,
То къ райскимъ красотамъ на небо восхищаетъ,
То на цвѣтушій брегъ Пенея провождаетъ,
И, даже въ зиму дней умомъ еще цвѣта,
Манить на лирный гласъ крылатое дитя,
И съ кротостью влечеть, нѣжнѣшихъ чувствъ владѣтель,
Любить поэзію, себя и добродѣтель.
Пускай Державинъ всѣхъ въ восторгъ приводить духъ;
Пускай младый герой, къ нему склоняя служъ,
Пылаеть и дрожитъ, и ищеть алчныи взглядомъ
Копья, чтобы летѣть потрясть землей и адомъ.
Притворства и въ стихахъ казать я не хочу:
Поется мнѣ — пою; невесело — молчу
И слушаю другихъ... *⁴).

Но Херасковъ, Державинъ, Карамзинъ — это все писатели старшихъ поколѣній. Дмитріевъ, умершій 3-го октября 1837 г., бытъ современникомъ и писателей позднѣйшихъ: Жуковскаго и Пушкина. Послѣдняго онъ даже пережилъ нѣсколькими мѣсяцами. Можно бы думать, что у него, писавшаго въ свое время посланія къ Державину и Карамзину и стихи къ портрету Хераскова, найдется что-нибудь, гдѣ бы онъ высказался о новыхъ поэтахъ. Но Дмитріевъ молчалъ о нихъ. Правда, онъ въ послѣднія 25 лѣтъ своей жизни писалъ очень мало, но все же, если бы поэзія Пушкина и Жуковскаго захватывала его, онъ сказалъ бы что-нибудь о ней. Между тѣмъ среди произведеній его мы находимъ лишь единственное стихотвореніе, въ которомъ говорится о Жуковскомъ, и то не по поводу его романтическихъ произведеній, а по поводу его оды на взятие Варшавы, написанной (въ 1831 г.) въ воинственно-патріотическомъ духѣ. Словно это только стихотвореніе пришлось по вкусу Дмитріева, напомнило ему его собственные оды на побѣды — и онъ написалъ слѣдующіе стихи, посвященные Жуковскому (въ томъ же 1831 г.):

Была пора, питомецъ русской славы,
И я вослѣдъ Державину пѣвалъ

*) Посланіе къ женщинамъ (Примѣч. Дмитр.).

Фелицы мoшь, погромъ и стонъ Варшавы, —
Рекла — и бысть: и Польши тронъ упалъ.

Пришла пора... увянуль, сталь безгласень,
И лиру прахъ въ углу моемъ покрылъ;
Но прочь свое! мой вечеръ тихъ и ясенъ:
Побѣды гласъ меня одушевилъ.

Взыграй же духъ! Жуковскій, дай мнѣ руку!
Пускай съ пѣвцомъ восклинетъ патріотъ:
Хвала и честь Екатерины внуку!
Съ нимъ русскій лавръ прозябнетъ въ родъ и родъ.

Что же касается Пушкина, то Дмитріевъ упоминаетъ о немъ только въ своихъ запискахъ, и то мимоходомъ, восхваляя Хераскова. Вотъ строки, въ которыхъ упомянуто имя этого великаго поэта: „Херасковъ, писавшій «Россіяду» девять лѣтъ, награжденъ былъ за трудъ свой отъ императрицы Екатерины девятыю тысячами рублей ходячою монетою, а молодой Пушкинъ за одну главу еще недоконченной стихотворной повѣсти *Онѣгинъ* получилъ отъ русскаго книгопродаvца пять тысячъ ассигнаціями по тогдашнему курсу!“²⁵)

Причиной такого молчанія,—мы склонны думать,—была слишкомъ большая привязанность Дмитріева къ старинѣ, привязанность, которую раздѣляли съ нимъ и многіе его современники. Такъ, напримѣръ, М. П. Погодинъ, авторъ извѣстнаго сочиненія о Карамзинѣ, черезъ двѣ недѣли по погребенію Дмитріева писалъ къ его племяннику (М. А. Дмитріеву): „Дмитріевъ прошелъ съ честію свое поприще, исполнилъ свое назначеніе,—но тяжело было видѣть его въ гробѣ. Мы какъ-то привыкли видѣть въ немъ и Карамзина, и Державина, и Богдановича; онъ былъ для насть представителемъ лучшаго времени, когда литература наша была чище, благороднѣе, прекраснѣе. Что скажетъ онъ Карамзину на его вопросъ о теперешнемъ ея состояніи? Мерзость запустѣнія на мѣстѣ святѣ, купующіе и продающіе, и нѣтъ бича-изгонителя, и какіе виды въ будущемъ!“²⁶).

Дмитріевъ увлекался не только нашей литературной стариной, но и вообще старинной русской жизнью, которую онъ даже идеализировалъ. По крайней мѣрѣ въ запискахъ его находимъ слѣдующее изображеніе этой жизни, современной его дѣтству:

„Симбирскіе обыватели, сколько я могу судить по воспоминаніямъ, наслаждались тогда совершенною независимостью: отъ дворянина до простолюдина никто не несъ другой повинности, кроме поставки въ очередь свою будочника, а по временамъ — военнаго постоя. Послѣдній мѣщанинъ или цеховой имѣлъ свой

плодовитый при домѣ садикъ, на окнѣ въ бурачкѣ розовый бальзаминъ, и ничего не платиль за лоскутокъ земли, доставшійся ему по куплѣ или отъ прадѣда. Заграничные товары были дешевы: напримѣръ, фунтъ американскаго кофія — кто нынѣ тому повѣрить? — продавался по сороку копеекъ. Рубль ходилъ за рубль; серебра было много, а обѣ лажѣ на звонкую монету и ассигнаціи даже и понятія не имѣли. Первенствующія особы въ городѣ были: комендантъ, начальникъ гарнизоннаго батальона и воевода, первоприсутствующій по гражданскимъ дѣламъ. Дворянство знало и уважало ихъ по мѣрѣ личныхъ достоинствъ. Тогда еще не было въ провинціяхъ ни театрѣвъ, ни клубовъ, которые нынѣ и въ губернскіхъ городахъ разлучаютъ мужей съ женами, отцовъ съ ихъ семействомъ. Тогда едва ли кто понималъ смыслъ слова: *разсльяніе*, нынѣ столь часто употребляемаго. Каждый имѣль свои связи не отъ трусости, не изъ корыстныхъ видовъ, а по выбору сердца” ²⁷⁾.

Чтобы признать этотъ взглядъ Дмитріева на старину слишкомъ окрашеннымъ въ розовый цвѣтъ, не надо и „Путешествія“ Радищева, а довольно вспомнить тотъ договоръ симбирскихъ дворянъ, который Карамзинъ приводить въ своей повѣсти: „Рыцарь нашего времени“, договоръ, въ которомъ идеть рѣчъ и о „притѣсненныхъ“, и о губернаторскихъ и воеводскихъ „прихлебателяхъ“, и наконецъ о томъ, что дворяне иной разъ предержащимъ властямъ „такали противъ совѣсти“ ²⁸⁾.

По вышеуказанному сочувственному отношенію Дмитріева къ старинѣ можно бы ожидать, что онъ окажется полнымъ врагомъ преобразованій первыхъ годовъ царствованія императора Александра; но таковыи онъ не былъ. Правда, онъ далеко не раздѣлялъ всѣхъ стремленій тогдашней либеральной партіи, находилъ ее излишне пылкою, но тѣмъ не менѣе былъ консерваторъ умѣренный и, какъ видно изъ отзыва его о государственныхъ дѣятеляхъ того времени, видѣлъ необходимость нѣкоторыхъ измѣненій. Впрочемъ, для сужденія о его взглядахъ, приведемъ только что упомянутый его отзывъ.

„Новыя министерства“, — говорить Дмитріевъ, — „находились подъ вліяніемъ двухъ партій, изъ коихъ въ одной господствовали служивцы вѣка Екатерины, опытные, осторожные, привыкшіе къ старому ходу, нарушеніе коего казалось имъ возстаніемъ противъ святыни. Другая, которой главою былъ графъ Кочубей, состояла изъ молодыхъ людей, образованнаго ума, получившихъ слегка понятіе о теоріяхъ новѣйшихъ публицистовъ и напитанныхъ ду-

хомъ преобразованій и улучшенній. Такое соединеніе двухъ возрастовъ могло бы послужить въ пользу правительства. Дѣятельная предпримчивость молодости, соединенная съ образованіемъ нашего времени, изобрѣтала бы способы къ усовершенію и ожи-
вляла бы опытную старость, а сія, на обмѣнъ, умѣряла бы лиш-
нюю пылкость ея и избирала бы изъ предлагаемыхъ средствъ
надежнѣйшія и болѣе сообразныя съ мѣстными выгодами и положеніемъ государства. Но, къ сожалѣнію, и самыя благородныя души не освобождаются отъ эгоизма, пораждающаго зависть и честолюбіе” ^{29).}

Выше мы говорили о различныхъ литературныхъ вліяніяхъ на Дмитріева. Но чтобы литературное произведение имѣло вліяніе на писателя, надобно, чтобы онъ ему сильно сочувствовалъ. А это бываетъ только тогда, когда въ душахъ обоихъ писателей есть что-либо родственное. То, что роднило Дмитріева съ Карамзінымъ, мы уже указали: оба они были склонны, хотя и въ различной степени, къ чувствительности и мечтательности. Но что нравилось Дмитріеву, напримѣръ, въ Державинѣ, въ Ломоносовѣ? Конечно, не только одни поэтические образы въ ихъ произведеніяхъ и звуки въ ихъ стихахъ, но и выраженные въ нихъ чувства: патріотическое и религіозное, при чемъ особенно дѣйствовали на Дмитріева оды пѣвца Фелицы, воспѣвавшія славу русскаго оружія. Эти чувства и гордость славою отечественнаго оружія жили и въ душѣ Дмитріева. Въ одномъ мѣстѣ своихъ записокъ онъ говоритъ: „Съ гордостю могу сказать, что я выросъ и состарѣлся подъ шумомъ отечественной славы. Находясь въ Казани еще семилѣтнимъ мальчикомъ, я выбѣгалъ на нашу Сарскую улицу смотрѣть на проходящіе отряды пѣнныхъ польскихъ конфедератовъ. Уже тогда затвержены были мною имена Пулавскихъ, Потоцкихъ и проч. Съ переселеніемъ нашимъ въ Симбирскъ началась война съ Оттоманской Портою. Отецъ мой, получая при газетахъ реляціи, всегда читывалъ ихъ вслухъ посреди семейства. Никогда не забуду я того дня, когда слушали мы реляцію о сожжениіи при Чесмѣ турецкаго флота. У отца моего отъ восторга перерывался голосъ, а у меня навертывались на глазахъ слезы” ^{30).} О религіозномъ чувствѣ Дмитріева засвидѣтельствовалъ духовникъ его, сказавши въ надгробномъ ему словѣ, что покойный „отъ юности пѣнилъ разумъ въ послушаніе вѣры” ^{31).}

Влеченіе Дмитріева къ тому роду поэзіи, который принято называть поэзіей легкой, а также и къ смѣющейся сатирѣ—тоже

можеть найти себѣ объясненіе въ его любви къ шуткѣ и къ острому слову. Живость и шутку Погодинъ приписываетъ Дмитріеву, какъ обыкновенныя его черты ³²⁾. Да и самъ Дмитріевъ сказалъ о себѣ въ концѣ своихъ записокъ: „Чаще былъ весель, чѣмъ печаленъ, хотя по наружности и кажусь задумчивымъ“ ³³⁾.

Обзоръ поэзіи Дмитріева.

Общій характеръ поэзіи Дмитріева. — Произведенія, дававшія современникамъ поводъ видѣть въ Дмитріевѣ Державина. — Отголосокъ поэзіи Хераскова. — Произведенія, сближавшія Дмитріева съ Богдановичемъ. — Слѣды вліянія поэзіи, служившей Вакху и Эроту. — Сходство съ Карамзіннымъ. — Языкъ Дмитріева. — Взглядъ кн. Вяземскаго и самооцѣнка Дмитріева. — Произведенія сатирическія и басни. — Замѣтка о мелкихъ стихотвореніяхъ. — Мѣсто, отведенное Дмитріеву въ „Исторіи литературы“ Пыпина, и указанія профессора Владимірова.

Современники, подобно Погодину видѣвшіе въ Дмитріевѣ и Карамзіна, и Державина, и Богдановича, смотрѣли на него довольно вѣрно. Дѣйствительно Дмитріевъ могъ своими произведеніями напоминать имъ этихъ писателей. Но къ этому надо прибавить, что Дмитріевъ могъ напоминать имъ не только трехъ названныхъ писателей, но и многихъ другихъ, напр. Хераскова, Лафонтена, Флоріана. Василій Львовичъ Пушкинъ такъ и называлъ Дмитріева: „нашъ Лафонтенъ“. Отсюда самъ собою вытекаетъ выводъ, что поэтическія произведенія Дмитріева отличаются разнообразіемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ, говоря вообще, и малою степенью своеобразія, почему и можно было сближать ихъ автора со многими другими.

Съ Державинымъ современники сближали Дмитріева на томъ основаніи, что онъ тоже „пѣвалъ Фелицы мышь, погромъ и стонъ Варшавы“ и вообще писалъ оды для прославленія русскаго оружія и „Екатерининскихъ орловъ“. Но талантъ Дмитріева не былъ равенъ таланту Державина — и потому всѣ торжественные стихи его, каковы, напримѣръ: „На миръ съ Оттоманскою Портю“, „Гласъ патріота на взятіе Варшавы“, „Освобожденіе Москвы“ и др., теперь забыты, и имѣютъ значеніе лишь какъ матеріалъ, дающій нѣсколько чертъ для общей характеристики поэтической дѣятельности Дмитріева.

О различіи таланта обоихъ пѣвцовъ Фелицы можно судить уже, сравнивъ стихи, написанные ими на смерть Потемкина. Смерть этого „Екатерининскаго орла“ внушила Державину оду: „Водопадъ“, оду, которая во всѣхъ отношеніяхъ выше оды Дмитріева: „Смерть князя Потемкина“ (1791). Въ этой послѣдней нѣтъ

ни философскихъ идей, ни Державинской мощной выразительности. Вотъ эта ода.

Уныть внезапу лавръ зеленый,
Уныль, и долу преклоненъ!
Возстани, свыше вдохновенный,
Возстани, бардъ, сынь всѣхъ временъ!
Бери обвѣту крепомъ лиру;
Гласи на ней, повѣдай миру
Печаль чувствительныхъ сердецъ,
Стонъ воиновъ непобѣдимыхъ,
Въ слезахъ среди трофеевъ здимыхъ;
Гласи... Потемкина конецъ!

О, коль ужасную картину
Печальный геній мнѣ открылъ!...
Безмолвну вижу я долину;
Не слышу помаванья крыль
Ни здѣсь, ни тамъ любимца Флоры —
Все томно, что ни встрѣтятъ взоры!
Поникнулъ злакъ, ручей молчитъ;
И тотъ, кого весь югъ страшится,
Увы! простерть на холмѣ зрится —
Простерть, главу склоня на щитъ!

Герой — геройски умираетъ
Въ виду попранныхъ имъ градовъ,
И духъ свой Небу возвращаетъ
Средь ратниковъ, своихъ сыновъ!
Почилъ — и вопль вокругъ раздался,
И шумный гласъ молвы помчался
Вливать въ сердца печаль и страхъ!
Синилъ *), Бендеры изумлены,
Героевъ слыша вопль плачевный
Въ поверженныхъ отъ нихъ стѣнахъ;

Очаковъ, гордый и подъ прахомъ,
Чудится и сомнѣнья полнъ,
Чтобъ тотъ, кто былъ дракону страхомъ
Въ степяхъ, вертепахъ, среди волнъ,
Кто рану далъ ему глубоку,
Былъ общему подвластенъ року!
*И черный Понти, надувъ хребетъ,
Валилъ, реветъ во слухъ Селиму,
Объяту думой, нервишиуму:*
„Воспряны! уже Перуна нѣть!...“

Но чьи тамъ слышу томны лиры
Съ Днѣпровскихъ злачныхъ береговъ?
Чей сладкій гласъ несуть зефиры?...
То гласъ не смертныхъ, но боговъ,—

* Древнее название Измаила. (Примѣч. Дмитр.).

То вошють херсонски музъ:
„Увы! расторглись наши узы,
Любитель нашъ, навѣкъ съ тобой!
Давно ль бесѣдовалъ ты съ наими
И лиру испещрялъ цвѣтами *),
Готовясь въ кроволитный бой?

„Давно ль Херсонъ, тобой украшенъ,
Цвѣтушъ на брегѣ быстрыхъ водъ,
Взиralъ съ своихъ высокихъ башенъ
На твой со славою приходъ?
Давно ль тебя мы здѣсь встрѣчали
И путь твой лавромъ устилали?
Давно ль?...“ и болѣ не могли...
Изъ рука цѣвицы покатились,
Главы къ колѣнамъ ихъ клонились.
Власы упали до земли.

Гдѣ, гдѣ не плачутъ и не стонутъ
Во мзду Иракловыхъ заслугъ?
Въ слезахъ тамъ родственники тонутъ;
Тамъ одолженныхъ страждеть духъ;
Тамъ, подъ соломеннымъ покровомъ,
Зрю воина въ вѣнкѣ лавровомъ
Среди родимыя семьи;
Онъ алчно внемлющей супругѣ
Разсказываетъ, какъ на югѣ
Князъ подвиги творилъ свои;

Какъ въ полѣ бился съ супостатомъ;
Какъ во стѣнахъ его караль,
Какъ кончилъ жизнь... Тутъ бѣлымъ платомъ
Текущи слезы утираль...
Слеза безцѣнная, священна,
Изъ сердца чиста извлечена!—
О витїй, что твоя хвала!
Но сею ль жертвою одною
Воздашь, Россія, днесъ герою,
Которымъ славима была?

Нѣть! сынъ твой вѣчно будетъ громокъ!
Потемкина геройскій лицъ
Увидить поздній твой потомокъ,
И возгласить: „Онъ былъ великъ!“
И вольный грекъ, забывъ желѣзы,
Прольетъ предъ нимъ сердечны слезы;
И самый туркъ, нахмуря взоръ,
Сынамъ своимъ его покажеть:—
„Се бичъ нашъ былъ!“ вздохнувъ онъ скажетъ—
И музъ его прославить хоръ.

*) Я видѣлъ рукопись одного изъ нашихъ стихотворцевъ съ поправками кн. Потемкина. (Примѣч. Дмитр.).

Во всей этой одѣ только три стиха (напечатанные курсивомъ) напоминаютъ силу Державинскихъ выраженій.

Ложный классицизмъ вообще отступалъ отъ дѣйствительной жизни; но Дмитріевъ иногда вдвойнѣ удалялся отъ нея, когда, рисуя картину въ духѣ требованій ложно-классической теоріи, наносилъ на эту картину еще и черты сентиментальныхъ пасторалей. Такою двойною неправдой отличается, напримѣръ, то мѣсто оды: „На миръ съ Оттоманкою Портою“ (1792), гдѣ изображается радость воиновъ и поселянъ по поводу этого мира:

Тамъ воины поютъ походы
Въ кругу внимающихъ отцовъ,
Или, вмѣшаясь въ хороводы
Пастушекъ сельскихъ, пастуховъ,
Усугубляютъ общу радость. —
Какая, акъ, для сердца сладость
Какое зрѣлище въ очахъ!
На ратникахъ вѣнки пестрѣютъ,
А шлемы ихъ пернаты вѣютъ
У земледѣльцевъ на главахъ.

Тѣмъ не менѣе современники очень цѣнили торжественные оды Дмитріева за то, что онъ, какъ выразился кн. Вяземскій, „исполнены огня любви къ отечеству“ ⁸⁴⁾. Особенно нравились „Освобожденіе Москвы“ (1795) *) и „Гласть патріота“ (1794). Дѣйствительно въ этихъ одахъ есть много такого, что могло ласкать патріотическое чувство читателя. Такъ, напримѣръ, въ первой изъ нихъ нравилось описание Москвы:

Въ какомъ ты блескѣ нынѣ зrima,
Княженій знаменитыхъ мать!
Москва, Россія дочь любима,
Гдѣ равную тебѣ сыскать?
Вѣнецъ твой перлами украшенъ;
Алмазный скіптръ въ твоихъ рукахъ;
Верхи твоихъ огромныхъ башенъ
Сияютъ въ златѣ, какъ въ лучахъ;
Отъ Норда, Юга и Востока—
Отвсюду быстротой потока
Къ тебѣ сокровища текутъ;
Сыны твои, любимцы славы,
Красивы, храбры, величавы,
А дѣвы—розами цвѣтутъ!

Во второй производило впечатлѣніе изображеніе силы Россіи и доблести ея сыновъ:

*) Пожарскимъ отъ поляковъ.

Страшна твоя, Царица, власть!
Страшна твоя и прозорливость
Врагу, злодѣю твоему!
Вездѣ найдеть его строптивость
Препонъ неодолимыхъ тьму;
Вездѣ обрящутся преграды:
Твои, какъ иѣдною стѣной,
Бойницами покрыты грады,
И каждый въ оныхъ стражъ герой;
Предѣлы царствъ твоихъ щитами
А седмь рабынь твоихъ, морей,
Покрыты быстрыми судами,
И жезль судьбы въ рукѣ твоей!
Речешь—и движется полсвѣта,
Различный образъ и языкъ:
Тавридѣцъ, чтиль Магомета,
Поклонникъ идоловъ—калмыкъ,
Башкирецъ съ иѣдными стрѣлами,
Съ булатной саблею черкесь—
Ударять съ шумомъ вслѣдъ за нами,
И прахъ поднимуть до небесъ!
Твой россъ весь міръ дрожать заставитъ;
Наполнить громомъ чудныхъ дѣлъ,
И тамъ столпы твои поставитъ,
Гдѣ свѣту цѣлому предѣль.

Среди множества одъ, которыми былъ встрѣченъ императоръ Александръ, была, конечно, и ода Дмитріева („На день коронованія“). Въ ней тоже высказывались благія пожеланія, какъ напримѣръ:

О Богъ судебъ! о Царь царей!
Даруй Твой судъ царю младому,
Да будетъ другомъ правды онъ;
Любезенъ добрымъ, грозенъ злому,
Дальнѣйшаго услышитъ стонъ;
Народъ разныхъ повелитель,
Да будетъ геній-просвѣтитель,
Краса и честь своимъ странамъ!
Да будутъ дни его правленья
Для россовъ днями прославленья
И преданы отъ нихъ вѣкамъ.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ видно, что Дмитріевъ, подобно многимъ своимъ современникамъ, желалъ указать молодому императору на его бабку, какъ на образецъ правительницы. Онъ обращается къ нему съ слѣдующими словами:

Благоговѣй предъ сей державой:
Она горить, блистаетъ славой

Премудрыя, одной въ женахъ!
 Да ниспошлетъ Безсмертна Внуку
 Свой дарь сердцами обладать;
 Да укрѣпитъ монаршу руку
 Кормиломъ царства управлять!
 О вѣтвь, о кровь Екатерины!
 При ней корабль нашъ чрезъ пучину
 Отважно къ счастію летѣть;
 При ней россіянинъ, сынъ славы,
 Вселенной подаваль уставы
 И жребіемъ ея владѣль.

Однако надо сказать, что Дмитріевъ все-таки былъ лучшимъ послѣдователемъ Державина. Если оды его и нельзя ставить наравнѣ съ Державинскими, то зато въ нихъ нѣть и ничего такого, что равняло бы ихъ со множествомъ произведеній тѣхъ бездарныхъ одописцевъ, которыхъ самъ же Дмитріевъ осмѣялъ въ своей сатирѣ: „Чужой толкъ“. Впрочемъ Дмитріевъ былъ иногда въ состояніи придать своимъ стихамъ и силу. Подобно Ломоносову, онъ написалъ нѣсколько религіозныхъ стихотвореній. Лучшее изъ нихъ—„Размышеніе по слухаю грома“ (написано не позже 1805 г.)—ставили и ставятъ на ряду съ „Утреннимъ и Вечернимъ размышеніемъ“ Ломоносова и одою „Богъ“ Державина.

Галаховъ считаетъ эту оду Дмитріева подражаніемъ стихотворенію Гете: „Gränzen der Menschheit“ ³⁵); другіе утверждаютъ, что она написана „несомнѣнно“ подъ вліяніемъ указанныхъ образцовъ Ломоносова и Державина ³⁶). Мы думаемъ, что вѣрно и то и другое: между одою Дмитріева и стихотвореніемъ Гете есть очевидное сходство, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ „Размышеніи“ есть и характеръ религіозной поэзіи Ломоносова и Державина. Впрочемъ, дадимъ читателю самому сравнить—и приведемъ оба стихотворенія: и Дмитріева и Гете.

Гремитъ... благоговѣй, сынъ персти!
 Се Ветхій днѣми съ небеси
 Изъ кроткой, благотворной длани
 Перуны сѣть по землѣ!—
 Всесильный! съ трепетомъ младенца
 Цѣлую я священный край
 Твоей молищецѣтной ризы,
 И весь теряюсь предъ Тобой!
 Что человѣкъ? парить ли къ солнцу,
 Смиренно ль идеть по землѣ,—
 Увы! тамъ умъ его блуждаетъ,
 А здѣсь стопы его скользятъ.
 Подъ мракомъ, въ океанѣ жизни,

Пловецъ на утлой ладіѣ,
Отдавши руль слѣпому року,
Онъ спитъ—и мчится на скалу.
Ты дхнешь—и движешь океаны!
Речешь—и вспять они текутъ!
А мы... одной волной подъты,
Одной волной поглощены!
Вся наша жизнь, о Безначальный!
Предъ тайной вѣчностью Твоей—
Едва минутное мечтанье,
Лучъ блѣдной утренней зары.

Wenn der uralte
Heilige Vater
Mit gelassener Hand
Aus rollenden Wolken
Segnende Blitz
Ueber die Erde st,
Kuss'ich den letzten
Saum seines Kleides,
Kindliche Schauer
Treu in der Brust.

Denn mit Göttern
Soll ish nicht messen
Irgend ein Mensch.
Hebt er sich aufwrts,
Und berhrt

Mit dem Scheitel die Sterne,
Nirgends haften dann
Die unsichern Sohlen,
Und mit ihm spielen
Wolken und Winde.

Steht er mit festen
Markigen Knochen

Auf der wohlgegründeten
Dauernden Erde;
Reicht er nicht auf,
Nur mit der Eiche
Oder der Röbe
Sich zu vergleichen.

Was unterscheidet
Götter von Menschen?
Dass viele Wellen
Vor jenen wandeln,
Ein ewiger Strom:
Und hebt die Welle,
Verschlingt die Welle.
Und wir versinken.

Ein kleiner Ring
Vergränzt unser Leben,
Und viele Geschlechter
Reihen sich dauernd
An ihres Daseyns
Unendliche Kette.

Сравненіе, — думаемъ мы, — дасть право прийти къ выводу, что самое содержаніе своей оды Дмитріевъ заимствовалъ у Гёте, на что намекаетъ и кн. Вяземскій ³⁷⁾; но обработалъ онъ его въ духѣ Ломоносова и Державина.

Славили современники и лиро-эпическую поэму Дмитріева: „Ермакъ“ (1794), не считая недостаткомъ того, что въ ней, какъ и вообще въ ложно-классическихъ произведеніяхъ, допущено сильное преувеличение въ изображеніи. Вотъ, напримѣръ, какъ изображенъ бой Ермака съ Мегметъ-Куломъ (въ разсказѣ старого памана, бесѣдующаго съ молодымъ):

Я зре́ль съ нимъ бой Мегмета-Кула,
Сибирскихъ странъ богатыря:
Разсыпавъ стрѣлы всѣ изъ тула
И вящшимъ жаромъ возгоря,
Извлекъ онъ саблю смертоносну.
„Дай лучше смерть, чѣмъ жизнь поносну
Влачить мнѣ въ плѣнѣ!“ онъ сказалъ—
И вмигъ на Ермака напалъ.
Ужасный видъ: они сразились!
Ихъ сабли молнией блестяты,
Удары тяжкіе творяты,
И обѣ разомъ сокрушились.
Они въ ручной вступаютъ бой:
Грудь съ грудью и рука съ рукой;
Отъ вопля ихъ дубравы воютъ;
Они стопами землю роютъ;
Уже съ нихъ сыплеть потъ, какъ градъ;
Уже въ нихъ сердце страшно бьется,
И ребра обоихъ трещатъ:
То сей, то оный на бокъ гнется;
Крутятся—и Ермакъ сломилъ!
„Ты мой теперъ!“ онъ возопилъ:
„И все отнынѣ мнѣ подвластно!“

Но особенно сильно преувеличение въ концѣ поэмы, гдѣ Ермакъ возведенъ на степень полубоговъ. Обращаясь къ нему, авторъ говоритъ:

Но ты, великий человѣкъ,
Пойдешь въ ряду съ полубогами
Изъ рода въ родъ, изъ вѣка въ вѣкъ;
И славы лучь твоей затмится,
Когда померкнетъ солнца свѣтъ,
Со трескомъ небо развалится,
И время на косу падеть!

„Ермакъ“ начинается изображеніемъ двухъ шамановъ, а затѣмъ продолжается въ видѣ разговора между ними о роковой гибели Сибири, павшей по волѣ боговъ, „отъ горсти русскихъ“; въ концѣ—обращеніе автора къ своему герою. Такимъ образомъ, поэма явилась отчасти въ драматической формѣ, на что кн. Вяземскій указываетъ, какъ на новость, внесенную въ нашу литературу Дмитріевымъ. „Драматическое движение, данное этому произведению“,—говоритъ Вяземскій,—есть опытъ новый и мастерской⁸⁸⁾. Опытъ этотъ мастерскимъ назвать можно: впослѣдствіи, какъ знаемъ, драматической формой для своихъ поэмъ пользовался и Пушкинъ; но при всемъ томъ „Ермакъ“ Дмитріева въ суще-

ственныхъ своихъ чертахъ есть все-таки произведеніе въ старомъ стилѣ и, безъ сомнѣнія, есть отголосокъ поэзіи Хераскова.

Поводомъ къ сближенію Дмитріева съ Богдановичемъ служили, конечно, его сказки, своею игривостью напоминающія „Душенку“ и притомъ написанныя такими же такъ называемыми *вольными* стихами, какъ и шутливая поэма Богдановича, которой къ тому же Дмитріевъ кое въ чёмъ и подражалъ. Первой по времени появилась сказка: „Картина“ (1790), изъясняющая, какъ сказалъ Вяземскій, „что есть женихъ, и что есть мужъ“ ³⁹). Князь Вѣтровъ, влюбленный женихъ, заказываетъ художнику картину съ такимъ содержаніемъ:

„Не можете ли вы мнѣ кистю своей
Картину написать? да только поскорѣй! „
Вотъ содержаніе: Гименъ, то-есть богъ брака,
Не тотъ, что пишется у насть, сапунъ, зѣвака,
Иль плацса, иль брюзга, но легкій, милый богъ,
Который бы привлечь и труженика могъ,—
Гименъ, и съ нимъ Амуръ, всегда въ восторгѣ новомъ,
Веселый, миленький, и живчикъ—однимъ словомъ,
Взявъ за руки меня, подводятъ по цвѣтамъ,
Разбросаннымъ по всѣмъ мѣстамъ,
Къ прекрасной дѣвушкѣ, боготворимой мною.—
Я завтра привезу портретъ ея съ собою.—
Владычица моя въ пятнадцатой веснѣ,
Вручаетъ розу мнѣ;
Вокругъ нея толпой Забавы, Игры, Смѣхи;
Вдали жъ, подъ миртами, престоль Любви, утѣхи,
Усыпанъ розами, и весь почти въ тѣни
Деревъ, гдѣ вѣтерокъ заснуль среди листочковъ...
Да не забыть при томъ и страстныхъ голубочковъ.—
Вотъ слабый вами эскизъ! Чрезъ два, четыре дни
Картина, думаю, ужъ можетъ быть готова;
О благодарности жъ моей теперь ни слова:
Докажетъ опытъ вами. Прощайте!“ И—исчезъ.

Художникъ принялъся за работу, но, внезапно заболѣвъ, не могъ исполнить заказа въ время.

Минута между тѣмъ желанная настала:
Князь Вѣтровъ женится, хотя картины нѣтъ.
Уже онъ райскіе плоды во бракѣ жнетъ;
Что день, то новый даръ въ возлюбленной княгинѣ;
Мила, божественна при всѣхъ и наединѣ.

Прошелъ мѣсяцъ, художникъ выздоровѣлъ, и явился къ князю съ картиной, написанной совершенно въ духѣ его требованій.

Князь вышелъ въ шлафрокѣ, нахлученъ колпакомъ,
И, сонными взглянувъ на живопись глазами:
„Я болѣе“, сказалъ, „доволенъ былъ бы вами,
Когда бы выдумка была
Не столь игрива, весела.
Согласенъ я, она нѣжна, остра, прекрасна;
Но для женатаго... ужъ слишкомъ любострастна!
Не можно ли ее поправить какъ-нибудь?...“

Долго художникъ поправлялъ свое произведеніе, „сообразяся съ послѣднимъ князя вкусомъ“, и наконецъ—

Три мѣсяца пробывъ картина подъ искусствомъ,
Представилась опять сіятельнымъ глазамъ;
Но, ахъ, знать, было такъ угодно небесамъ:
Сіянье ихъ совсѣмъ затмилось;
И ужъ почти ничто въ картинѣ не годилось.—
„Возможно ль?.. это я?“
Вскричалъ супругъ почти со гнѣвомъ:
„Вы сдѣлали меня совсѣмъ уже Хоревомъ,
Ужъ слишкомъ плащеннымъ... да и жена моя
Здѣсь сущая Венера!
Нѣтъ, не прогнѣвайтесь, во всемъ должна быть мѣра!“
Такъ о картинѣ князь судилъ,
И каждый день онъ въ ней пороки находилъ.
Чѣмъ болѣе она висѣла,
Тѣмъ болѣе предъ нимъ погрѣшностей имѣла;
Тѣмъ строже переборъ отъ князя былъ всему:
Уже не взмѣлились и Граціи ему,
Потомъ и одръ Любви, и миртовы кусточки;
Потомъ и нѣжные слетѣли голубочки;
Потомъ и Смѣхи всѣ велѣль закрасить онъ,
А наконецъ, увы! вспорхнуль и Купидонъ.

Современникамъ Дмитріева эта сказка очень нравилась, но еще болѣе цѣнили они его сказку: „Модная жена“ (1791). Князь Вяземскій свидѣтельствуетъ, что выставленные тутъ типы: Премила, Пролазъ и Миловзоръ, и вся обстановка въ разсказѣ—все это „блеститъ историческою вѣрностю“. На Пролаза же онъ указываетъ даже, какъ на типъ, съ которымъ тогда можно было встрѣчаться „на всѣхъ перекресткахъ, на всѣхъ обѣдахъ именинныхъ и карточныхъ вечеринкахъ“ ⁴⁰).

Въ этой сказкѣ, послѣ шутливаго вступленія, авторъ прежде всего знакомить читателя съ Пролазомъ и положеніемъ его, какъ мужа молодой модной жены—Премилы.

Пролазъ въ теченіе полвѣка
Все ползъ, да ползъ, да биль человѣкъ,

И наконецъ такимъ невиннымъ ремесломъ
Доползъ до степени извѣстна человѣка,
То-есть стала съ именемъ—я говорю вѣдь такъ,
 Какъ говорится въ свѣтѣ—
То-есть стала ъздить онъ шестеркою въ каретѣ;
 Потомъ вступилъ онъ въ бракъ
Съ пригожей дѣвушкой, которая жить умѣла,
 Была умна, ловка,
 И старица
 Вертьла, какъ хотѣла...

Пролазъ

цѣною дорогой
Платилъ женѣ за нѣжны ласки;
Узналъ и онъ, что блонды, каски,
Что крѣпъ, лино-батистъ, тамбурна кисея.

Затѣмъ авторъ рисуетъ картину, какъ „умѣвшая жить“ жена
упрашиваетъ мужа накупить ей модныхъ обновъ—и

Съ послѣднимъ словомъ прыгъ на шею,
И чокъ два раза въ лобъ, примолвя: „какъ ты миль!“

Мужъ отправляется за покупками, а къ женѣ является въ
гости „угодникъ дамскій—Миловзоръ“, „всѣхъ милыхъ обожатель“.
Гость и хозяйка пребываютъ въ „диванной“. Время летитъ неза-
мѣтно—и Пролазъ уже возвращается.

Ужъ онъ на лѣстницѣ, таша въ рукахъ покупку,
Торопится обрадовать свою голубку;
Ужъ онъ и въ комнатѣ, а вѣрная жена
Сидитъ, не думая объ немъ, и не одна.
Но вы, красавицы, одной съ Премилой масти.
Не ахайте обѣ ней и успокойте духъ!
Ея Пенаты съ ней, такъ ей ли ждать напасти?
Фиделька рѣзкая, ея надежный другъ,
 Которая лежала,
Свернувшись клубкомъ,
На солнышкѣ передъ окномъ,
Вдругъ встрепенулася, вскочила, побѣжала
 Къ дверямъ, и, какъ разумный звѣрь,
Приставила ушко, потомъ толкъ лапкой въ дверь,
 Ушла и возвратилася съ лаемъ.
Тогда жъ другой Пенатъ, зовомый попугаемъ,
Три раза вѣстовой изъ клѣтки подалъ знакъ,
 Вскричавши: „кто пришелъ? дуракъ!“
Премила вздрогнула, и Миловзоръ подобно;
 И тотъ и та—о время злобно!
 О непредвидѣнна бѣда!—
Бросаясь туда, сюда,
Рѣшились такъ, чтобы ей остатся,

А гостю спрятаться хотя позадь дверей.

— О женщины! могу признаться,

Что вы гораздо настъ хитрѣй!—

Кто могъ бы отгадать, чѣмъ кончилась тревога?

Мужъ, въ двери выставя расцвѣтшіе два рога,

Вошелъ въ диванную, и видѣть, что жена

Въ полглаза на него глядѣть сквозь тонка сна.

Онъ ближе къ ней—она проснулась,

Зѣвнула, потянулась;

Потомъ,

Простерши къ мужу руки:

„Какимъ же“, говорить ему, „я крѣпкимъ сномъ

Заснула безъ тебя отъ скуки!

И знаешь ли, что мнѣ

Привидѣлось во снѣ?

Ахъ! и теперь еще въ восторгѣ утопаю!

Послушай, миленький! лишь только засыпаю,

Вдругъ вижу, будто ты ужъ болѣе не кривъ:

Ну, если этотъ сонъ не лживъ?

Позволь мнѣ испытать!—И вмігъ, не давъ супругу

Придти въ себя, одной рукой

Закрыла глазъ ему—здоровый, не кривой,—

Другою же на дверь указывая другу,

Пролазу говорить: „Что, видишь ли, мой свѣтъ?“

Мужъ отвѣчаетъ: „Нѣтъ!“

„Ни крошечки?“ — „Ни мало;

Такъ темно, какъ теперь, еще и не бывало!—

„Ты шутишь?“ — „Право, нѣтъ; да дай ты мнѣ взглянуть!“ —

„Прелестная мечта!“ Лукреція вскричала:

„Зачѣмъ польстила мнѣ, чтобъ посты обмануть!

Ахъ! другъ мой, какъ бы я желала,

Чтобы одинъ твой глазъ

Похожъ быль на другой!—Пролазъ,

При нѣжности такой, не могъ стоять болваномъ;

Онъ самъ разнѣжился, и въ радости души

Супругу наградилъ и шалью и тюбаномъ.—

Пролазъ! ты этотъ день во святцахъ запиши:

Примѣръ согласъ! жена и мужъ съ обновой!

Но что записывать? примѣръ такой не новый.

Вяземскій говорить, что Дмитріевъ „нигдѣ не оказалъ болѣе ума, замысловатости, вкуса, остроумія, болѣе стихотворческаго искусства, какъ въ своихъ сказкахъ“ ⁴¹). Съ этимъ нельзя не согласиться, или по крайней мѣрѣ нельзя не признать, что Дмитріевъ былъ гораздо болѣе счастливымъ авторомъ сказокъ, нежели патріотическихъ одъ.

Пользовались въ свое время славою и тѣ его сказки, которыя представляютъ собою подражаніе иностраннымъ образцамъ,

а именно: „Причудница“—подражаніе Вольтеровой „La Begueule“, и „Воздушная башня“—подражаніе сказкѣ: „Alnascar“, написанной поэтомъ Imbert.

Обстановка въ „Причудницѣ“ перенесена въ старинную Москву.

Въ Москвѣ, которая и въ древни времена
Прелестными была обильна и славна—
Не знаю подлинно, при ѿсмъ государѣ,
А только слышалъ я, что русскіе бояре
Тогда ужъ бросили запоры и замки,
Не запирали женъ въ высоки чердаки,
Но, слѣдуя нѣмецкой модѣ,
Ужъ позволяли имъ въ пріятной жить свободѣ;
И свѣтская тогда жена
Могла безъ опасенія
Съ домашнимъ другомъ, иль одна,
И на качеляхъ быть въ день Свѣтла Воскресенія,
И въ кукольный театръ отъ скучи завернуть,
И въ рощѣ Марьиной подъ тѣнью отдохнуть—
Въ Москвѣ, я говорю, Вѣтрана процвѣтала.

Эта Вѣтрана и есть главная герояня разсказа.

Она пригожествомъ лица,
Здоровьемъ и умомъ блестала;
Имѣла мать, отца;
Имѣла лестну власть щелкіи давать супругу;
Имѣла, словомъ, все: большой тесовый домъ,
Съ берлинами сарай, изрядную услугу,
Гуслиста, карлицу, шутовъ и дуръ содомъ,
И даже двухъ сорокъ, которыхъ болтали
Такъ точно, какъ она—однакожъ меныше знали.
Вѣтрана куколкой всегда разряжена,
И каждый день окружена
Знакомыми, родней и нѣжными сердцами;
Но всѣ они при ней казались быть лѣстецами,
Затѣмъ, что всякъ изъ нихъ завидовалъ то ей,
То цугу вороныхъ коней,
То парчевому ея платью,
И всякъ хотѣлъ бы жить съ такою благодатью.
Одна Вѣтрана лишь не вѣдала цѣны
Всѣхъ благъ, какія ей Фортуною даны...

Она была капризна, какъ избалованный ребенокъ, и вѣчно хотѣла новаго.

Однажды, въ припадкѣ скучи, сидѣть она вечеромъ у окна и вспоминаетъ о своей крестной матери — волшебницѣ Всевѣдѣ, которой „небеса вручили власть творить различны чудеса“, и

выражаетъ желаніе, чтобы Всевѣда ей „хоть глазки показала“. Всевѣда явилась, и Вѣтрана говорить ей:

„Признаться, матушка, мнѣ такъ наскучилъ свѣтъ,
И такъ я все въ немъ ненавижу,
Что то одно и сплю и вижу,
Чтобъ какъ-нибудь попасть отсель
Хотя за тридевять земель;
Да только чтобы все въ глазахъ моихъ блистало,
Все новостію поражало
И рѣдкостью мой умъ и взоръ;
Гдѣ бѣ разныхъ дивностей соборъ
Представилъ быль, какъ небылицу...
Короче: дай свою увидѣть мнѣ столицу!“

Старуха, имѣя въ виду „поучить“ разочарованную Вѣтрану, согласилась на ея просьбу.

И крестница и мать взвились подъ небеса
На лучезарной колесницѣ,
Подобной въ быстротѣ синицѣ,
И меньше, нежель въ три мига,
Спустились въ новый міръ, отъ нашего отмѣннаго,
Въ которомъ тронъ веснѣ воздвигнутъ неизмѣнныи.
Въ немъ рѣки какъ хрусталь, какъ бархатъ берега,
Деревья яблонны, кусточки ананасны,
А горы всѣ или янтарны, иль топазны.
Каковъ же феинъ быль дворецъ, признаться вамъ,
То врядъ изобразить и Богдановичъ самъ.

Однако авторъ изображаетъ этотъ дворецъ со всею его скажочною роскошью, и притомъ видимо подражая „Душенькѣ“.

Но, не смотря на обиліе чудесъ волшебнаго міра, и въ немъ есть предѣлъ разнообразію—и Вѣтрана опять заскучала.

„Но что это за міръ?“
Вѣтрана говорить, гармоніи внимая
Висящихъ по стѣнамъ золотострунныхъ лиръ:
„Все этакъ, то тоска возьметъ и среди рая!
Все чудо изъ чудесъ, куда ни поглядишь;
Но что мнѣ въ томъ, когда товарища не вижу!
Увы! я пуще жизнь мою возненавижу!
Веселье веселитъ, когда его дѣлишь.“

Но едва недовольная промолвила эти слова, какъ послѣдовала перемѣна ея обстановки:

Вдругъ набѣжала тьма, всталъ вихорь, грянулъ громъ,
Ужасна буря заревѣла;
Все рушится, падетъ вверхъ дномъ,

Какъ не бывалъ волшебный домъ,
И бѣдная Вѣтрана,
Блѣдна, безгласна, бездыханна,
Стремглавъ летить, летить, летить,
И гдѣ жъ, вы мыслите, упала?
Средь страшныхъ муромскихъ лѣсовъ,
Жилища вѣдмъ, волковъ,
Разбойниковъ и злыхъ духовъ.

Тутъ она видитъ разнаго рода ужасы, и между прочимъ страшного разбойника, который

Беретъ ее въ охапку,
И поперекъ кладетъ сѣдла,
А самъ, надвинувъ шапку,
Припавъ къ лукѣ, летить, какъ изъ лука стрѣла,
Летить, исполненный отваги,
И, Клязьмы доска��авъ высокихъ береговъ,
Бухъ прямо съ нихъ въ рѣку, не говоря двухъ словъ;
Вѣтрана жъ: ахъ!... и пробудилась.

Оказывается, что всѣ приключения Вѣтраны были не что иное, какъ сонъ, наведенный на нее Всевѣдой, которая и объясняетъ ей причину своего поступка:

„Прости мнѣ, милая! я видѣла, что ты,
По молодости лѣтъ, ударилась въ мечты;
И для того, когда ты съпросьбой приступила,
Трехсугочнымъ я скомъ тебя обворожила,
И въ сновидѣніяхъ представила тебѣ,
Что мы, всегда чужой завидя судьбѣ
И новыхъ благъ желая,
Изъ доброй воли въ адъ влечемъ себя изъ рая.
Гдѣ лучше, какъ въ своей родимой жить семѣ?
Итакъ, впередъ страшись ты покидать ее!
Будь добрая жена и мать чадолюбива,
И будешь всѣми ты почтенна и счастлива“.

Урокъ принесъ пользу: Вѣтрана измѣнилась тотчасъ же, и бросилась обнимать супруга, всѣхъ родныхъ и добрую Всевѣду“.

Разсказъ: „Воздушныя башни“, какъ уже сказано, есть подражаніе пьескѣ: „Alnascar“, содержаніе которой заимствовано изъ арабскихъ сказокъ, рассказанныхъ Шехерезадой (правильнѣе: Шехерзадой) и извѣстныхъ подъ именемъ: „Тысяча и одна ночь“. Обращеніе Дмитріева къ „Альнаскару“ объясняется, кромѣ бывшей тогда моды на восточные сказки и повѣсти, еще и тѣмъ, что самъ онъ когда-то увлекался арабскими сказками, и воспоминаніемъ объ этомъ увлечениіи онъ и начинаетъ свои „Воздушныя башни“. Онъ говоритъ:

Утѣшно вспоминать подъ старость дѣтски лѣты:
Забавы, рѣзвости, различные предметы,
Которые тогда увеселяли насъ!
Я часто и въ гостяхъ хозяевъ забываю;
Сижу, повѣся носъ; нѣть ни ушей ни глазъ;
Всѣ думаютъ, что я взмостился на Парнасъ,
А я... признаться вамъ, игрушкою играю,

Которая была

Мнѣ въ дѣтствѣ такъ мила,
Иль въ память привожу, какою мнѣ отрадой
Бывалъ тотъ день, когда, урокъ мой окончавъ,
Набѣгаясь въ саду, уставши отъ забавъ
И бросаясь на постель, зайдусь Шехерезадой.

Какъ сказки я ея любилъ!

Читая ихъ... прощай учитель,
Симбирскъ и Волга!.. все забылъ!

Уже я всей вселенной зритель,
И вижу тамъ и сямъ и карловъ, и духовъ,
И визирей рогатыхъ,
И рыбокъ золотыхъ, и лошадей крылатыхъ,
И въ видѣ кадиевъ волковъ.

Но сколько нужно словъ,
Чтобъ все пересчитать, друзья мои любезны!
Не лучше ль вамъ я уложу,
Когда теперь одну изъ сказочекъ скажу?

Затѣмъ слѣдуетъ самая сказка, повѣствующая о слѣдующемъ. „Во дни иль самого Могола, или наслѣдника его престола“ молодой Альнаскаръ, получивъ въ наслѣдство отъ отца всего сто драхмъ, накупилъ на всю эту сумму хрустальной посуды, поставилъ ее въ коробѣ на полу устроенной имъ лавочонки, а самъ

Ко стѣнкѣ прислоняясь, глаза свои уставилъ
На коробъ, и съ собой вслухъ началъ разсуждать:
„Теперь“, онъ говоритъ, „и Альнаскаръ купчина!

И Альнаскаръ пошель на стать!
Надежда, счастіе и будуща судбина,

Иль лучше, вся моя қазна

Здѣсь въ коробѣ погребена.—
Вотъ вздоръ какой мелю!—погребена... пустое!
Она плодится въ немъ, и вѣрно черезъ годъ
Прибудетъ съ барышомъ, по крайней мѣрѣ вдвое;
Двѣ сотни—хоть куда изрядненькій доходы!
На нихъ... еще куплю посуды; лучше тише—
И черезъ годъ еще двѣ сотни зашибу,

И также въ коробѣ погребу.

И такъ годъ отъ году все выше, выше, выше,
Могу я наконецъ ужъ быть и въ десяти,
И болѣе; тогда скажу моимъ товарамъ

Съ признательною къ нимъ улыбкою: прости!
И буду... ювелиръ! Боярнямъ, боярамъ
Начну я продавать алмазы, изумрудъ,
Лазурь и яхонты, и... и—всего не вспомню!

Короче: золотомъ наполни
Не только лавку—цѣлый прудъ!
Тогда-то Альнаскаръ весь разумъ свой покажетъ!
Накупить лошадей, невольницъ, дачъ, садовъ,

Евнуховъ и домовъ,
И дружбу свяжетъ
Съ знатнѣйшими людьми:
Ихъ дружба лишь на взглядъ спесива;

Нѣтъ, только кланяйся да хорошо корми,
Такъ и полюбишься—она не прихотлива;

А у меня тогда
Всѣ тропки порастутъ персидскимъ виноградомъ;
Шербетъ польется, какъ вода;
Фонтаны брызнутъ лимонадомъ,
И масло розово къ услугамъ всѣхъ гостей.

А о столѣ уже ни слова:
Я только то скажу, что нѣтъ такихъ затѣй,
Нѣтъ въ свѣтѣ кушанья такого,
Какого у меня не будетъ за столомъ!

И мой великолѣпный домъ
Храмъ будетъ роскоши для всѣхъ, кто мнѣ любезенъ,
Иль властю своей полезенъ;
Всѣхъ буду угощать: пашей, наложницъ ихъ,
Плясавицъ, плясуновъ и кадиевъ лихихъ—
Визирскихъ поддипаль.—Итакъ умоемъ, трудами,
А болѣ съ знатными водяся господами,
Легко могу войти въ чины и въ знатный бракъ...“

И Альнаскаръ уже мечтаетъ, какъ онъ станетъ мужемъ до-
чери визиря, красавицы Земиры, и сдѣлается важнымъ вельможей.

„И я, по свадебномъ обрядѣ,
На утро, въ праздничномъ нарядѣ,
Весь въ камняхъ, въ жемчугѣ и въ златѣ, какъ въ огнѣ,
Поѣду избочась и гордо на конѣ,
Котораго чепракъ съ жемчужной бахрамою
Унизанъ бирюзою,
Въ домъ къ тестю визирю. За мной и предо мною
Потянутся мои евнухи по два въ рядъ.
Визирь, еще вдали завидя мой парадъ,
Ужъ на крыльцѣ меня встрѣчаетъ,
И, въ комнаты введя, сажаетъ
По праву руку на диванъ,
Среди куреній благовонныхъ.

А завтра... о восторгъ! о верхъ моихъ желаній!
Лишь солнце выпрыгнетъ изъ водъ,
Вдругъ пробуждаюсь я отъ радостнаго клика,
И слышу: весь народъ,
Отъ мала до велика,
Толпами привала на дворъ,
Кричатъ, составя хоръ:
„Да здравствуетъ супругъ Земиры!“
А въ залѣ знатность: сераскиры,
Паши и прочіе стоять,
И ждутъ, когда войти съ поклономъ имъ велять.
Я всѣхъ ихъ допустить къ себѣ повелѣваю—
И тутъ-то важну роль вельможи начинаю:
У одного я руку жму;
Съ другимъ вступаю въ разговоры;
На третьяго взгляну, да и спиной къ нему;
А на тебя, Абдулъ, бросаю звѣрски взоры!
Раскаешься тогда, сѣдой прелюбодѣй,
Что разлучилъ меня съ Фатимою моей,
Съ которой около трехъ дней
Я жилъ душою въ душу!

Вспомнивъ разлучника Абдула, Альнаскарь приходитъ въ такой азартъ, что разбиваетъ весь свой хрусталь.

О! я уже тебя не трушу,
А ты передо мной дрожишь,
Блѣдишь, падаешь, прахъ ногъ моихъ цѣлуешь.
„Помилуй, позабудь прошедшее!“ жужжишь...
Но нѣтъ прощенія! лишь пуще крови волнуешь;
И я, уже владѣть не въ силахъ ставъ собой,
Ну по щекамъ тебя, по правой, по другой!
Пинками!“ И въ жару восторга нашъ мечтатель,
Визирскій гордый зять, Земиры обладатель,
Ногою въ коробъ толкъ: тотъ на бокъ; а хрусталь
Запрыгалъ, зазвенѣлъ—и въ дребезги разбился!—
Итакъ, мои друзья, хоть жаль или не жаль,
Но бѣдный Альнаскарь—что дѣлать!—разженился.

„Воздушныя башни“, по нашему мнѣнію, лучшая сказка Дмитріева, по юмору разсказа, по отделикъ подробностей, по языку. Къ тому же въ сказкѣ этой можно видѣть не только добродушный смѣхъ надъ воздушными замками Альнаскара, но и психологический этюдъ, наводящій на размышленіе о томъ, почему иные люди такъ любятъ строить эти замки. Такъ по крайней мѣрѣ смотрить кн. Вяземскій. Онъ говоритъ: „Въ обломкахъ посуды бѣднаго Альнаскара многіе воздушные строители видятъ развалины своихъ недостроенныхъ зданій; но многіе ли его примѣромъ

отучатся строить на воздухѣ? Едва ли. И полно, жалѣть ли о томъ?.. Несчастный смертный, коему судьба отказываетъ часто въ уголкѣ земли, на коемъ могъ бы онъ утвердить хотя одну надежду, долженъ по крайней мѣрѣ имѣть свободный входъ въ область мечтательную, гдѣ, будучи хозяиномъ наравнѣ со всѣми, можетъ онъ выгрузить избытокъ своихъ ожиданій и уходить въ беспокойную дѣятельность упованій, часто обманутыхъ, но никогда не разувѣренныхъ” ^{42).}

Самое важное мѣсто въ сказкѣ — конецъ ея, указывающей, что воздушные замки Альнаскара вызывались не столько материальнымъ его положеніемъ, сколько нравственнымъ, хотя послѣднее и обусловливалось первымъ: Абдуль не рѣшился бы обидѣть Альнаскара, если бы тотъ былъ богатъ и знатенъ.

Сказки Дмитріева относятся къ такъ называемой легкой поэзіи, поэзіи игривой, шутливой, но, не смотря на то, что авторъ, подражая французскимъ писателямъ, иногда вдается въ соблазнительные подробности при описаніи порока (особенно въ „Модной женѣ“), онъ все-таки далеки отъ тѣхъ крайностей, до которыхъ доходила эта поэзія, когда бралась служить Вакху и Эроту, теряя всякое сколько-нибудь серьезное содержаніе. Этого послѣдняго нельзя сказать о сказкахъ Дмитріева, во всякомъ случаѣ имѣвшихъ своею цѣллю — наводить на размышленіе. Но Дмитріевъ отдалъ дань и той сторонѣ поэзіи „вѣтренаго Дората и его товарищей“, которая воспѣвала лишь веселье, беззаботность, поѣллу и проч. Однако произведенія его въ этомъ родѣ не отличаются ни художественностью ни остроумiemъ, а иногда они и прямо грубоваты, какъ, напримѣръ, его вакхическая пѣсня 1795 г., изъ которой достаточно привести лишь первый и послѣдній куплеты:

Други! время скоротечно,
И не видишь, какъ летитъ;
Молодыми быть не вѣчно:
Старость вмигъ насы посѣтить.
Что же дѣлать? — такъ и быть!
Въ ожиданы будемъ пить.

О аракъ, аракъ чудесный!
Ты весну намъ возвратиль;
Ты согрѣль, какъ май прелестный,
Щеки розами покрылъ...
Чѣмъ же намъ тебя почтить?
Вдвоемъ, втрое больше пить.

Причинъ для сближенія Дмитріева съ Карамзінъмъ было двѣ: во-первыхъ, Дмитріевъ писалъ между прочимъ и въ сентиментальномъ стилѣ, а во-вторыхъ—и это главное—онъ былъ по-слѣдователемъ Карамзина въ языке.

Сентиментальная струя встрѣчается во многихъ произведеніяхъ Дмитріева и даже, какъ мы видѣли, въ его торжественныхъ одахъ; но особенно замѣтна она въ нѣкоторыхъ его пѣсняхъ, изъ которыхъ одна можетъ даже служить образцомъ самаго сентиментальнѣйшаго произведенія. Мы говоримъ о пѣснѣ о голубкѣ (1792), которую и напомнимъ читателю.

Стонеть сизый голубочекъ,
Стонеть онъ и день и ночь;
Миленъкій его дружочекъ
Отлетѣль надолго прочь.
Онъ ужъ болѣ не воркуетъ
И пшенички не клюетъ;
Все тоскуетъ, все тоскуетъ,
И тихонько слезы льетъ.
Съ нѣжной вѣтки на другую
Перепархиваетъ онъ,
И подружку дорогую
Ждетъ къ себѣ со всѣхъ сторонъ.
Ждетъ ее... увы! но тщетно;
Знать, судилъ ему такъ рокъ!
Сохнеть, сохнеть непримѣтно
Страстный, вѣрный голубокъ.
Онъ ко травкѣ прилегаетъ;
Носикъ въ перья завернуль;
Ужъ не стонеть, не вздыхаетъ;
Голубокъ... навѣкъ уснуль!
Вдругъ голубка прилетѣла,
Пріунывъ, издалека,
Надъ своимъ любезнымъ сѣла,
Будить, будить голубка;
Плачетъ, стонеть, сердцемъ иоя,
Ходить милаго вокругъ—
Но... увы! прелестна Хлоя!
Не проснется милый другъ!

Сентиментальные пѣсни Дмитріева очень долго пользовались большою популярностью, клались на музыку и распѣвались не только современниками автора, но и позднѣйшими поколѣніями, что можетъ засвидѣтельствовать пишущій эти строки, имѣвшій не одинъ случай слышать ихъ въ провинціальныхъ обществахъ пятидесятыхъ годовъ (однако лишь въ Николаевскія времена). Особеннаю популярностью пользовались пѣсни: „Стонеть сизый

голубочекъ" и „Всѣхъ цвѣточковъ болѣ розу я любилъ". О народномъ характерѣ подобныхъ пѣсень нечего, разумѣется, и говорить. Въ примѣчаніи къ пѣснѣ: „Ахъ! когда бъ я прежде знала, что любовь родить бѣды" авторъ сказалъ, что она „есть точное подражаніе старинной простонародной пѣснѣ". Но Галаховъ спрашевливо замѣтилъ, что „слова: ярый воскъ не доказываютъ еще народности, у которой есть, кромѣ особенного способа выраженія, свой образъ мыслей и чувствъ, чего пьеса Дмитріева вовсе не представляется" ⁴³⁾.

Что сентиментальная пѣсни Дмитріева писались не безъ вліянія Карамзина, указываетъ и небольшое посланіе къ В. В. Измайловой (1826 г.), гдѣ Дмитріевъ между прочимъ говоритъ:

Увы, всему пора: и я былъ молодъ, пѣль;
Съ восторгомъ на вѣнокъ Карамзина смотрѣль,
И состязался съ нимъ, какъ съ другомъ, *въ писнопѣнны...*

Вторымъ основаніемъ сближать Дмитріева съ Карамзиномъ былъ, какъ сказано, языкъ его произведеній. Правда, въ раннихъ стихотвореніяхъ Дмитріева можно встрѣтить еще языкъ въ родѣ слѣдующаго:

Можетъ быть, въ сю минуту,
Милый другъ, всесильный рокъ
Посылаетъ Парку *люту*
Дней моихъ *предрати токъ*; ⁴⁴⁾

можно найти много остатковъ стариннаго стиля и вообще въ его торжественныхъ одахъ,—но во всѣхъ другихъ своихъ произведеніяхъ онъ является послѣдователемъ Карамзинской реформы. И всего важнѣе то, что Дмитріевъ понялъ самую сущность стремленій Карамзина, т.-е. желаніе его придать литературной рѣчи *изящество*. Но Карамзинъ обрабатывалъ главнымъ образомъ прозу; Дмитріевъ старался внести изящество въ стихи. И онъ достигъ своей цѣли: современники признали его „основателемъ языка стихотворнаго", какъ признали они Карамзина „основателемъ прозы". Вяземскій писалъ въ 1823 году: „Кажется, что вопросъ, кого должны мы утвердительно почесть основателями нынѣшней прозы и настоящаго языка стихотворнаго, давно уже решенъ большинствомъ голосовъ. Языкъ Ломоносова въ нѣкоторомъ отношеніи есть уже мертвый языкъ. Сумароковъ подвигнуль у насъ ходъ и успѣхи словесности, но не языка. Языкъ Державина, обильный поэтическою смѣлостю, красотами живописными и быстрыми движеніями, не можетъ быть почитаемъ за

языкъ классической, или образцовый... Языкъ Хераскова и ему подобныхъ отцвѣль вмѣстѣ съ ними, какъ нарѣчіе скучное, единовременное, не взросшее отъ корня живого въ прошедшемъ и не пустившее отраслей для будущаго. Въ нѣкоторыхъ изъ стиховъ и прозаическихъ твореній Фонвизина обнаруживается умъ открытый и острый; и хотя онъ первый, можетъ быть, угадалъ игривость и гибкость языка, но не оказалъ вполнѣ авторскаго дарованія: слогъ его есть слогъ умнаго человѣка, но не писателя изящнаго. Богдановичъ, въ нѣкоторыхъ отрывкахъ „Душеньки“ и другихъ стихахъ, коихъ дойскиваться должно въ безднѣ стиховъ обыкновенныхъ, можетъ называться баловнемъ счастья, но не питомцемъ искусства. Мольеръ сказалъ о Корнелѣ, что какой-то добрый духъ нашептывалъ ему хорошия стихи его: то же можно сказать и о пѣвцѣ Душеньки, сожалѣя, что духъ враждебный такъ часто наговаривалъ ему на другое ухо — стихи вялые и нестройные". А далѣе критикъ заявляетъ, что онъ, не находя въ Дмитревѣ, какъ поэтѣ, никакого „коренного порока“, въ языкѣ его видитъ „правильность“, въ слогѣ — „красивость“ и сверхъ того — „свободность стихосложенія“ ⁴⁵).

Говоря вообще, князь Вяземскій преувеличивалъ достоинства поэзіи Дмитріева; но отзывъ его о языкѣ и слогѣ этого писателя признается справедливымъ.

Тутъ кстати привести и то мѣсто изъ статьи Вяземскаго, гдѣ онъ даетъ общую характеристику поэтическихъ произведеній Дмитріева. Онъ имъ приписываетъ „вѣрный вкусъ, умъ острый и замысловатый, воображеніе не стремительное, но живое, насыщенностъ не язвительную, но колкую, совершенство отдѣлки и вообще тѣтъ глянецъ искусства, который преимущественно замѣтенъ въ твореніяхъ французовъ, и придастъ послѣдній блескъ красотѣ, какъ художественная оправа удвоиваетъ достоинство драгоцѣннаго камня“ ⁴⁶).

Съ этою щедрою похвалою интересно сопоставить скромный отзывъ самого Дмитріева о своихъ твореніяхъ. Признавшись въ своихъ запискахъ, что онъ „нетерпѣливъ былъ обдумывать предпринимаемую работу“, Дмитріевъ продолжаетъ: „Оттого, можетъ быть, и примѣчается, даже самимъ мною, въ стихахъ моихъ скучность въ идеяхъ, болѣе живости, украшеній, чѣмъ глубокомыслія и силы. Оттого послѣдовало и то, что ни въ которомъ изъ лучшихъ моихъ стихотвореній нѣть обширной основы... Я никогда много не думалъ о стихахъ моихъ... Часто приходило мнѣ даже на мысль, что я и совсѣмъ не поэтъ, а пишу только по какому-то

случайному направлению, по одному навыку къ механизму... Кощунство, изображеніе картинъ, возмущающихъ непорочность, привѣтствія къ *Алинамъ* безъ дара Катулла и Анакреона, даже дружескія посланія, растворенные многословіемъ, не принадлежать къ достоянію истиннаго поэта". И тутъ же Дмитріевъ высказываетъ свой взглядъ на поэзію. „Такъ! я и теперь не перемѣнилъ своего мнѣнія: поэзія, порожденіе неба, хотя и склоняется взоръ свой къ земль, но—здѣсь она проникаетъ во глубину сердецъ; наблюдаетъ сокровенные ихъ изгибы, и живописуетъ страсти, держась всегда нравственной цѣли, воспламеняетъ къ добродѣтели, ко всему изящному и высокому, воспѣваетъ доблести обрѣченныхъ къ бессмертию. А тамъ—изливается въ удивленіи къ мирозданію, въ трепетномъ благоговѣніи къ Непостижимому. Вотъ назначеніе истинной поэзіи! Вотъ почему она и называется органомъ боговъ, а вдохновенный ею—поэтомъ" ⁴⁷⁾.

Но мы не разсмотрѣли еще двухъ отдыловъ произведеній Дмитріева: произведеній сатирическихъ и басенъ.

Къ сатирическимъ произведеніямъ Дмитріева относятся извѣстная его сатира: „Чужой толкъ" (1794) и эпиграммы.

Сатира: „Чужой толкъ" направлена противъ бездарныхъ слагателей торжественныхъ одѣ, умѣвшихъ лишь рабски придерживаться принятыхъ еще Ломоносовымъ правилъ Буало да ставившихся наполнять свои оды напыщенными выраженіями. Какъ на образецъ такихъ одослагателей можно указать на Бухарского, помѣщавшаго свои стихи въ журналахъ Крылова: „Зритель" (1792) и „Санктпетербургскій Меркурій" (1793). Въ его одахъ встрѣчаются выраженія, очень напоминающія тѣ, наль которыми смытается Дмитріевъ. Такъ, напримѣръ, въ одѣ, написанной по случаю тезоименитства императрицы Екатерины II (1788), есть слѣдующіе стихи:

Какимъ я жаромъ воспалился!
Отверзлись умы очеса:
Се вѣчности храмъ растворился,
Въ немъ міра вижду чудеса.

Другая—„На взятіе Очакова" (1788)—начинается такъ:

Какій восторгъ мой духъ объемлетъ!
Какій ліется въ мысли свѣтъ!
Какіе громы служъ мой внемлетъ?
Что музу къ подвигу влечеть? ⁴⁸⁾.

Имѣя въ виду подобныхъ одослагателей, Дмитріевъ и начинаетъ свою сатиру вопросомъ, предложеннымъ отъ лица старика, любителя литературы:

Что за диковинка? Лѣтъ двадцать ужъ прошло,
Какъ мы, напрягши умъ, наморщивши чело,
Со всеусердіемъ все оды пишемъ, пишемъ,
А ни себѣ ни имъ похвалъ нигдѣ не слышимъ?

Это тѣмъ удивительнѣе, замѣчаетъ старикъ, что одописцы не отступаютъ отъ правиль сложенія оды: „сперва прочтешь вступленіе, тутъ предложеніе, а тамъ и заключеніе“.

Отвѣтъ на вопросъ старика авторъ даетъ опять-таки не отъ себя, а влагаетъ его въ уста „какого-то Аристарха“, почему сатира и названа *чужими* толкомъ. Аристархъ первою причиной появленія неудачныхъ одъ считаетъ то обстоятельство, что за созданіе ихъ берутся часто люди случайные, не посвятившіе себя литературѣ. Онъ говорить:

... въ Москвѣ толкался я бывало
Межъ нашихъ Пиндаровъ и всѣхъ ихъ замѣчалъ:
Большая часть изъ нихъ—лейбъ-гвардіи капраль,
Ассесоръ, офицеръ, какой-нибудь подьячій,
Иль изъ кунсткамеры антикъ въ пыли ходячій,
Уродовъ стражъ—народъ все нужный, должностной;
Такъ часто я видаль, что истинно иной
Въ два, въ три дни риому лишь прибрать едва успѣть,
Затѣмъ, что въ хлопотахъ досуга не имѣть.

Вторая причина—низменность цѣли.

Гораций, напримѣръ, восторгомъ грудь питая,
Чего желалъ? О! онъ—онъ бралъ не свысока:
Въ вѣкахъ—безсмертія, а въ Римѣ—лишь вѣнка...
А нашихъ многихъ цѣль—награда перстенькомъ,
Нерѣдко сто рублей, иль дружество съ князькомъ,
Который отъ роду не читывалъ другого,
Кромѣ придворнаго подчасъ мѣсяцеслова...

Но самая главная причина появленія дурныхъ одъ—это отсутствіе у ихъ авторовъ таланта, образованности, начитанности.

Лучшая часть сатиры—конецъ ея: изображеніе того, „какъ писываль поэтъ природный оду“, затѣмъ указаніе на судьбу его произведенія:

И оду ужъ его тисненью предаютъ,
И въ одѣ ужъ его намъ ваксу продаютъ!

и наконецъ полное ъдкой ироніи заключеніе, написанное отъ лица автора:

Да вѣдаеть же всяктъ по одамъ мой клевретъ,
Какъ дерзостный языкъ безславилъ нась, ничтожилъ,
Какъ лириковъ цѣниль! Воспрянемъ! Марсій ожилъ!
Товарищи! къ столу, за перья! отомстимъ!
Надуемся, напремъ, ударимъ, поразимъ!
Напишемъ на него предлинную сатиру,
И оправдаемъ тѣмъ россійску громку лиру.

Князь Вяземскій оцѣниль сатириу Дмитріева очень высоко: онъ поставилъ ее наравнѣ съ Недорослемъ. „Какъ Фонвизинъ“— говоритъ онъ—, „одинъ написалъ русскую комедію, въ коей изобличаются дурачества и пороки не заимствованные, а природные: такъ и нашъ поэтъ одинъ написалъ и, къ сожалѣнію, одну русскую сатириу, въ коей осмѣивается слабость, господствовавшая только на нашемъ Парнасѣ. *Недоросль* и *Чужой толкъ* носятъ на себѣ отпечатокъ народности, мѣстности и временій, который, отлагая въ сторону искусство авторское, придаетъ имъ цѣну отличную. Легко можно написать комическую сцену или десятокъ рѣзкихъ стиховъ сатирическихъ, при талантѣ и начитанности; но быть живописцемъ образцовъ, посреди коихъ живемъ, писать картины не на память или наобумъ, но съ природы, ловить черты характеристической, оттѣнки въ физіономіи лицъ и обществъ— можно только при умѣ наблюдательномъ, прозорливомъ и глубокомъ. Тогда удовольствіе соединяется съ пользою въ произведеніи искусства, и авторъ достигаетъ высоты назначенія своего: быть наставникомъ согражданъ“ ⁴⁹⁾). Пыпинъ же далеко не такъ доволенъ сатирой Дмитріева. Она, замѣчаетъ этотъ критикъ, „отмѣтила отчасти смѣшныя стороны тогдашняго стихотворства, но характеристика сочинителя одѣ не отличается ясностью“. И въ объясненіе своего замѣчанія онъ прибавляеть: Дмитріевъ „смѣшиваетъ, повидимому, совсѣмъ разные классы стихотворцевъ“, когда скакать къ Кролю, посѣщать Ліона и вообще вертѣться въ свѣтѣ заставляетъ не только лейбъ-гвардіи капрала, ассесора, офицера, но вмѣстѣ съ ними и подьячаго и кунсткамернаго антика. „Неужели,—говорить Пыпинъ,— свѣтскія заботы, спектакли, маскарады отягощали и этихъ людей?“— Но Пыпинъ не признаетъ за „Чужимъ толкомъ“ и практическаго значенія, такъ какъ „ода держалась еще десятка два лѣтъ и скорѣе умерла естественною смертью, чѣмъ отъ сатиры Дмитріева“ ⁵⁰⁾.

Эпиграммы Дмитріева, эти небольшія и иногда очень колкія

стихотвореньца, не всѣ оригинальны, и лучшія изъ нихъ—переводныя. Одна переведена изъ François de Neufchateau:

Мыѣ лѣкарь говорилъ: „Нѣтъ, ни одинъ больной
Не скажеть обо мнѣ, что не доволенъ мной!“—
„Конечно“, думалъ я: „никто того не скажеть:
Смерть всякому языку привяжеть“.

Другая—изъ Lebrun: „Dialogue entre un pauvre poète et l'auteur“:

— Я разорился отъ воровъ!—
— „Жалѣю о твоемъ я горѣ!“—
— „Украли пукъ моихъ стиховъ!“
— „Жалѣю я о ворѣ!“—

Теперь скажемъ о басняхъ Дмитріева. Въ подавляющемъ большинствѣ случаевъ онъ не оригинальны: Дмитріевъ главнымъ образомъ или переводилъ чужія басни—Флоріана, Лафонтена, Буасара, Арно, Гишара, Барба и многихъ другихъ,—или подражалъ имъ. Но и переводныя басни могутъ служить въ извѣстной степени характеристикой баснописца. Прежде всего интересенъ вопросъ, съ какимъ именно содержаніемъ выбиралъ Дмитріевъ басни для перевода или подражанія.

Дмитріевъ, какъ знаемъ, имѣлъ случай хорошо ознакомиться съ современными ему нравами придворныхъ, и въ одномъ мѣстѣ своихъ записокъ, которое мы уже приводили ⁵¹⁾, восклицаетъ: „Сколько хитростей, даже и мелочей въ дворской наукѣ!“ Судя по всему, знакомство съ придворными вельможами, которыхъ онъ называлъ „коварными царедворцами“ ⁵²⁾, оставило въ немъ большую долю горечи. Эта-то горечь, по всей вѣроятности, и заставляла его останавливать свое вниманіе на такихъ басняхъ, въ которыхъ выводились отрицательные типы людей этого класса. Вотъ, думаемъ мы, причина, вызвавшая переводъ басенъ: „Придворный и Протей“ (изъ Флоріана) и „Дѣвѣ лисы“ (изъ Гишара). Въ первой изъ нихъ изображенъ придворный, умѣвшій мѣнять свой видъ не хуже самого Протея. На страну напалъ моръ, а „срокъ бѣдамъ зависѣлъ отъ Протея“. Но кто можетъ управиться съ этимъ богомъ, умѣющимъ „различны виды брать?“ Однако нашелся одинъ придворный—и пошелъ ловить виновника бѣдъ.

Увидя рыцаря, Протей затрепеталъ,
И вмигъ—какъ не бывалъ,
А выползла змѣя красавая, скрывъ жало.
„Куда какъ мудрено!“
Сказаль съ усмѣшкою придворный:

„Я ползать и колоть ужъ выученъ давно!“
И кинулся герой проворный
Ловить Протея.—Тотъ вдругъ обезъянной сталь,
Тамъ волкомъ, тамъ лисою.—
„Не хвастайся передо мною!
И этому гораздъ!“ при дворный говорилъ,
А между тѣмъ его веревкою крутилъ...

Во второй баснѣ — изъ разговора двухъ лисицъ уясняется, чѣмъ занимаются иные придворные.

Вчера подслушалъ я, двѣ разныхъ свойствъ лисицы
Такой имѣли разговоръ:
— „Ты ль это, кумушка? давно ли изъ столицы?“—
„Давно ль оставила я дворъ?
Съ недѣлю.“—„Какъ же ты разѣѣлась, подобрѣла!
Знать, при дворѣ у льва привольное житье?“—
„И очень! досыта всего пила и ёла“.
— „А въ чемъ тамъ ремесло главнѣйшее твое?“—
„Бездѣлица! съ утра до вечера таскаться;
Гдѣ такнуть, гдѣ польстить, предъ сильнымъ унижаться,
И больше ничего!“—„Какое ремесло!“—
„Однакожъ мнѣ оно довольно принесло:
Чинъ, мѣсто“.—„Горкій плодъ! чины не возвышаютъ,
Когда ихъ подлости цѣною покупаютъ“.

Какъ бы съ цѣлію рѣзче оттѣнить недостатки придворныхъ, а отчасти, можетъ быть, и съ цѣлію выразить свое сочувствіе свѣтлымъ сторонамъ личности императора Александра, Дмитріевъ переводилъ и такія басни, въ которыхъ находилъ изображеніе гуманнаго и любящаго свой народъ царя.

Таковы, напримѣръ, басни: „Калифъ“ (Флоріана), „Три льва“ (Imbert), „Царь и два пастуха“ (Флоріана же). Въ первой есть даже уже готовое, сдѣланное самимъ Флоріаномъ сопоставленіе жестокаго, деспотического и подобострастнаго визиря съ добрымъ и правосуднымъ калифомъ. Но въ выборѣ одной изъ сейчасъ указанныхъ басенъ можно предположить и еще одну цѣль: цѣль, подобную той, съ какою и Карамзинъ написалъ свое „Похвальное слово императрицѣ Екатеринѣ“. Мы говоримъ о баснѣ: „Царь и два пастуха“, въ которой идетъ рѣчъ о способѣ создать хорошее управлѣніе.

Какой-то государь, прогуливаясь въ полѣ,
Раздумался о царской долѣ.

„Нѣтъ хуже нашего, онъ мыслилъ, ремесла:
Желалъ бы дѣлать то, а дѣлаешь другое!
Я всей душой хочу, чтобы у меня цвѣла
Торговля; чтобы народъ мой ликовалъ въ покоѣ,—

А принужденъ вести войну,
Чтобъ защищать мою страну.
Я подданныхъ люблю, свидѣтели въ томъ боги,
А долженъ прибавлять еще на нихъ налоги;
Хочу знать правду—мнѣ всѣ лгутъ.
Бояре лишь чины берутъ,
Народъ мой стонеть, я страдаю,
Совѣтуюсь, тружусь—никакъ не успѣваю;
Полсвѣта властелинъ, не веселиюсь ничѣмъ!“
Чувствительный монархъ подходитъ между тѣмъ
Къ пасущейся скотинѣ:
И что же видитъ онъ? разсыпанныхъ въ долинѣ
Барановъ, тощихъ до костей,
Овечекъ безъ ягнятъ, ягнятъ безъ матерей!
Всѣ въ страхѣ бѣгаютъ, кружатся,
А пасмъ и нужды нѣтъ: они подъ тѣмъ ложатся;
Лишь бѣдный мечется пастухъ:
То за бараномъ въ лѣсъ во весь онъ мчится духъ,
То бросится къ овцѣ, которая отстала,
То за любимымъ онъ ягненкомъ побѣжитъ,
А между тѣмъ ужъ волкъ барана въ лѣсъ тащитъ;
Онъ къ нимъ, а здѣсь овца волчихи жертвой стала.
Отчаянныи пастухъ рветъ волосы, реветъ,
Бѣть въ грудь себя и смерть зоветъ.
„Вотъ точный образъ мой“, сказалъ самовластитель:
„Итакъ, и смиреннѣихъ животныхъ охранитель
Такими жъ, какъ и мы, напастями окруженъ,
И онъ, какъ царь, порабощенъ.
Я чувствую теперь какую-то отраду“.
Такъ думая, впередъ онъ путь свой продолжалъ,
Куда? и самъ не зналъ;
И наконецъ пришелъ къ прекраснѣйшему стаду.
Какую разницу монархъ увидѣлъ тутъ!
Баранамъ счету нѣтъ, отъ жира чуть идутъ;
Шерсть на овцахъ, какъ шелкъ, и тяжестью ихъ клонить;
Ягнятки, кто кого скорѣе перегонитъ,
Толпятся къ маткинамъ питательнымъ сосцамъ;
А пастушокъ въ свирѣль подъ липою играетъ,
И милую свою пастушку воспѣваетъ.
„Не сдѣбовать, овчеки, вамъ!“
Царь мыслить: „волкъ любви не чувствуетъ закона,
И пастуху свирѣль худая оборона“.
А волкъ и подлинно, откуда ни возьмись,
Во всю несется рысь;
Но псы, которые то стадо сторожили,
Вскочили, бросились и волка задавили;
Потомъ одинъ изъ нихъ ягненочка догналъ,
Который далеко отъ страха забѣжалъ,
И тотчасъ въ куѣ всѣхъ попрежнему собралъ;

Пастухъ же все поетъ, не шевелясь нимало.
Тогда уже въ царѣ терпѣнія не стало.
„Возможно ль?“ онъ вскричалъ: „здѣсь множество волковъ,
А ты одинъ... умѣль сберечь большое стадо!“
— „Царь!“ отвѣчалъ пастухъ: „тутъ хитрости не надо:
Я выбралъ добрыхъ псовъ“.

Басня эта была напечатана въ „Вѣстникѣ Европы“ 1802 г. и, безъ сомнѣнія, нравилась Карамзину, такъ какъ наводила на мысль, что не учрежденія важны, а люди, — мысль, на которой онъ потомъ стоялъ въ своей знаменитой „Запискѣ“.

Но не съ одними придворными знакомъ былъ Дмитріевъ: ему хорошо былъ извѣстенъ и чиновничій міръ его времени, въ особенности кругъ высшей бюрократіи. Въ своихъ запискахъ онъ отмѣтилъ не мало темныхъ сторонъ этой части современного ему общества: происки, эгоизмъ, надменность и раболѣпство, любостяженіе и честолюбіе, правило уважать только того, кого боишься, или отъ кого надѣешься получить какую-либо выгоду и т. п. Богатое собраніе пороковъ! Однако Дмитріевъ въ своихъ басняхъ былъ гораздо болѣе скроменъ, чѣмъ въ запискахъ: сатира на чиновничій міръ въ его басняхъ занимаетъ очень небольшое мѣсто. „Ружье и заяцъ“ (изъ Imbert), „Часовая стрѣлка“ (изъ Nogent), „Сверчки“ (изъ Ламотта) — вотъ и все, что могло быть примѣнено и къ нашимъ „служивцамъ“: бывали и у насъ „дремлющіе предсѣдатели“ (Ружье и заяцъ), бывали и такие занимающіе важные посты чиновники, которые только и держались своими секретарями (Часовая стрѣлка), бывали и судьи-лицемѣры, старавшіеся казаться обществу добродѣтельными и трудолюбивыми, а на самомъ дѣлѣ все ихъ „уложеніе“ только въ томъ и состояло, чтобы

Богатому служить, прѣдъ сильнымъ пресмыкаться,
А до другихъ и дѣла нѣтъ. (Сверчки).

Впрочемъ сатирическихъ басенъ у Дмитріева и вообще не много: въ его басняхъ преобладаетъ не сатирическое, а дидактическое направленіе, при чемъ мораль ихъ обыкновенно чисто житейская, самаго общаго характера. Вотъ образцы темъ, на которыхъ написаны переведенные или заимствованные имъ дидактическія басни: „всякъ своей бѣдой ума себѣ прикупить“ (Чижикъ и зяблица); „на ближнихъ уповай, а самъ ты не плошай“ (Жаворонокъ съ дѣтьми и земледѣлецъ); „всякъ только своему разсудку вслѣдъ идетъ, а вѣруетъ бѣдѣ не прежде, какъ придется“ (Ласточка и птички); „впередъ по виду ты не дѣлай заключенія“

(Пѣтухъ, котъ и мышонокъ); „опасенъ крупный врагъ, а мелкій часто вдвое“ (Левъ и комаръ); „тотъ, вѣрно, сталъ умнѣй, кто въ школѣ бѣдствій былъ“ (Разбитая скрипка); „хорошее всегда знакомство въ прибыль намъ“ (Полевой цвѣтокъ и гвоздика), и т. п. Есть басня и съ такой моралью: „держись всегда своей тропинки тихомолкомъ“ (Летучая рыба). Въ переводныхъ басняхъ-сатирахъ, за исключениемъ уже указанныхъ выше, осмѣиваются самонадѣянность, хвастливость и тому подобныя людскія слабости; но встрѣчаются и басни съ замѣчательными сатирическими типами: одинъ изъ нихъ изображенъ Лафонтеномъ („Мышь, удалившаяся отъ свѣта“), другой — Флоріаномъ („Лиса-проповѣдница“).

Между оригинальными баснями Дмитріева, которыхъ у него очень не много, заслуживаетъ вниманія, своимъ содержаніемъ и типичнымъ изображеніемъ кабана, изданная въ 1818 г. басня-сатира: „Бобръ, кабанъ и горностай“.

Кабанъ, да бобръ и горностай
Стакнулись къ выгодамъ искать себѣ дороги.
По долгому странствіи, въ пути отбивши ноги,
Приходять на конецъ въ обѣтованный край,
Привольный для всего; однакожъ этотъ рай
Быть окружены болотомъ,
Вѣстилищемъ и жабъ и змѣй.
Что дѣлать? Никакимъ не можно изворотомъ
Болота миновать, а кто себѣ злодѣй?
Кому охотно жизнь отваживатъ безъ славы?
Въ раздумыи путники стоять у переправы.
„Осмѣлюсь!“ горностай помыслилъ; и слегка
Онъ лапку въ бродъ — и вонъ, и одаль въ два прыжка:
„Нѣтъ, братцы“, говорить: „по совѣсти признаться,
Со всѣмъ обилеемъ край этотъ не хороши;
Чтобъ входъ къ нему найти, такъ должно замараться,
А мнѣ и пятнышко ужаснѣе, чѣмъ ножъ!“
— „Ребята!“ бобръ сказалъ: „съ терпѣніемъ
И умѣніемъ
Добьешься до всего; я въ двѣ недѣли мостъ
Исправный здѣсь построю:
Тогда мы перейдемъ къ довольству и покою;
И гады въ сторонѣ, и не замаранъ хвостъ;
Вся сила — не спѣшить и бодрствовать въ надеждѣ“. —
„Въ полѣ сяца? пустякъ! я буду тамъ и прежде“,
Вскричалъ кабанъ — и разомъ въ бродъ:
Ушелъ по руло въ топъ, и змѣй и жабъ — все давитъ,
Ногами бѣть, пыхтитъ, упорно къ цѣли правитъ,
И хватки на берегъ изъ мутныхъ вылѣзъ водъ.

Межъ тѣмъ какъ на другомъ товарищи зѣваютъ,
Кабанъ, встряхнувшись, надменный принялъ видъ,
И чрезъ болото къ нимъ съ презрѣніемъ хрючитъ:
„Вотъ какъ по-нашему дорогу пробиваются!“

Затѣмъ нельзя не остановиться еще на баснѣ: „Молитвы“, находящейся въ связи не только съ религіознымъ чувствомъ Дмитріева, но и съ его религіозными возврѣніями. Очень можетъ быть, что басня эта есть возраженіе мистикамъ, отвергавшимъ вѣшнюю обрядность. По крайней мѣрѣ въ рѣчи выведенаго въ баснѣ „мудреца“, на которую возражаетъ „благочестивый мужъ“, можно видѣть слѣды мистического ученія.

Въ преддверь храма
Благочестивый мужъ прихода ждалъ жрѣца,
Чтобъ горстью єиміама
Почтить вселенія Творца
И вознести къ Нему смиренные обѣты:
Онъ въ море отпустилъ пять съ грузомъ кораблей;
Отправилъ на войну любимыхъ двухъ дѣтей,
Въ цвѣтущія ихъ лѣты,
И ждалъ съ часа на часъ отъ милыя жены
Любови новаго залога.
Довольно и одной послѣднія вины
Къ тому, чтобы вспомнить Бога!
Увидя съ улицы его, одинъ мудрецъ
Зашелъ въ преддверіе и сталъ надъ нимъ смигаться.
„Возможно лѣ“, говоритъ: „какой ты образецъ?
Тебѣ ли съ чернью равняться?
Ты умный человѣкъ, а вѣришь въ томъ жрецамъ,
Что наше пѣніе доходитъ къ небесамъ.
Невѣдомый, Кто сей громадой міра править,
Кто взглядомъ можетъ все твореніе истребить,
Восхочетъ ли на то вниманье обратить,
Что непримѣтный червь Его жужжаньемъ славить?
Подите прочь, ханжи, вы съ ладономъ своимъ!
Вы истинныя вѣры чужды!
Молитвы... нѣтъ Тому въ нихъ нужды,
Кто мудрыми боготворимъ“...
— „Постой!“ здѣсь набожный его перерываетъ:
„Не истощай ты силъ своихъ!
Что Богу нужды нѣтъ въ молитвахъ—всякій знаетъ;
Но можно лѣ намъ прожить безъ нихъ?“

Разсмотрѣвъ басни Дмитріева, мы приходимъ къ заключенію, что онѣ имѣли очень ограниченное примѣненіе къ русской собственно жизни, и большинство ихъ вращается въ сферѣ общежитейской морали. Князь Вяземскій сильно преувеличивалъ ихъ

значеніе, и, сказавши: „Не ставлю Дмитріева выше Крылова; но не ставлю и Крылова выше Дмитріева“ ⁵³⁾), сравняль обоихъ баснописцевъ. Но уравнивать ихъ нельзя ужъ потому, что Крыловъ является авторомъ болѣе сотни оригинальныхъ басенъ, тогда какъ Дмитріевъ почти исключительно или переводилъ чужія, или подражалъ имъ. Затѣмъ за Крыловымъ остается преимущество, какъ въ отношеніи народности его басенъ, такъ и исторического ихъ значенія. Впрочемъ кн. Вяземскій судилъ о басняхъ того и другого писателя главнымъ образомъ лишь съ художественной стороны — и вотъ его взглядъ: „Дмитріевъ и Крыловъ — два живописца, два первостатейные мастера двухъ различныхъ школъ. Одинъ беретъ живостью и яркостью красокъ: онъ всѣмъ кидаются въ глаза и радуютъ ихъ игривостью своею, рельефностью, поразительною выпуклостью. Другой отличается болѣе правильностью рисунка, очерковъ, линій. Дмитріевъ, какъ писатель, какъ стилистъ, болѣе художникъ, чѣмъ Крыловъ, но уступаетъ ему въ живости рѣчи. Дмитріевъ пишетъ басни свои; Крыловъ ихъ разсказываетъ. Тутъ можетъ явиться разница во вкусахъ: кто любить болѣе читать, кто слушать. Въ чтеніи преимущество остается за Дмитріевымъ“. Къ этому критикъ дѣлаетъ слѣдующую прибавку, замѣчательную тѣмъ, что въ ней сатирическій характеръ басенъ Крылова ставится автору какъ бы въ упрекъ. „Басни Дмитріева — всегда басни“, говоритъ Вяземскій. „Хорошъ или нѣтъ этотъ родъ, это зависитъ отъ вкусовъ; но онъ придерживался условій его. Басни Крылова нерѣдко драматированныя эпиграммы на таکой-то случай, на такое-то лицо“ ⁵⁴⁾. Если приведенный взглядъ Вяземскаго и не принять цѣликомъ, то во всякомъ случаѣ нельзя и не признать за баснями Дмитріева значительной степени художественности, въ особенности, сравнивая ихъ съ баснями предыдущихъ писателей — Сумарокова, Хераскова и др. Дмитріевъ дѣйствительно много способствовалъ усовершенствованію нашей басни — и Крыловъ уже имѣлъ въ немъ хорошаго предшественника и, пожалуй, даже учителя.

Кромѣ указанныхъ разрядовъ произведеній, у Дмитріева есть еще не мало мелкихъ стихотвореній такого рода: стихотворенія въ альбомы, надписи къ портретамъ, къ статуямъ, бюстамъ, мадrigалы, короткія стихотвореньица на разные случаи. Упоминаемъ объ этихъ стихотворныхъ мелочахъ потому, что онъ встрѣчаются не у одного Дмитріева, а у очень многихъ поэтовъ

его времени—и были тогда въ большой модѣ. Вотъ, для примѣра, нѣсколько такихъ мелочей Дмитріева.

Надпись къ портрету М. М. Хераскова (1801).

Пускай отъ зависти сердца въ зоилахъ ноютъ;
Хераскову они вреда не принесутъ:
Владимиръ, Иоаннъ щитомъ его покроютъ
И въ храмъ бессмертья приведутъ.

Эпитафія Богдановичу (1803).

На урну преклонясь вечернею порою,
Амуръ невидимо здѣсь часто слезы льть
И мыслить, отягченъ тоскою:
Кто Душеньку мою такъ мило воспоетъ?

Мадригалъ (1798).

По чести, отъ тебя не можно глазъ отвѣсть;
Но что къ тебѣ влечеть? загадка непонятна;
Ты не красавица, я вижу... а пріятна!
Ты бѣ лучше быть могла; но лучше такъ, какъ есть.

Тутъ кстати сказать, что въ тѣ времена были въ модѣ такъ называемыя *бури́мे* (bouts-rim s), т.-е. стихотворенія на заданныя риены. У Дмитріева ихъ нѣть, но Карамзинъ, Вас. Пушкинъ и Нелединскій-Мелецкій въ нихъ упражнялись ⁵⁵⁾.

Если Вяземскій вообще преувеличивалъ достоинства и значеніе произведеній Дмитріева, то съ другой стороны новѣйшая критика впадаетъ иногда въ противоположную крайность и отводить этому писателю ужъ слишкомъ ничтожное мѣсто въ исторіи нашей литературы. Такъ, напримѣръ, Пыпинъ не признаетъ за нимъ никакого историческаго значенія и говоритъ: „для новыхъ литературныхъ поколѣній Дмитріевъ, какъ писатель, не могъ представлять большого интереса и не могъ имѣть никакого вліянія“. ⁵⁶⁾ Но такъ ли это?—Въ 1899 г. вышла брошюра профессора Кіевскаго университета П. В. Владімірова: „А. С. Пушкинъ и его предшественники въ русской литературѣ“. ⁵⁷⁾ Въ этой брошюре между прочимъ читаемъ: „Лицейскія стихотворенія Пушкина, дошедшия до насть, представляютъ подражанія не только поэтамъ новой школы: Карамзину, Батюшкову, Жуковскому, но и прежнимъ пѣвцамъ россійскаго Парнасса: Державину, Дмитріеву, Хераскову, Богдановичу и др. Слѣдя послѣднимъ, Пушкинъ порывается овладѣть эпическими формами полуушточ-

ныхъ, полуисторическихъ поэмъ, въ родѣ Бовы, Руслана и Людмилы".⁵⁸⁾ Затѣмъ авторъ брошюры, указавъ, въ чёмъ состояло вліяніе на Пушкина поэзіи Державина, Хераскова и Богдановича, останавливается на Дмитріевѣ и отмѣчаетъ тотъ фактъ, что Пушкинъ очень увлекался сказками Дмитріева, называлъ ихъ "прелестными" и кое-что изъ нихъ заимствовалъ. Такъ въ слѣдующихъ стихахъ въ элегіи Пушкина 1816 г. „Разлука“:

Но я унылъ и втайнѣ я грущу.
Блеснетъ ли день за синею горою,
Взойдетъ ли ночь съ осеннею луною—
Я все тебя, прелестный другъ, ишу

Владиміровъ видѣтъ подражаніе стихамъ въ „Причудница“:

Я жизнь мою во скукѣ трачу:
Настанетъ день—тоскую, плачу;
Покроетъ ночь—опять грушу,
И все чего-то я ишу.

„Причудница“ же, въ которой есть вставочный разсказъ о драгунскомъ ротмистрѣ Брамербасѣ (на немъ, обращенномъ въ коня, вѣдьма разгуливало до полуночи), дала, по мнѣнію Владимирова, сюжетъ Пушкинскому „Гусару“. Тотъ же критикъ полагаетъ, что самая любовь Пушкина къ эпиграммамъ и пѣснямъ устанавливалась не безъ вліянія Дмитріева. Не могли, говорить авторъ брошюры, пройти безъ вліянія на Пушкина и наблюденія Дмитріева надъ русской жизнью, хотя и неполныя, отрывочные, выразившіяся въ „Чужомъ толкѣ“ и въ нѣкоторыхъ сказкахъ.⁵⁹⁾

Правда, уже въ 1822 г. Пушкинъ писалъ: „Англійская словесность начинаетъ имѣть вліяніе на русскую. Думаю, что оно будетъ полезнѣе вліянія французской поэзіи, робкой и жеманной. Тогда нѣкоторые люди упадутъ, и посмотримъ, гдѣ очутится Ив. Ив. Дмитріевъ съ своими чувствами и мыслями, взятыми изъ Флоріана и Легуве“. ⁶⁰⁾ Но какъ нельзя на основаніи этихъ словъ утверждать, что самъ Пушкинъ не находился прежде подъ вліяніемъ французской литературы, такъ нельзя отрицать и извѣстной доли вліянія на него произведеній Дмитріева.

Но, говоря о вліяніи Дмитріева на молодыхъ писателей, надо имѣть въ виду не однѣ „чувства и мысли“, но и языкъ, которымъ онѣ выражались. „Нельзя не удивляться тому, какъ умѣль усовершенствовать свой стихъ и языкъ Дмитріевъ“, говоритъ Владимировъ.⁶¹⁾ Нѣтъ сомнѣнія, что этотъ усовершенствованный стихъ и языкъ—не маловажное наслѣдство, оставленное Дмитріевымъ послѣдующему поколѣнію писателей.

Принимая во внимание все эти факты, едва ли можно считать Дмитриева писателемъ, не имѣвшимъ никакого вліянія на новое литературное поколѣніе, т.-е. считать его писателемъ, какъ бы не существующимъ для исторіи нашей литературы.

III. В. Л. Пушкинъ (1770—1830).

Первый взглядъ на сочиненія В. Пушкина.—Его басни, характеризующія автора.—Его сказки.

Какъ писатель, Василій Львовичъ Пушкинъ, дядя нашего знаменитаго поэта, во многихъ отношеніяхъ напоминаетъ Дмитриева, которому онъ и старался подражать. И действительно, при первомъ же взглядѣ на собраніе сочиненій Василія Львовича ⁶²⁾ невольно вспоминается Дмитриевъ. Оно начинается цѣлымъ рядомъ басенъ и сказокъ, т.-е. такими родами произведеній, которые доставили Дмитриеву славу у современниковъ. Далѣе въ собраніи сочиненій Василія Львовича идетъ отдѣлъ, озаглавленный: „Разныя стихотворенія“. Правда, Василій Львовичъ не писалъ ни торжественныхъ одъ, ни героическихъ поэмъ—и этимъ онъ отличается отъ Дмитриева,—но зато въ другихъ отношеніяхъ стихотворенія его въ упомянутомъ отдѣлѣ опять-таки напоминаютъ Дмитриева: тутъ мы встрѣчаемъ опять тѣ же роды поэтическихъ произведеній, которые любилъ Дмитриевъ: эпиграммы, мадrigалы, эпиграфы, надписи къ портретамъ, стихи въ альбомы, стихи, обращенные къ Хлоѣ, и пѣсни. Это, конечно, все мелочи; но есть тутъ и произведенія съ серьезнымъ содержаніемъ: нѣсколько стихотвореній, имѣющихъ автобиографическое значеніе, а главное—посланія къ разнымъ лицамъ, затрагивающія нѣкоторые современные вопросы и обрисовывающія В. Пушкина, какъ одного изъ образованнѣйшихъ людей своего времени. Форма посланія однако также не была оригинальностью у Василія Львовича: эту форму ввели у насъ Карамзинъ и Дмитриевъ.

Мы не будемъ останавливаться на самыхъ мелкихъ стихотвореніяхъ В. Пушкина, а скажемъ лишь о его басняхъ и сказкахъ, и затѣмъ, сообщивъ біографическую о немъ свѣдѣнія, остановимся главнымъ образомъ на его посланіяхъ.

Басни В. Пушкина также далеко не все оригинальны: очень многія изъ нихъ заимствованы изъ тѣхъ же источниковъ, откуда бралъ и Дмитриевъ: у Лафонтена, Флоріана, Буасара, Гишара и проч. Между баснями Василія Львовича особенно часто встрѣ-

чаются такія, которыя оправдываютъ представлениe современниковъ о немъ, какъ о человѣкѣ съ чрезвычайно добрымъ сердцемъ: онъ, по выражению Дмитриева, готовъ былъ „обнять, любить весь свѣтъ“ ⁶⁸⁾. Этой-то сердечностью Пушкина и объясняется, почему среди его басенъ есть такія, какъ „Голубка“ (1806, изъ Буасара), „Ощипанный пѣтухъ“ (1808), „Павлинъ, зябликъ и сорока“ (1812), „Великодушный царь“ (1815, изъ Гишара) и „Волкъ и его товарищи“ (1822). Коротенькая басня: „Голубка“ гласитъ слѣдующее:

Голубка, подъ кустомъ прижалвшись, говорила:
„Ахъ, ястребъ пролетѣлъ! Какая злость и сила!
Но, право, я должна судьбу благодарить,
Что ястребомъ меня она не сотворила.
Не лучше ль жертвою, а не злодѣемъ быть?“

Во второй изъ названныхъ басенъ авторъ выражаетъ свое сочувствіе всѣмъ „гонимымъ судьбой“. Лисица поймала пѣтуха и, ощипавъ ему перья, уже готовилась сѣсть за обѣдъ. Случайно жертва спаслась, благодаря псу Полкану, пустившемуся ловить лисицу. Пѣтухъ безъ перьевъ возвратился въ курятникъ.

„Не думалъ никогда увидѣться я съ вами“,
Бѣдняжка курицамъ сказала:
„Чертъ на меня бѣду ужасную послалъ,
И если бъ не Полканъ съ зубами,
Конечно бѣ не былъ я въ живыхъ!“

Въ курятникѣ однако бѣдняка не встрѣтили сочувственно.

— „Какое дѣло намъ до шалостей твоихъ!“
Всѣ куры въ голосъ закричали:
„Безъ перьевъ, голякамъ, не можемъ мы помочь.
Бѣги отсѣлѣ прочь,
Пока не заклевали!“—
Ощипанный пѣтухъ, собравъ остатокъ силъ,
Отъ курицъ лыжи навострилъ.

Въ заключеніи авторъ говоритъ:

Гонимые судьбой, не тратьте словъ напрасныхъ!
Вездѣ пріемъ такой бываетъ для несчастныхъ.

Третья басня—„Павлинъ, зябликъ и сорока“—написана на тему:

Злыхъ людей въ томъ состоять умѣнья,
Чтобъ недостатки находить.
А добрый счастливѣ тѣмъ, что можетъ онъ хвалить.

Басня: „Великодушный царь“ такова:

На смерть невольникъ осужденный,
Лишиась надежды всей, монарха ноносилъ.
„Что говоритьъ несчастный?“ вопросилъ
Чиновниками царь своими окруженный.
— „Онъ о тебѣ къ Творцу“, любимецъ отвѣчалъ,
„Моленъ возсылаетъ,
И съ сокрушениемъ, съ слезами умоляетъ,
Чтобъ жизнь ему ты даровалъ!“—
„Свободенъ онъ! Прощать—для сердца утѣшенье!“
— „Напрасно, государь, даруешь ты прощенье“,
Завистливый одинъ придворный закричалъ:
„Неистовый злодѣй, въ ужасномъ изступленьѣ,
Тебя, я слышалъ, проклиналъ!“.
— „Нѣть мужды: на него я милость обращаю.
Къ добру меня влечеть любимецъ вѣрный мой;
Въ жестокой правдѣ ныть отрады никакой,—
И благотворну ложь я ей предпочитаю!“.

Басня: „Волкъ и его товарищъ“ по основной мысли нѣсколько аналогична съ басней: „Ощипанный пѣтухъ“: въ ней авторъ тоже застуپается за „несчастныхъ“, но вмѣстѣ съ тѣмъ и протестуетъ противъ эгоизма. Волкъ попалъ въ бѣду; товарищъ его не выручилъ. Басня заканчивается словами погибающаго волка:

„Я наконецъ на опытѣ узналъ,
Что выгоды свои вѣсъ исполняютъ умньюютъ;
Несчастные же друзей въ семѣ мірѣ не имнютъ!“.

Мягкосердый человѣкъ часто бываетъ неспособенъ къ борьбѣ и склоненъ скорѣе отвернуться отъ зла, не видѣть его, нежели вести съ нимъ борьбу. Василій Львовичъ, готовый „обнять, любить весь свѣтъ“, могъ иногда размягчаться до желанія не видѣть зла. Въ такую минуту и появилась его басня: „Сурокъ и щегленокъ“ (1808). Щегленокъ отнесся къ сурку и съ негодованіемъ и съ сожалѣніемъ вслѣдствіе того, что тотъ „вѣчно спитъ“ въ своей норѣ и не видитъ, что творится въ свѣтѣ. Сурокъ заинтересовался и проситъ щегленка разсказать ему: что же тамъ дѣется? Щегленокъ началъ:

„Отъ старика и до ребенка
Всѣ заняты умы въ столичныхъ городахъ:
Тотъ проживается, тотъ копитъ, богатится
И въ страшныхъ откупахъ;
Другой надъ картами трудится;
Заботы, происки о лентахъ, о чинахъ;
Никто не думаетъ о близкихъ, о друзьяхъ;“

Жена предъ мужемъ лицемърить,
А мужъ передъ женой,—и до того дошло,
Что брату братъ не вѣрить“.

На эту рѣчь:

— „Какой развратъ, какое зло!“
Вскричаль сурокъ съ презрѣніемъ:
„Не говори съ такимъ, пожалуй, сожалѣніемъ!
Чтобъ ужасовъ такихъ не слышать и не знать,
По-моему, не лучше ль спать?“

Характерна очень и басня: „Старый левъ и звѣри“, напи-
санная еще въ 1802 году.

Всѣ звѣри на поклонъ пришли ко льву въ пещеру.
Левъ былъ и старъ и дряхль: онъ шуму не любилъ;
Услужливыхъ гостей къ себѣ онъ не просилъ;
Не ко всему имѣлъ онъ вѣру;
Онъ былъ уменъ—и для него
Покой милѣе былъ всего.
Однакожъ принялъ левъ своихъ гостей учтиво.
Всѣ въ голосъ начали кричать,
Бранить другихъ, себя жъ, какъ можно, величать.
Такое общество и межъ людьми не диво!

Величали себя волкъ, лисица, медвѣдь, а затѣмъ, осудивъ все
собраніе, „началь слонъ болтать о подвигахъ своихъ“.

„Что нужды мнѣ до нихъ?“
Левъ молвилъ наконецъ, все потерявъ терпѣніе:
„Ступайте по домамъ!
Вы очень всѣ умны, я знаю цѣну вамъ,
Но для меня ума дороже снисхожденіе.
Овчака милая останется со мной:
Она не хвалится своею остротой
И вашихъ качествъ не имѣть;
Но съ нею хорошо: она любить умѣетъ“.

Авторъ прибавляетъ:

Читатель согласится самъ,
Что въ старости *не умъ, а сердце* нужно намъ.

Однако, при всемъ своемъ добродушіи, Василій Львовичъ,
какъ образованный человѣкъ, не могъ подчасъ не возмущаться
разнаго рода общественными недостатками, въ особенности про-
явленіемъ невѣжества. Негодующая нотка звучитъ нерѣдко и въ
его басняхъ. Лучшія изъ такихъ басенъ — „Японецъ“ (1806) и
„Сычи“ (1812). Приводимъ обѣ.

Одинъ японецъ молодой
Былъ глухъ и слѣпъ, къ тому жъ нѣмой,
Но участью своей доволенъ:
Имѣлъ все нужное, покоенъ былъ и воленъ.
„Благодарю боговъ“, —нерѣдко думалъ онъ,—
„Что я въ Японіи живу благословленной!
Японцы такъ добры, чтутъ правду и законъ,
И я, всѣхъ чувствъ почти лишенный,
Еще блаженствуя и ими не забытъ:
Одѣть, обутъ и сытъ“.—

Какой-то врачъ исцѣлилъ японца чудеснымъ бальзамомъ—и
что же исцѣленный узналъ?

Товарищи его не стоили похвалъ:
Другъ друга грабили они безчеловѣчно,
Бездѣ бессильный былъ попранъ,
Въ судахъ коварство обитало,
На торжищахъ обманъ,
И словомъ—зло торжествовало.
„О ужасъ!“ юноша вскричалъ
Съ прискорбiemъ души, съ сердечными слезами:
„Такихъ ли гнусныхъ дѣлъ отъ васъ я ожидалъ?
Что сдѣлалось, японцы, съ вами?
Куда ни оглянусь—въ странѣ несчастной сей
Или безумецъ, иль злодѣй!“
Слова его судьямъ пересказали,
И тотчасъ отданъ былъ приказъ,
Чтобъ изъ отечества навѣкъ его изгнали. —
„Японцы“, онъ сказалъ: „теперь я знаю вѣсть.
И съ вами счастіе найти, безъ спору, можно,
Но быть уродомъ должно
Безъ языка, ушей и глазъ.

Въ баснѣ: „Сычи“ Василій Львовичъ подъ сычами разумѣлъ
авторовъ-невѣждъ.

Сіяніе золотого Феба
Не можетъ нравиться сычамъ.
Когда по тонкимъ облакамъ,
Средь свѣтлого голубого неба,
Онъ, гордо шествуя, дарить отраду намъ,—
Враги его въ дуплахъ скрываются, стонаютъ
И Феба проклинаютъ...

Но вотъ случилось затменіе въ самый полдень, и сычи воз-
ликовали:

Въ восторгѣ сычъ кричитъ: „Друзья, злодѣя нѣть!
Свѣтильникъ пагубный не существуетъ болѣ;

Нѣть, полно жить въ неволѣ!
Глядѣть во всѣ глаза намъ велѣно судьбой;
Тьма благотворная навѣки воцарила;

Летите вслѣдъ за мной!
Безумцевъ стая возгордилась,
И тучею они стремятся къ небесамъ.

Но вѣчно ль ликовать сычамъ?—
Затменье кончилось, и солнце воссіяло;
Въ величіи свой путь небесный воспріяло;
Развеселился міръ; все оживилось вновь:

Долины, горы, рощи,
Воспѣли соловыи блаженство и любовь;

Одни любимцы темной нощи,
Прослыть орлами вѣзмечтавъ,
Валятся на землю стремглавъ.

Заканчивается басня такимъ поясненіемъ:

Какъ солнца свѣтлого лучи,
Сіяютъ даръ, ученье.
Невѣжество—умовъ затменье,
Невѣжды-авторы—сычи.

Професоръ Халанскій считаетъ эту басню яркой выразительницей самыхъ задушевныхъ мыслей В. Пушкина. А такими мыслями его, говоря словами того же критика, были мысли о „живительной силѣ просвѣщенія, науки“ и о „торжествѣ разума человѣка“ ⁶⁴⁾.

Подражая Дмитріеву, В. Пушкинъ написалъ нѣсколько сказокъ; но ему не удалось раздѣлить славу автора „Модной жены“. Желая быть игривымъ, онъ изображалъ то кокетливую старуху, то невѣрную жену, то смѣшное положеніе старика мужа при молодой женѣ. Однако во всемъ этомъ нѣть той „замысловатости“, которая заставляла кн. Вяземскаго такъ восхищаться сказками Дмитріева. Эти сказки Пушкина бѣдны содержаніемъ. Сравните, напримѣръ, съ „Модною женой“ коротенькое произведеніе Василия Львовича, озаглавленное: „Быль“ (1808):

На Лизѣ молодой богачь-старикъ женился,
И участью своей онъ не доволенъ былъ.
„Что ты задумалась?“ женѣ онъ говорилъ:
„Я, право, пиши всей лишился
Съ тѣхъ поръ, какъ Богъ меня съ тобой соединилъ!
Все ты сидишь въ углу; не слышу я ни слова;
А если молвишь что, то вѣчно вы да вы.
Дружочекъ, любушка, скажи мнѣ нѣжно: ты —

И шаль турецкая готова“.

При словѣ *шаль* жена перемѣнила тонъ.

„Какъ *ты* догадливъ сталъ! Поди *жъ* скорѣе вонъ!“

Восточная сказка Пушкина: „Кабудъ-путешественникъ“ (1818), повѣствующая о томъ, какъ хитрый дервишъ, собравшись въ Мекку, но не желая идти пѣшкомъ, выманилъ у бѣднаго и недалекаго Гассана его единственного осла—Кабуда, подъ тѣмъ предлогомъ, что послѣ путешествія онъ возвратитъ ему осла великимъ ученымъ, говорящимъ на многихъ языкахъ, и Гассанъ, показывая его, обогатится, — эта сказка, при сравненіи ея съ „Воздушными башнями“ Дмитріева, также проигрываетъ въ живости и художественности.

Но есть у Василія Львовича одна сказка (вѣрнѣе—баллада), обращающая на себя вниманіе: это—„Людмила и Усладъ“ (1818). Она замѣчательна, какъ попытка обращенія ея автора къ сюжетамъ изъ древне-русской жизни. Написана она на тему народныхъ сказаний обѣ измѣнѣ жены.

Теперь слѣдовало бы обратиться къ стихотвореніямъ В. Пушкина, имѣющимъ автобіографическое значеніе, но мы не говоримъ о нихъ отдельно потому, что имѣемъ въ виду воспользоваться ими при изложеніи свѣдѣній о его жизни.

Чувствительность, мечтательность и идиллическія стремленія В. Пушкина.—Противорѣчащая имъ любовь его пожить. — Его возвышенные интересы.—Жизнь Василія Львовича, какъ рядъ фактovъ, отражающихъ его личность.

Василій Львовичъ родился въ Москвѣ въ 1770 г. и былъ старшимъ изъ двухъ сыновей подполковника артиллеріи Льва Александровича Пушкина, дѣда нашего знаменитаго поэта. Владѣя 3000 душъ, Левъ Александровичъ, преданный слуга императора Петра III, въ Екатерининскія времена уже не служилъ, а жилъ большими бариномъ то въ Москвѣ, то въ своихъ помѣстьяхъ, преимущественно въ селѣ Болдинѣ (Нижегородской губерніи, Лукьяновскаго уѣзда). О характерѣ его можно судить по слѣдующему разсказу одного изъ біографовъ В. Пушкина: „Левъ не только по имени, но и нравомъ, онъ, женатый дважды, съ обѣими женами обходился крайне круто: первую изъ нихъ, урожденную Воейкову, онъ едва ли не уморилъ въ одиночномъ заключеніи изъ ревности къ бывшему учителю его сыновей, французу (аббату Николю), котораго безъ суда и слѣдствія повѣсили у себя на

черномъ дворѣ. Вторую же жену свою, Ольгу Васильевну, урожденную Чичерину, мать Василія и Сергія Львовичей, онъ насильно повезъ въ гости, когда та чувствовала уже приближеніе родовъ, такъ что бѣдная женщина дорогою, въ каретѣ, подарила его сыномъ, и затѣмъ, полуживая привезенная домой, такъ и была уложена въ постель въ нарядѣ и брилліантахъ⁶⁵⁾. Можно было бы ожидать, что деспотическій духъ отца передастся и дѣтямъ, однако этого не случилось. Правда, младшій сынъ проявлялъ иногда нѣкоторую долю самодурства,—но изъ Василія Львовича выработалась личность въ высшей степени любящая и мягкая. Онъ былъ даже въ значительной степени человѣкомъ чувствительнымъ и мечтательнымъ. Само собою разумѣется, что эти черты развивались въ Василія Львовича не безъ вліянія Карамзина. Прочтите его стихотвореніе: „Суїда“, которое Карамзинъ напечаталъ въ своихъ „Аонидахъ“ 1797 года,—и вы увидите въ немъ много Карамзинскаго. Вотъ важнѣйшая мѣста изъ этого стихотворенія:

Души чувствительной отрада, утѣшенье,
Прелестна тишина, покой, уединеніе,
Желаній всѣхъ моихъ единственный предметъ!
Недолго вами я, къ несчастью, наслаждался;
Природы красотой недолго любовался:
Опять я въ городѣ, опять среди суетъ...

Съ какимъ весельемъ я взиралъ,
Какъ ты, о солнце, восходило,
Въ восторгъ всѣ чувства приводило!
Тамъ запахъ ландышей весь воздухъ наполнялъ,
Тамъ пѣли соловьи, тамъ ручеекъ журчалъ,
И Хлоя тутъ была. Чего жъ недоставало?

Я Хлоѣ говорилъ: „Послушай, для покоя
Такое же село, какъ Суїда⁶⁶⁾, я куплю—
И буду жить съ тобой тамъ въ домикѣ прѣкрасномъ.
Насъ милые друзья пріѣдутъ посѣщать,
А мы, подъ небомъ яснымъ,
Съ сердцами чистыми ихъ станемъ угощать.

Со вкусомъ будетъ все, пріятно и не пышно;
А лучше что всего, чему смигается свѣтъ,
У насъ рѣчей другому въ вредъ,
Ни острыхъ, колкихъ словъ никакъ не будетъ слышно.
По утру жъ время съ кѣмъ я буду провождать?
Съ Гиршфельдомъ⁶⁷⁾ и Руссо, съ Боннетомъ и Томсономъ;
Ихъ долгъ—къ полезному мой разумъ поощрять,
И наставленія ихъ я буду читать закономъ.
И вы, любезные Юнгъ, Геснеръ, Циммерманъ,

Собою украсите мое уединенье.

Кому любить добро даръ милый небомъ данъ,
Тотъ въ васъ найдеть всегда для сердца утѣшенье!
Вотъ какъ я, нѣжный другъ, желаю жить съ тобой!
Не злата множество—посредственность, покой,
Любовь моихъ друзей, ты, Хлоя,—и доволенъ,
И нѣтъ счастливѣе меня!

Кто правъ своей душой, кто въ совѣсти спокоенъ,
Тобою кто любимъ, имѣеть кто тебя,
Кто бѣдному помочь въ несчастыи не жалѣеть,—
Чего желать тому?—Онъ все уже имѣеть.

Любовь къ природѣ и простотѣ заставляла В. Пушкина не только читать Томсона, но и подражать его идиллическимъ произведеніямъ, какъ напр. подражалъ онъ его „Временамъ года“ въ своемъ стихотвореніи: „Сельскій житель“ (1804), которое начинается такъ:

Кто въ мірѣ счастія прямого цѣну знаетъ,
И сельской жизни всѣ пріятности вкушаетъ
Въ кругу своихъ друзей, отъ шума удаленъ,—
Тотъ истинно въ душѣ покоенъ и блаженъ.

Склонность къ мечтательности проявлялась у Василія Львовича даже и въ очень зреѣлые годы, о чёмъ свидѣтельствуетъ стихъ:

Молчу по суткамъ—и мечтаю,

находящійся въ стихотвореніи: „На случай щутки А. М. Пушкина“ ⁶⁸⁾ написанномъ въ 1815 г.

Но было бы ошибкой представлять себѣ Василія Львовича человѣкомъ, только стремившимся къ сельской жизни, тишинѣ и уединенію: напротивъ, это былъ большой любитель и пожить. Барская жизнь его отца имѣла свое вліяніе: Василій Львовичъ любилъ и общество и пирушки. Это, конечно, противорѣчіе; но подобная противорѣчія въ характерахъ людей встрѣчаются часто: вспомнимъ личность императора Александра I, личность Александра Сергеевича Пушкина въ молодости, и далѣе — Лермонтова. Къ людямъ, полнымъ внутреннихъ противорѣчій, принадлежалъ и Василій Львовичъ: съ одной стороны онъ восхищался сельскимъ уединеніемъ, а съ другой—распѣвалъ такія пѣсни, въ которыхъ приглашалъ своихъ друзей въ маскарадъ къ Ліону, гдѣ ихъ ужъ ждали и „фрау-баронесса“ и „Лиза Карловна“.

Указанные два элемента въ характерѣ В. Пушкина были однако не единственными и во всякомъ случаѣ не главными: самое

важное въ немъ то, что онъ могъ увлекаться интересами науки, литературы и вообще просвѣщенія.

Левъ Александровичъ озабочился дать сыновьямъ своимъ образованіе, по тогдашимъ понятіямъ, блестящее. Василій Львовичъ, кромѣ французскаго языка, который онъ зналъ въ совершенствѣ, изучалъ еще нѣмецкій, англійскій, итальянскій и латинскій. Впрочемъ, нѣмецкій языкъ, по собственному признанію Василія Львовича (въ письмѣ къ Карамзину изъ Берлина), онъ зналъ плохо.

Отецъ В. Пушкина принадлежалъ къ числу тѣхъ русскихъ баръ, которые любили заводить у себя театральныя представленія и интересовались литературой. Эта любовь къ изящнымъ удовольствіямъ передалась и сыновьямъ его. Василій Львовичъ, вспоминая о своемъ дѣтствѣ въ посланіи къ брату 1797 года, указываетъ, какими интересами жили дѣти Льва Александровича.

Ты помнишь, какъ бывало
Текли часы для насъ?
Природой восхищаясь,
Гуляли мы съ тобой;
Или полезнымъ чтеньемъ
Свой просвѣщали умъ;

Или Творцу вселенной
На лирахъ пѣли гимнъ...
Поэзія святая!
Мы съ самыхъ юныхъ лѣтъ
Тобою занимались;
Ты услаждала насъ!

Страстнымъ любителемъ поэзіи и просвѣщенія оставался В. Пушкинъ и до конца дней своихъ.

Послѣ сказанного понятно, что жизнь Василія Львовича не могла представлять нѣчто цѣльное: въ ней должны были перекре-щиваться факты самые противорѣчивые.

Остроумный отъ природы, характера, говоря вообще, веселаго и общительнаго, Василій Львовичъ, еще юношей, принимая участіе во всѣхъ домашніхъ спектакляхъ, прославился въ кружкѣ знакомыхъ, какъ хороший актеръ и чтецъ монологовъ изъ французскихъ трагедій. Вмѣстѣ съ тѣмъ знали и о его способности необыкновенно легко писать французскіе куплеты. Прошла его первая юность, и онъ, еще въ дѣтствѣ записанный въ Измайліовский полкъ, явился въ Петербургъ на дѣйствительную службу, на которой и оставался до 1797 года. Судя по его стихотвореніямъ, написаннымъ не позже этого года, онъ нерѣдко предавался воз-вышеннымъ мечтамъ. Такъ напр. въ стихотвореніи: „Къ камину“ (1793), несочувственно говоря о людяхъ, принадлежавшихъ къ разнымъ отрицательнымъ типамъ, главный характеръ которыхъ обозначенъ уже въ данныхъ имъ поэтомъ прозвищахъ (Глупомо-

тovy, Пустяковы, Прыгушкины, Плутовы),—Василій Львовичъ выражаетъ такое свое намѣреніе:

Стараться буду я лишь только честнымъ быть,
Законы чтить, отечеству служить,
Любить моихъ друзей, любить уединенъе—

и прибавляеть:

Вотъ сердца моего прямое утѣшенье!

Далѣе, въ посланіи къ Дмитріеву (1796), Василій Львовичъ высказываетъ сожалѣніе, что у него нѣтъ „славнаго дара“ нашихъ „бардовъ“, подъ которыми онъ разумѣеть Державина, Хераскова, Карамзина и самого Дмитріева. Наконецъ въ 1797 г. появились его стихотворенія: „Суїда“ и посланіе къ брату. Однимъ словомъ, передъ нами молодой человѣкъ, повидимому, далекій отъ всего низменнаго. И что же? Въ Петербургѣ въ то время существовало общество: „Галера“, членами которого состояли представители золотой молодежи, ставившей себѣ цѣлью жить не только весело, но и разгульно. В. Пушкинъ примыкаеть къ этому обществу и дѣлается въ немъ запѣвалой. Къ этому-то времени и относится вышеупомянутая пѣсня его, обращенная къ товарищамъ:

Плыви, Галера, веселися;
Къ Ліону въ маскарадъ пустися;
Одінь остался вечеръ намъ!
Тамъ ждуть насъ фрау-баронесса
И сумасшедшая повѣса,
И Лиза Карловна ужъ тамъ ^{69).}

Въ 1797 г. Василій Львовичъ выходитъ въ отставку, поселяется въ Москвѣ, женится и занимается литературой. Еще въ Петербургѣ познакомился онъ съ Дмитріевымъ, а теперь и съ Карамзінъмъ, къ которому, еще не зная его лично, отправлялъ свои стихотворенія—и они печатались въ Аонидахъ. Позднѣе онъ помѣщалъ свои произведения и въ „Вѣстникѣ Европы“. Семейная жизнь Василія Львовича однако продолжалась недолго: въ 1802 г. онъ уже развелся съ женой, которая, по семейнымъ преданіямъ Пушкиныхъ, сама была виною разрыва,—и скоро уѣхалъ за границу. Побывалъ онъ (1803—1804) въ Германии, Франціи и Англіи. Любитель сельской простоты вернулся изъ-за границы величайшимъ франтомъ. По свидѣтельству кн. Вяземскаго, „Парижемъ отъ него такъ и вѣяло. Одѣтъ онъ былъ съ парижской иголочки съ головы до ногъ. Прическа—à la Titus, уложенная, умащенная древнимъ масломъ, huile antique. Въ простодушномъ самохвалѣствѣ давалъ онъ дамамъ обнюхивать голову свою“ ^{70).}

Однако изъ-за границы Василій Львовичъ вывезъ не одно только *huile antique*: во время своего путешествія онъ, какъ говорить Саитовъ, собралъ драгоцѣнную библіотеку изъ лучшихъ изданій латинскихъ, французскихъ и англійскихъ писателей; мно-гія изъ книгъ его собранія принадлежали королевской и другимъ богатымъ до революціи французскимъ библіотекамъ, такъ что извѣстный библіоманъ того времени, графъ Д. П. Бутурлинъ, зави-довалъ сокровищамъ Пушкина, а самъ владѣлецъ ихъ очень гор-дился своимъ пріобрѣтеніемъ ⁷¹⁾). Наблюдая парижскія моды и зака-зывая себѣ франтовскіе наряды, Василій Львовичъ въ то же время заводилъ знакомства съ европейскими литературными знаменито-стями. Разсказываютъ также, что онъ, желая познакомить французовъ съ нашей народной поэзіей, помѣстилъ въ журналѣ гр. Сегюра „*Archives littéraires*“ французскій переводъ нѣсколькихъ русскихъ старинныхъ пѣсенъ ⁷²⁾). Будучи страстнымъ любителемъ театра, В. Пушкинъ познакомился въ Парижѣ съ знаменитымъ тогда тра-гикомъ Тальмою и бралъ у него уроки декламаціи. Вообще въ бытность свою за границей Василій Львовичъ доказалъ, что воз-вышенные интересы интеллигентнаго человѣка имъ вовсе не за-быты. Это подтверждается и сохранившимися его двумя письмами къ Карамзину: одно изъ Берлина, другое изъ Парижа. Оба они и по содержанію, и по слогу очень напоминаютъ „Письма русскаго путешественника“: то же преображеніе умственныхъ интересовъ и та же страсть наслаждаться изящнымъ. Въ послѣднемъ отно-шеніи есть сходство даже въ одной подробности: въ письмѣ изъ Парижа Пушкинъ, подобно Карамзину, заявляетъ, что онъ въ искусстве „любить то, что болѣе дѣйствуетъ на сердце“ ⁷³⁾.

Возвратясь изъ-за границы въ Москву, Василій Львовичъ продолжалъ вести все ту же двойственную жизнь: съ одной сто-роны—обѣды, пирушки, съ другой—литературныя занятія. Послѣд-нія, конечно, не всегда были серьезны: мадригали, любовныя пѣсни, *bouts-rimés* Василія Львовича — все это связывалось съ его раз-съянной свѣтской жизнью; но затѣмъ остается еще много произ-веденій, въ которыхъ авторъ ихъ является проповѣдникомъ гу-манности и страстнымъ любителемъ просвѣщенія. Помѣщая свои произведенія во многихъ журналахъ московскихъ и петербург-скихъ, В. Пушкинъ имѣлъ обширное литературное знакомство и старался поддерживать эти связи. Услыхавъ, что въ Петербургѣ основалось общество изъ молодыхъ литераторовъ — „Арзамасъ“, онъ тотчасъ же поскакалъ въ столицу, и былъ принятъ въ число членовъ этого общества и даже получилъ почетное название —

его „старости“. Затѣмъ вскорѣ онъ снова вернулся въ Москву, чтобы вести тамъ свою двойственную жизнь. Любовь къ обѣдамъ и пирожкамъ не прошла ему даромъ: въ послѣдніе годы жизни онъ сильно страдалъ подагрой.

Но для характеристики Василія Львовича приведемъ еще три факта изъ его жизни. Вигель въ своихъ запискахъ разсказываетъ, что В. Пушкинъ, узнавъ однажды, что въ Петербургъ пріѣхалъ французскій дипломатический агентъ Дюрокъ и представляетъ собою чистѣйшую картинку моднаго журнала,—немедленно понесся туда исключительно для того, чтобы позаимствовать послѣдними новостями французскаго туалета. Вернувшись въ Москву, онъ изумилъ всѣхъ толстымъ и длиннымъ жабо, короткимъ фрачкомъ и головою въ мелкихъ, курчавыхъ завиткахъ, какъ баранья шерсть, что называлось тогда прическою *à la Дюрокъ*⁷⁴). Другіе два факта разсказаны Анненковымъ. Василій Львовичъ, уже едва двигался отъ подагры въ 1830 году, но продолжалъ толковать о журналахъ, и разъ въ одномъ изъ сильнѣйшихъ пароксизмовъ болѣзни нашелъ минуту сказать окружающимъ: «Какъ скучны статьи Катенина объ испанской литературѣ!» Самая смерть его, послѣдовавшая въ тотъ же годъ, имѣла одинаковый характеръ съ его жизнью. Намъ разсказывалъ одинъ изъ близкихъ его знакомыхъ, что разъ утромъ больной старикъ поднялся съ постели, добрался до шкаповъ огромной своей библиотеки, гдѣ книги стояли въ три ряда, заслоняя другъ друга, отыскалъ тамъ Беранже, и съ этой ношей перешелъ на диванъ залы. Тутъ принялъ онъ перелистывать любимаго своего поэта, вздохнулъ тяжело и умеръ надъ французскимъ пѣсенникомъ⁷⁵).

Похоронили Василія Львовича въ Донскомъ монастырѣ, куда проводила его вся литературная Москва. Племянникъ несъ гробъ дяди отъ самого дома покойника на Басманной.

Есть у Василія Львовича одно стихотвореніе, подъ названіемъ: „Люблю и не люблю“ (1815), въ которомъ онъ довольно полно очертилъ самого себя. Онъ сказалъ въ немъ:

Люблю я многое, конечно;
Люблю съ друзьями я шутить,
Люблю любить я ихъ сердечно,
Люблю шампанское я пить;
Люблю читать мои посланья,
Люблю я слушать и другихъ;
Люблю веселыя собранья,
Люблю красивицъ молодыхъ.
Надъ близкими не люблю смеяться.

Невѣждъ я не люблю хвалить,
Славянофиламъ удивляться,
Къ вельможамъ на поклонъ ходить.
Я не люблю людей коварныхъ,
И гордыхъ не люблю глупцовъ,
Похвальныхъ словъ высокопарныхъ
И плоскихъ, скаредныхъ стиховъ.
Люблю по модѣ одѣваться
И въ обществахъ пріятнымъ быть.

Люблю любезнымъ я казаться,
Расина наизусть твердить;
Люблю Державина творенья,
Люблю я „Моднуюжену“,
Люблю для сердца утѣшенья
Хвалу я пѣть Карамзину.
Въ собраньяхъ не люблю нахаловъ,
Подагрой не люблю страдать;
Я глупыхъ не люблю журналовъ;
Я въ карты не люблю играть,
И нашихъ Квинтильяновъ мнимыхъ

Сужденій не люблю я злыхъ!
Сердецъ я не люблю строптивыхъ,
Актеровъ не люблю дурныхъ.
Я въ хижинѣ моей смиренной,
Гдѣ столько горя и заботъ,
Подчасъ амуромъ вдохновенный,
Люблю пѣть грацій хороводъ;
Люблю предъ милыми друзьями
Свою я душу изливать
И юность рѣзвую съ слезами
Люблю въ стихахъ воспоминать.

Но представленная въ этомъ стихотвореніи характеристика Василія Львовича должна быть пополнена его посланіями.

Значеніе посланія, какъ свободной литературной формы.—Посланія В. Пушкина.—Отразившаяся въ нихъ личность автора: его любовь къ поэзіи и просвѣщенію и его литературные вкусы.—Его отношеніе къ Шишкову.—Характеръ его патріотизма и его религіозныхъ возврѣній.—Отношенія дяди къ племяннику.—Стихотвореніе: „Вечерь“.

Еще Галаховъ замѣтилъ, что съ легкой руки Карамзина у нась начала распространяться форма стихотворного письма, или посланія, и даль объясненіе этому явлению. „Шишковъ“—говорить онъ—, назвать посланія «моднымъ» родомъ стихотворства. Дѣйствительно и во Франціи и позднѣе у нась они стали замѣнять оду, наскучившую читателямъ... «Разсужденіе объ одѣ» Даламбера (переведено въ майской кн. С.-Петербургскаго Меркурія, 1793 г.) показываетъ причины, почему посланіе болѣе отвѣтствовало духу времени и цѣлямъ поэтовъ. Главнѣйшая изъ нихъ — господство философіи, которая волею и неволею всюду вторгается: посланіе удобнѣе выражаетъ философическія мысли, допуская болѣе свободный планъ и болѣе свободные переходы изъ однихъ тоновъ въ другіе; притомъ оно скромнѣе по своей внѣшней отдѣлкѣ, не имѣя притязаній на столь пышное убранство, какое привыкли видѣть въ одѣ, и какое противорѣчило вкусу публики, устремленной философами XVIII в. къ простотѣ и естественности; наконецъ оно доступнѣе дарованіямъ всякаго размѣра, тогда какъ ода требуетъ сильнаго поэтическаго таланта. Вотъ почему стихотворное письмо сдѣлалось модною формою для нашихъ писателей, начиная съ Карамзина: они передавали въ немъ свои нравственныя и преимущественно литературныя понятія, свой взглядъ на интересы общества, свои личныя впечатлѣнія и мысли” ⁷⁶⁾.

— 70 —
Посланія съ такимъ содержаніемъ пріобрѣтаютъ извѣстную историко-литературную цѣнность и часто служать хорошей характеристикой и писателя и его эпохи. Что же касается до В. Пушкина, то среди его произведеній самая цѣнная именно— посланія: въ нихъ-то и заключается главная характеристика этого писателя, какъ образованнаго человѣка своего времени.

Мы остановимся на посланіяхъ Василія Львовича, адресованныхъ къ Дмитріеву, Жуковскому, Дашкову, къ обоимъ племянникамъ — Льву и Александру Сергѣевичамъ, къ арзамасцамъ, а также и на нѣкоторыхъ другихъ. Изъ этихъ посланій мы прежде всего выносимъ представление объ ихъ авторѣ, какъ о страстномъ любителѣ поэзіи и просвѣщенія. Такъ, сообщивъ въ посланіи къ Льву Сергѣевичу, что поэзія и чтеніе—его отрада, Василій Львовичъ продолжаетъ:

Благодарю судьбу: я съ самыхъ юныхъ лѣтъ
Любилъ изящное, и часто отъ суетъ,
Отъ шума свѣтскаго я въ тишинѣ скрывался,
Учился и читаль, и сердцемъ наслаждался;
Любилъ писать стихи...

Въ стихотвореніи: „Къ любимцамъ музъ“ (1804), представляющемъ очень свободное подражаніе одамъ Горация: „Къ Меценату“ и „Къ Цесарю Августу“, есть такія мысли: „Любимецъ музъ счастливъ во всѣ премѣны года“; „Кто съ музами живетъ, утѣхи вѣчно съ нимъ!“ Въ посланіи къ Жуковскому (1810), гдѣ между прочимъ авторъ сказалъ: „Въ душѣ своей ношу къ изящному любовь“, онъ сознаетъ, что современному ему русскому обществу нужно просвѣщеніе, и повторяетъ эту мысль въ посланіи къ арзамасцамъ (1816), въ стихѣ: „Прямая наша цѣль есть польза, просвѣщеніе“, а въ посланіи къ Дашкову (1811) заявляетъ: „Грѣхъ во тьмѣ ходить“. Въ томъ же посланіи къ Жуковскому встрѣчаемъ стихъ:

Что просвѣщаетъ умъ? питаетъ душу?—Чтенье.

О своихъ литературныхъ вкусахъ Василій Львовичъ заявилъ еще въ 1796 г. въ посланіи къ Дмитріеву. Поклонникъ Карамзина и человѣкъ чувствительный, онъ однако не любилъ крайностей сентиментализма и осмѣивалъ плохихъ подражателей русскаго Стерна, какъ называлъ онъ Карамзина. Произведенія этихъ подражателей В. Пушкинъ такъ характеризуетъ:

Всѣ наши стиходѣи
Слезливой лирою прославиться хотятъ;
Все голубки у нихъ къ красавицамъ летятъ,

Все вьются ласточки, и все однѣ затѣи;
Всѣ хнычутъ и ревутъ, и мысль у всѣхъ одна:
То вдругъ представится луна
Во блѣднопалевой порfirѣ;
То онъ одинъ остался въ мірѣ;
Нѣтъ милой, нѣтъ драгой: она погребена
Подъ камнемъ сѣрымъ, мишистымъ;
То вдругъ подъ дубомъ тамъ вѣтвистымъ
Сова уныло закричитъ;
Завоетъ сильно вѣтъръ, любовникъ побѣжитъ,
И слезка на струнахъ родится.
Тутъ восклицаній тьма и точекъ появится.

Это сатирическое изображеніе неудачныхъ сентименталистовъ, о которыхъ авторъ говорить:

О плацсы бѣдны! Жалка мнѣ участъ ихъ!
Они совсѣмъ того же знаютъ,
Что гдѣ паряты орлы, тамъ жуки не летаютъ,—

смѣло можно поставить въ параллель съ такимъ же изображеніемъ плохихъ одописцевъ у Дмитріева.

Зато Карамзина авторъ называетъ „милымъ“, „нѣжнымъ“ и признаетъ въ немъ автора со вкусомъ:

... милый, нѣжный Карамзинъ
Въ храмъ вкуса проложилъ дорогу.

Имя Карамзина, а также и Дмитріева Василій Львовичъ упоминаетъ нѣсколько разъ въ своихъ посланіяхъ—и всегда отзыается о нихъ, какъ о писателяхъ образцовыхъ. Напримѣръ: „Дмитревъ, Карамзинъ прекрасными стихами плѣняютъ, учать насы“—сказано въ стих. „Къ любимцамъ музъ“; въ посланіи къ Жуковскому читаемъ:

Во вкусѣ часъ насталъ великихъ перемѣнъ:
Явились Карамзинъ и Дмитревъ—Лафонтенъ!
Вотъ чѣмъ всѣ русскіе должны гордиться нынѣ!

Какъ поклонникъ Карамзина и сторонникъ его реформы, В. Пушкинъ не могъ, конечно, сочувствовать литературному консерватизму Шишкова, тѣмъ болѣе, что Шишковъ не только высказывалъ свои мысли, но и рѣзко нападалъ на сторонниковъ Карамзина, въ томъ числѣ и на В. Пушкина. Послѣдній осмѣялъ наконецъ Шишкова въ своемъ посланіи къ Жуковскому, которое напечаталъ въ 12-мъ номерѣ „Цвѣтника“ за 1810 г. Шишковъ тутъ выведенъ подъ именемъ Балдуса.

Я вижу весь соборъ безграмотныхъ славянъ,
Которыми здѣсь вкусы къ изящному попранъ,
Противъ меня рыкающій ужасно.
Къ дружинѣ воспѣть нашъ Балдусъ велегласно:
„О братіе мои, зову на помошь васъ.
Ударимъ на него, и первый буду азъ!
Кто намъ грамматикѣ совѣтуетъ учиться,
Во тьму кромѣшную, въ геенну погрузится;
И аще смытъ кто Карамзина хвалить,
Нашъ долгъ, о людіе, злодѣя истребить!“

Главной причиной непріязни къ Шишкову было, разумѣется, то обстоятельство, что его теоріей „попирался вкусы къ изящному“. Въ концѣ своего посланія Пушкинъ и говоритъ:

Въ славянскомъ языкѣ и самъ я пользу вижу,
Но вкусы я варварскій гоню и ненавижу.
Въ душѣ своей ишу къ изящному любовь;
Творенье безъ идей мою волнуетъ кровь.
Словъ много затвердить не есть еще ученье:
Намъ нужны не слова: намъ нужно просвѣщеніе.

Въ томъ же „Цвѣтникѣ“ и въ то же время (г. 1810, №№ 11 и 12) напечатана была и статья Дашкова, опровергавшая мысль Александра Семеновича о тожествѣ языковъ русскаго и славянскаго. Защитникъ стариннаго слога разсердился — и прочелъ 3-го декабря 1810 г. въ Россійской Академіи свое „Разсужденіе о краснорѣчіи Священнаго Писанія“ (напечатано въ 1811 г.). Оно было отвѣтомъ и Дашкову и Пушкину, но послѣднему досталось больше: Василія Львовича Шишковъ выставлялъ человѣкомъ сомнительной нравственности и обвинялъ въ безбожіи. Послѣ этого Пушкинъ выпустилъ брошюру (1811), въ которой помѣстилъ прежнее посланіе свое къ Жуковскому и къ нему прибавилъ новое — къ Дашкову. Брошюрка, озаглавленная: „Два посланія“, начиналась „Предувѣдомленіемъ“, гдѣ авторъ объяснялъ причину ея изданія, а именно:

„Первое изъ сихъ посланій“ — пишетъ Василій Львовичъ — „было причиною происшествія весьма страннаго въ нашей словесности. Всѣмъ извѣстна польза, проистекающая изъ сего рода дидактическихъ сочиненій: древніе и новые писатели употребляли оныя для исправленія пороковъ или, переходя отъ общаго къ частному, для направленія на прямой путь въ словесности молодыхъ, неопытныхъ авторовъ. Важная и благородная цѣль сочиненій сихъ всегда была достойно уважаема: кто бы подумалъ, что въ наше просвѣщенное время будуть презирать ихъ, подражанія онымъ

называть *модными посланиями* и, что всего хуже, отвѣтить на нихъ непозволительными личностями? Въ одномъ *Присовокуплениіи*, читанномъ, какъ увѣряютъ, въ Академіи (въ чёмъ однakoжъ я весьма сомнѣваюсь), г. сочинитель говоритъ слѣдующее:

«Си суды и стихотворцы въ посланіяхъ своихъ взываютъ къ Виргиліямъ, Гомерамъ, Софокламъ, Евріпидамъ, Горациямъ, Ювеналамъ, Саллустіямъ, Фукидидамъ, затвердя только одни имена ихъ, и, что всего удивительнѣе, научась благочестію въ Кандидѣ, и благонравію и знаніемъ въ парижскихъ переулкахъ, съ поврежденнымъ сердцемъ и помраченнымъ умомъ волють противъ невѣжества и, обращаясь къ тѣнямъ великихъ людей, толкуютъ о наукахъ и просвѣщенії!».

Risum teneatis, amici? И я, вмѣсто того, чтобы сердиться на такую нескладицу, хотѣль бы лучше самъ посмѣяться ей отъ доброго сердца; но обвиненія, относящіяся до нравственности и вѣры, слишкомъ важны. Я долженъ быть опровергнутъ онъя—и, кажется, исполнилъ сіе во второмъ посланіи къ Д. В. Дашкову».

Въ этомъ посланіи Василій Львовичъ съ достоинствомъ оправдывается отъ обвиненій Шишкова и въ свою очередь обвиняетъ его и вообще его единомышленниковъ — въ невѣжествѣ, ханжествѣ и стремлѣніи тормозить просвѣщеніе. Вотъ это посланіе:

Что слышу я, Дашковъ? Какое ослѣпленіе!
Какое лютое безумцевъ ополченіе!
Кто тщится жизнь свою наукамъ посвящать,
Раскольниковъ-славянъ дерзаетъ уличать,
Кто пишетъ правильно и не варяжскимъ слогомъ—
Не любить русскихъ тотъ, и виновать предъ Богомъ!
Повѣрь: слова невѣждъ пустой кимвала звукъ;
Они безумствуютъ—сіяется свѣтъ наукъ!
Неужель отъ того моя постраждеть вѣра,
Что я подчасъ прочту двѣ сцены изъ Вольтера?
Я христіаниномъ, конечно, быть могу,
Хотя французскихъ книгъ въ қаминѣ и не жгу.
Въ предубѣжденіяхъ нѣть святости ни мало:
Они мертвятъ нашъ умъ, и варварства начало.
Ученымъ быть не грѣхъ, но грѣхъ во тьмѣ ходить.
Невѣжда можетъ ли отечество любить?
Не тотъ къ странѣ родной усердіе питаетъ,
Кто хвалить все свое, чужое презираетъ;
Кто слезы льетъ о томъ, что мы не въ бородахъ,
И, бѣдный мыслями, печется о словахъ!
Но тотъ, кто, слѣдя похвальному внушенью,
Чтить дарованія, стремится къ просвѣщенію;
Кто, согражданъ любя, желаетъ славы ихъ;

Кто чуждъ и зависти и предразсудковъ злыхъ!
Квириты храбрые полсвѣтомъ обладали;
Но общежитію ихъ греки обучали.
Науки перешли въ Римъ гордый изъ Аeinъ,
И славный Цицеронъ, ораторъ-гражданинъ,
Сражая Верреса, вступаясь за Мурену,
Былъ велерѣчіемъ обязанъ Демосеену.
Виргилія училь поэзіи Гомеръ;
Грядущимъ временамъ вѣкъ Августовъ примѣръ!

Такъ! Сынъ отечества науками гордится,
Во мракѣ утопать невѣжества стыдится,
Не проповѣдуется расколовъ никакихъ,
И въ старинѣ для нась не видить дней благихъ.
Хвалу я воздаю счастливѣйшей судьбинѣ,
О мой любезный другъ, что я родился нынѣ!
Свободно я могу и мыслить и дышать,
И даже *абіе* и *аице* не писать.
Виргилій и Гомеръ бесѣдуютъ со мною;
Я съ возвышенюю иду вездѣ главою;
Мой разумъ просвѣщенъ, и Сены на брегахъ
Я пѣлъ любезное отечество въ стихахъ.
Не улицы однѣ, не площади и домы:
Сен-Пьеръ, Делиль, Фонтанъ мѣ были тамъ знакомы:
Они свидѣтели, что я въ землѣ чужой
Гордился русскимъ быть, и русскій былъ прямой.
Не грубымъ осякому, достойнымъ сожалѣнья:
Предсталъ предъ ними я любителемъ ученья;
Они то видѣли, что съ юныхъ дней моихъ
Познаній я искалъ не въ именахъ однихъ;
Что съ восхищеніемъ читалъ я Фукидіа,
Тацита, Плінія—и, признаюсь, Кандіда.

Но благочестію ученость не вредить.
За Бога, вѣру, честь мнѣ сердце говоритъ.
Родителей моихъ я помню наставленья;
Сынъ церкви долженъ быть и другомъ просвѣщенъ!
Спасительный законъ ниспосланъ намъ съ небесъ,
Чтобъ быть подпорою средь счастія и слезъ.
Онъ благо и любовь. Прочь клевета и злоба!
Безбожникъ и ханжа равно порочны оба.
Въ сужденьяхъ таковыхъ не вижу я вины:
За что жъ мы на костеръ съ тобой осуждены?
За то, что мы, любя словесность и науки,
Не вѣкъ надѣя букваремъ твердили *аэз* и *буки*;
За то, что смиѳемъ мы ученіе хвалить,
И въ слогѣ варварскомъ ошибки находить;
За то, что мы Лагарпа понимаемъ,
Въ расколѣ не живемъ, но по-славянски знаемъ.

Что дѣлать? Вотъ нашъ грѣхъ. Я каяться готовъ.
Я, напримѣръ, твержу, что скученъ Старословъ ">,

Что длинныя его, сухія поученья—
Морфея даръ благой для смертныхъ усыпленья,
И если вздоръ читать пришла моя чреда,
Неужели заснуть надъ книгою бѣда?
Я каюсь, что въ *ричахъ* иныхъ не вижу плана,
Что томовъ не пишу на древняго Бояна ⁷⁸);
Что музъ и Феба я съ Парнасса не гоню,
Писателей дурныхъ, а не людей браню.
Нашествіе татарь не чтимъ мы вѣкомъ славы;
Мы правду говоримъ—и слѣдствіено неправы.

Нѣсколько позднѣе, въ посланіи къ арзамасцамъ (1816),
Василій Львовичъ такъ грозилъ „славянамъ“:

Ихъ оды жалкія, забавныя ихъ драмы,
Похвальныя слова, поэмы, эпиграммы,
Конечно, не уйдутъ отъ критики моей:
Невѣждъ учить люблю и уважать друзей.

По понятію Шишкова, Василій Львовичъ былъ совершеннѣйшій французъ и отнюдь не былъ патріотомъ ⁷⁹). Шишковъ ошибался: В. Пушкину далеко не было чуждо чувство патріотизма, но оно было иного характера, нежели у Шишкова. Истинный русскій патріотъ, по словамъ его, не тотъ, кто хвалить все свое, а чужое презираеть, фанатически жжетъ французскія книги и льетъ слезы о томъ, что отечество наше — не до-Петровская Русь; а тотъ, кто желаетъ своимъ согражданамъ славы на пути просвѣщенія, на пути соревнованія съ Европой, не теряя однако при этомъ чувства народной гордости, чувства народнаго самосознанія.

Ошибался Шишковъ и въ своемъ обвиненіи въ безбожії: въ посланіи къ Дашкову (1811) авторомъ высказаны самыя глубокія религіозныя воззрѣнія—воззрѣнія истинно просвѣщенаго христіанина. Строки:

Смиряться должно предъ судьбой!
Отецъ и Судія вселенной управляетъ:
Онъ наказуетъ и прощаетъ—

находящіяся въ баснѣ: „Гнѣвъ Зевеса“ (1817), написанной по поводу возстановленія Москвы послѣ пожара, которая „изъ пепла своего возстало краше“, показываютъ взглядъ Василія Львовича на Провидѣніе, какъ на высочайшую благость и справедливость.

Тутъ кстати замѣтить, что добродушный Василій Львовичъ вообще былъ склоненъ къ оптимистическому міросозерцанію, и вѣрилъ въ конечное торжество добра. Такъ напр. необыкновенно

добродушнымъ оптимистомъ является онъ во второмъ своемъ посланіи къ Дашкову (1814), когда говоритъ:

Живу и утѣшаюсь!
Къ надеждѣ прилѣпляюсь,
Погоды лучшей жду.
Бѣда не все бѣду

Родить: и послѣ горя
Летить веселье къ намъ...
Мой милый другъ, конечно,
Несчастіе не вѣчно...

Не должно унывать.

Какъ любитель изящнаго, Василій Львовичъ не могъ не цѣнить твореній своего славнаго племянника, что и подтверждается его посланіемъ „Къ А. С. Пушкину“ 1829 г. Въ немъ дядя писать:

Поэтъ-племянникъ, справедливо
Я названъ классикомъ тобой!
Все, что умно, краснорѣчиво,
Все, что написано съ душой,
Миѣ нравится, меня плѣняетъ.
Твои стихи, повѣрь, читаешь
Съ живымъ восторгомъ дядя твой.
Латоны сына ты любимецъ,
Тебя онъ вкусомъ одарилъ;

Очарователь и счастливецъ,
Сердца ты наши полонилъ
Своимъ талантомъ превосходнымъ.
Всѣ мысли выражать способнымъ.
Русланъ, Кавказскій плѣнникъ твой,
Фонтанъ, Цыгане и Евгений
Прекрасныхъ полны вдохновеній!
Они всегда передо мной,
И не для критики пустой

Я ихъ держу: для наслажденія.

Таковы же отношенія дяди къ племяннику были и во всѣ предыдущіе годы. Сайтовъ въ своемъ біографическомъ очеркѣ В. Пушкина говоритъ: „Изъ всѣхъ своихъ родственниковъ мужскаго поколѣнія Василій Львовичъ особенно любилъ брата, Сергѣя Львовича, съ которымъ его соединяла, помимо кровныхъ узъ, и тѣсная дружба, основанная на сходствѣ характеровъ. Любовь къ брату перешла и на знаменитаго племянника, который росъ на глазахъ Василія Львовича и на его же глазахъ выступилъ на литературное поприще. Первые опыты Александра Сергѣевича были приняты дядею съ истиннымъ восхищеніемъ. Возлагая большія надежды на геніального юношу, Василій Львовичъ внимательно слѣдилъ за развитіемъ его могучаго дарованія, и каждое новое произведеніе Александра Сергѣевича возбуждало неподѣльный восторгъ въ дядѣ, который и выражалъ его въ своихъ посланіяхъ къ племяннику“ ⁸⁰⁾. Что же касается до эпиграммы Василія Львовича:

Какой-то стихотворъ (довольно ихъ у насъ)
Послалъ двѣ оды на Парнасъ.
Онъ въ нихъ описывалъ красу природы, неба,
Цвѣты розо-желтый облацовъ,
Шумъ листьевъ, вой звѣрей, ночное пѣнье совъ,
И милости просилъ у Феба.

Читая, Фебъ зѣвалъ—и наконецъ спросилъ:
Какихъ лѣтъ стихотворецъ былъ,
И оды громкія давно ли сочиняетъ?
— „Ему пятнадцать лѣтъ“, Эраты отвѣчаетъ.
„Пятнадцать только лѣтъ?“—„Не болѣе того!“
„Такъ розгами его!“

то эпиграмма эта совершенно ошибочно принималась за выходку дяди противъ племянника ⁸¹⁾: теперь уже извѣстно, что она была напечатана еще въ 1798 г. въ Аонидахъ, т.-е. когда Александра Сергеевича еще и на свѣтѣ не было. Къ тому же она и не оригинальная, а подражаніе французской. Эпиграмма же Александра Сергеевича, начинаящаяся стихомъ:

Мальчишка Фебу гимнъ поднесъ

и долгое время считавшаяся отвѣтной колкостью по адресу дяди ⁸²⁾, есть не что иное, какъ передѣлка вышеприведенной эпиграммы Василия Львовича, и авторъ, какъ тоже теперь извѣстно, имѣлъ тутъ въ виду вовсе не дядю, а Надеждина.

Говоря о стихотвореніяхъ В. Пушкина, нельзя не остановиться еще на одномъ изъ нихъ: на стихотвореніи: „Вечеръ“ (1798), въ которомъ авторъ задумалъ набросать картинку нравовъ современного ему московскаго общества, т.-е. задумалъ то, что такъ талантливо было выполнено впослѣдствіи Грибоѣдовымъ. Конечно, стихотвореніе: „Вечеръ“ и знаменитая комедія Грибоѣдова—вещи, которыя въ художественномъ отношеніи и въ отношеніи полноты изображенія нечего и сравнивать; тѣмъ не менѣе нельзя и не указать, что нѣкоторыя мѣста у Пушкина содержаніемъ своимъ напоминаютъ „Горе отъ ума“. Авторъ описываетъ проведенный имъ вечеръ въ одномъ московскомъ домѣ. Тутъ, кромѣ хозяина, толкующаго лишь объ одной музыкѣ, и хозяйки, занятой только тѣмъ, чтобы пристроить свою дочь за графа, который „знатенъ и хорошъ, и съ лучшими знакомъ“, были еще гости—„содомъ вралей“: тамъ были и Стукодѣй, несносный говорунъ и сплетникъ, и всѣхъ бранящая Змѣяда, и сплетница Белиза, и наконецъ—Вралевъ. Въ разсказѣ объ этомъ Вралевѣ и собраны такія черты московскаго общества, изъ которыхъ многія напоминаютъ Фамусова.

Несчастнаго меня съ Вралевымъ посадили—
И милымъ, подлинно, сосѣдомъ наградили!
Не медля началъ онъ вопросы мнѣ творить:
Кто я таковъ? Что я? Гдѣ я изволю жить?

Потомъ, о молодыхъ и старыхъ разсуждая:
„Нѣть, нынче жизнь плоха“, твердилъ онъ воздыхая:
„Все стало мудрено, нѣть добра го ни въ чемъ;
Вотъ я-таки скажу и о сынкѣ моемъ:
Ужъ малый въ двадцать лѣтъ, а книги лишь читаетъ,
Не ищетъ ни чиновъ, ни счастья не желаетъ;
Я дочь Рубинова посваталъ за него;
Любезный мой сынокъ не хочетъ и того.
На деньгахъ, батюшка, никакъ де не женюся,
А я жену возьму, когда въ нее влюблюся.
Какъ быть, не знаю, съ нимъ,—и чувствую я то,
Что будетъ онъ бѣднякъ, а болѣе ничто.
Вотъ что произвели проклятые науки!
Не нужно золото—давай Жанъ-Жака въ руки!
Да полно, старые не лучше молодыхъ;
Не много разницы найдешь ты нынѣ въ нихъ.
Нерѣдко и старики, что дѣлаетъ, не знаетъ;
Онъ хулитъ молодыхъ—и имъ же потакаетъ.
Князь Миловъ въ пятьдесятъ и слишкомъ уже лѣтъ
Спроказилъ такъ теперь, что весь дивится свѣтъ.
Онъ, будучи богатъ и дочь одну имѣя,
Воспитывать ее, какъ должно, не жалѣя,
Рѣшился на конецъ бѣдняжку погубить:
Майора одного изволъ на ней женить!
И что жъ онъ говоритъ себѣ во оправданье?
Ты со смѣху умрешь. Вотъ все его желанье:
Мой зять любезенъ мнѣ, и скроменъ, и уменъ;
Онъ свѣта пустотой никакъ не ослѣпленъ;
Совѣтовъ де моихъ онъ вѣчно не забудетъ;
Въ глубокой старости меня покоить будетъ.
Не знатенъ, бѣдень онъ—я для него богатъ;
А честность знатности дороже мнѣ стократъ!
— Вотъ, другъ сердечный мой, какъ нынче разсуждаютъ!
И умниками ихъ иные называютъ!”

Въ стихотвореніи дано въ извѣстной мѣрѣ мѣсто и роли Чап-
каго, какъ лица, осуждающаго недостатки общества: ее взялъ на
себя самъ авторъ. Вотъ его ироническій отвѣтъ на реплику
Вралева:

Сосѣдъ мой тутъ умолкъ; въ отраду я ему
Сказалъ, что рѣдкіе послѣдуютъ тому;
Что Миловыхъ князей у насъ, конечно, мало;
Что золото копить желанье не пропало;
Что любимъ мы чины и ленты получать,
Не любимъ только ихъ заслугой доставать;
Что также здѣсь не всѣ охотники до чтенія;
Что рѣдкіе у насъ желаютъ просвѣщенія;
Не всякой знаніемъ честь должна воздаетъ,

И часто враль, глупецъ разумникъ слыветъ;
Достоинствъ лаврами у насть не украшаютъ;
Здѣсь любять плясуновъ—ученыхъ презираютъ.

Авторъ, подобно Чацкому, не только осуждаетъ общественные недостатки, но и томится, страдаетъ при видѣ ихъ. Въ одномъ мѣстѣ комедіи Чацкій говоритъ:

Да, мочи нѣтъ!.. миллионъ терзаній!
Груди—отъ дружескихъ тисковъ,
Ногамъ—отъ шарканья, ушамъ—отъ восклицаній,
А пуще—головѣ отъ всякихъ пустяковъ ⁸⁸⁾).

Подобную же жалобу высказываетъ и Пушкинъ въ самомъ началѣ своего стихотворенія:

Нѣть болѣ силъ терпѣть! Куда ни сунься: споры,
И сплетни, и обманъ, и глупость, и раздоры!

Параллель можно провести и дальше. Чацкій въ концѣ комедіи бѣжитъ изъ Москвы, чтобы „искать по свѣту, гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ“. В. Пушкинъ заканчиваетъ свое стихотвореніе выраженіемъ подобнаго же желанія уйти отъ описанного имъ общества.

О хижина моя! пріятнѣй ты сто разъ
Всѣхъ модныхъ ужиновъ, концертовъ всѣхъ и баловъ,
Гдѣ часто видимъ мы безумцевъ и нахаловъ!
Въ тебѣ насыщекъ злыхъ, въ тебѣ злословья нѣтъ:
Въ тебѣ спокойствіе и тишина живеть;
Въ тебѣ и разумъ мой и духъ всегда свободенъ.
Утѣхи мнѣ дарить свѣтъ модный не способенъ,
И для того теперь навѣкъ прощаюсь съ нимъ:
Фортуны не найду я съ сердцемъ въ немъ моимъ!

Оцѣнка произведеній В. Пушкина прежними критиками и статья профессора Халанскаго. — Вопросъ о вліяніи дяди на поэтическое творчество племянника.

Еще Жуковскій въ своемъ посланіи къ Василію Львовичу (1814) писалъ:

Послушай, Пушкинъ другъ, твой слогъ отмѣнно чистъ;
Грамматика тебя угодникомъ считаетъ,
И никогда твой вкусъ не ковыляеть.
Но кажется, что ты подчасъ многорѣчистъ;
Что стихотворный жаръ твой могъ бы быть живѣе,
А выраженія короче и сильнѣе.

Съ этимъ отзывомъ согласны всѣ. Дѣйствительно В. Пушкинъ, старавшійся подражать слогу Дмитріева, какъ онъ самъ засвидѣтельствовалъ о томъ въ посланіи къ Жуковскому (1810 г.), очень заботился о вѣнчнѣй отдѣлкѣ своихъ произведеній—и въ этомъ отношеніи достигалъ значительной степени изящества. Профессоръ Халанскій говорить: „Василій Львовичъ возводилъ въ законъ литературной дѣятельности требование простоты, естественности рѣчи, изящество ея, обогащеніе литературнаго языка, принципъ свободы творчества, основаннаго на нравственномъ благородствѣ мыслей писателя“ ⁸⁴). И тутъ же авторъ этой цитаты приводитъ слѣдующіе стихи В. Пушкина:

Прямая наша цѣль есть польза, просвѣщенье,
Богатство языка и вкуса очищенье.
Кто мыслитьѣ правильно, кто мыслитьѣ благородно,
Тотъ изъясняется пріятно и свободно ⁸⁵).

Согласны всѣ также и въ томъ, что Василій Львовичъ не обладалъ сильнымъ творческимъ талантомъ, и можно не спорить съ Авенарапусомъ, когда онъ говоритъ, что „по поэтическому вдохновенію ни одна пьеса В. Пушкина не выходитъ за уровень посредственности“ ⁸⁶). Но зато нельзѧ согласиться съ тѣмъ же критикомъ, когда онъ не хочетъ признать также и внутреннихъ достоинствъ поэзіи В. Пушкина, достоинствъ самого содержанія его произведеній. Впрочемъ иные критики идутъ въ этомъ отношеніи еще далѣе: Сайтовъ, напримѣръ, говоритъ, что „со стороны *идеи* произведенія Пушкина отличаются *безсодержательностью*“ ⁸⁷). Пыпинъ, вовсе не упоминая о Василіи Львовичѣ въ своей „Исторіи русской литературы“, вѣроятно, раздѣляетъ взглядъ Сайтова. Между тѣмъ принять этотъ взглядъ мѣшаютъ факты. Мы уже видѣли, что басни Василія Львовича и его посланія отнюдь нельзѧ назвать безсодержательными. Въ первыхъ онъ является весьма симпатичнымъ проповѣдникомъ гуманности. А на подобную проповѣдь недавно высказанъ у насть очень глубокій взглядъ: ее признаютъ одной изъ характерныхъ чертъ нашей литературы XIX вѣка. Профессоръ Халанскій пишетъ: „призывъ къ сердцу, къ состраданію, эта проповѣдь милости къ падшимъ, является выдающейся, руководящей идеей всей русской литературы XIX в. отъ «Бѣдной Лизы» Карамзина до Катерины Масловой романа «Воскресенье» гр. Толстого“ ⁸⁸).

Въ посланіяхъ своихъ—да и во многихъ другихъ стихотвореніяхъ—Василій Львовичъ является горячимъ защитникомъ про-

свѣщенія—и эти произведенія его именно богаты содержаніемъ. Впрочемъ въ этомъ лучше всего убѣждаетъ статья Халанского, посвященная вопросу о вліяніи дяди на поэтическое творчество племянника. Авторъ этой статьи даетъ цѣлый рядъ чрезвычайно любопытныхъ параллелей, изъ которыхъ ясно видно, что многія воззрѣнія Александра Сергеевича усвоены имъ отъ дяди, многія чувства его были отголоскомъ чувствъ Василия Львовича. Мы, конечно, не будемъ приводить всего того, что указываетъ Халанский, но для образца остановимся на нѣсколькихъ параллеляхъ.

Въ баснѣ В. Пушкина: „Великодушный царь“ есть между прочимъ слѣдующіе стихи:

Къ добру меня влечеть любимецъ вѣрный мой;
Въ жестокой правдѣ нѣть отрады никакой,
И благотворна ложь я ей предпочитаю.

Въ баснѣ же: „Старый левъ и звѣри“ высказана такая мораль:

Читатель согласится самъ,
Что въ старости не умъ, а сердце нужно намъ.

Халанскій говоритъ: „Тѣми же мыслями, тѣмъ же воззваниемъ къ милосердію проникнуты произведенія Ал. Сергеевича: «Анджело» (1834) и «Герой» (1830). Въ послѣднемъ повторяются почти буквально изреченія Вас. Львовича:

Да будетъ проклять правды свѣтъ, Когда посредственности хладной, Завистливой, къ соблазну жадной, Онъ угождаетъ праздно! Нѣть,	Тѣмы низкихъ истинъ мнѣ дороже Насъ возвышающей обманъ. Оставь герою сердце! Что же Онъ будетъ безъ него? тиранъ!
---	--

„Какъ Василия Львовича, такъ и Ал. Сергеевича“—пишетъ Халанскій—„отличало жизнелюбіе въ поэзіи. Въ «Стихахъ на за-данныя риены» (1804), представляющихъ «разсужденіе о жизни, смерти и любви», въ которое включена незамѣченная современниками и даже друзьями передѣлка словъ Клавдіо sc. I, Act. III драмы Шекспира: Measure for measure, Вас. Лѣв. говоритъ:

... Смерть, грозный великанъ,
Уносить все съ собой. И дубъ и маяканъ,
И червь и человѣкъ въ рукахъ ея—воланъ.
Поймасть вмигъ она и спрячетъ въ свой карманъ,
Откуда не уйдешь ни въ Лондонъ ни въ Миланъ
...
... Могила—не диванъ.
Когда подумаю, что лѣзть мнѣ въ чемоданъ,
Что тамъ исчезнетъ все: и голова и станъ,
Поморщусь и вздрогну...

Но пусть я буду живъ! Пусть жизни караванъ
Въ дорогѣ будеть вѣкъ. Французъ и молдаванъ.
Твердятъ, что смерти путь и труденъ и несчанъ,
А въ жизни мило все: крапива и тюльпанъ.
Живу, люблю, горю...

„Если исключить изъ этихъ стиховъ модную для свѣтского общества того времени, какъ несоответствующую серьезности ихъ содержанія, нѣсколько шутовскую форму, какою являются здѣсь *заданныя риѳмы* (*bouts-rimés*), то въ положительной части своей оно окажется предшественникомъ того дифирамба жизни, который высказываетъ у А. Серг. Клавдіо въ пьесѣ: «Анджело», представляющей передѣлку той же «Мѣры за мѣру» Шекспира и вносящей въ шекспировскій образъ Клавдіо черту чисто-пушкинскаго жизнерадостнаго, отчасти пантеистического оптимизма.

Такъ... умереть,
Идти невѣдомо куда, во гробъ тлѣть,
Въ холодной тѣснотѣ... Увы! земля прекрасна,
И жизнь мила. А тутъ войти въ нѣмую мглу,
Стремглазъ низвергнуться въ кипящую смолу... и т. д.

„Невольно по поводу этого и слѣдующихъ отраженій воззрѣній и литературныхъ симпатій Вас. Львовича въ поэзіи его геніального племянника припоминаются слѣдующія слова Веневитинова:

И слово сильное случайно
Изъ груди вырвется твоей;
Уронишь ты его недаромъ:

Оно чужую грудь зажжетъ,
Въ нее какъ искра упадеть,
А въ ней пробудится пожаромъ.

„Несомнѣнно, такими искрами для впечатлительной натуры геніального поэта были возвышенныя воззрѣнія просвѣщенаго и доброго Вас. Львовича на жизнь, природу и людей, западавшія въ нее иногда можетъ быть невольно, безсознательно, въ томъ живомъ взаимодѣйствіи, которое существуетъ между учителемъ и учениками въ школѣ, между старшими и младшими членами въ семье“.

Далѣе слѣдуютъ параллели воззрѣній обоихъ писателей на жизнь, природу и людей, а затѣмъ и параллели ихъ литературныхъ симпатій. Изъ послѣднихъ вотъ одна, для примѣра.

Василій Львовичъ, какъ извѣстно, не любилъ напыщенности въ поэзіи и темноты въ выраженіи. „Тѣ же самыя воззрѣнія на качества литературнаго языка и на задачи литературной дѣятельности“—говорить Халанскій—„развиваетъ уже 16—17-тилѣтній

поэтъ-племянникъ въ своихъ лицейскихъ стихотвореніяхъ, несомнѣнно, подъ вліяніемъ наставлений своего «парнасскаго отца»:

Напыщеннымъ стихами,
Наборомъ громозвучныхъ словъ
Я пѣть пустого не умѣю,

писалъ Ал. Сергеевичъ въ 1815 году:

И въ лиру превращать не смѣю
Мое гусиное перо.

„Въ стихотвореніи: «Желаніе», написанномъ въ 1816 году
Ал. Сергеевичъ пишетъ дядѣ:

Христосъ воскресъ, питомецъ Феба.
Дай Богъ, чтобъ, милостію неба,
Разсудокъ на Руси воскресъ.
Дай Богъ, чтобы во всей вселеной
Воскресли миръ и тишина...

Но:

Да не воскреснутъ отъ забвенья
Всѣ тѣ, которые на свѣтѣ
Что очень стыдно и грѣшно.

Писали слишкомъ мудрено,
То-есть и хладно и темно,

„Въ сказкѣ: «Бова» (1815) Пушкинъ выражаетъ намѣреніе
писать такъ, чтобы его всѣ поняли «отъ мала до велика»“.

Думаемъ, что послѣ статьи Халанскаго едва ли удержится
взглядъ на В. Пушкина, какъ на поэта безъ содержанія. Да и мо-
жетъ ли не имѣть содержанія поэзія писателя, котораго величайшій
нашъ поэтъ называлъ своимъ „парнасскимъ дядей“, своимъ „пар-
насскимъ отцомъ“—и называлъ, какъ теперь доказано, не въ
шутку, не съ ироніей, а съ чувствомъ глубокаго уваженія.

IV. А. Е. Измайлова (1779—1831).

Своеобразное подражаніе Измайлова Карамзину. — Его романъ: „Евгений,
или пагубныя слѣдствія дурного воспитанія и сообщества“. — Его восточ-
ные повѣсти. — Нѣсколько словъ о Бенитцкомъ.

Въ числѣ подражателей Карамзина былъ и Александръ Ефи-
мовичъ Измайлова: его тоже затронулъ образъ страдающей
Лизы—и онъ написалъ повѣсть: „Бѣдная Маша“ (1803). Но такъ
какъ Измайлова, по природѣ своей, не былъ способенъ къ сен-
тиментальности, подражаніе его Карамзину вышло своеобразнымъ:
вместо трогательного разсказа онъ создалъ ужасную мелодраму

и залилъ конецъ своей повѣсти кровью. Содержаніе ея слѣдующее:

Въ [городѣ N жилъ пожилой и отставной оберъ-офицеръ Простаковъ, человѣкъ „посредственаго достатка, посредственаго разума, но весьма доброго сердца“; жилъ онъ со старухою, своей женой, „одинаковыхъ съ нимъ свойствъ“. Съ ними жила и племянница ихъ, сирота Маша. „Смирна, послушлива, прекрасна и любезна, она входила у всѣхъ въ любовь. Ей было семнадцать лѣтъ. Всякая мать говорила своему сыну: «Дай тебѣ Богъ такую невѣсту, какова Маша!» Многіе за неё сватались, но иные не казались ей, другіе ея родственникамъ. Наконецъ сыскался такой женихъ, который зналъ искусство нравиться и молодымъ и старымъ“. Это былъ Миловъ, молодой человѣкъ лѣтъ двадцати пяти, статный, ловкій, бойкій, учтивый и щеголь. Онъ не жилъ въ городѣ N, но пріѣхалъ туда по своимъ дѣламъ. Услышавши о достоинствахъ Маріи и о ея приданомъ, которое, какъ замѣчаетъ авторъ, „было не очень велико, однакоже и не мало“, онъ черезъ сваху знакомится съ семействомъ Простакова, пріобрѣтаетъ общее расположеніе—и женится на полюбившей его дѣвушкѣ.

Нѣсколько мѣсяцевъ Маша живеть съ мужемъ счастливо, потому что увѣрена въ его любви къ ней, и уже готовится быть матерью, какъ вдругъ Миловъ объявляетъ, что ему нужно сѣзидѣть въ тотъ городъ, гдѣ онъ жилъ до свадьбы. Маша хотѣла былоѣхать вмѣстѣ съ нимъ, но Миловъ, „вспомоществуемый Простаковымъ и Простаковою, истощилъ все свое краснорѣчіе для отвращенія своей жены отъ сего намѣренія, увѣряль ее, что онъ скоро возвратится, и что она, будучи беременна, не можетъ перенести беспокойство дороги. Не забылъ сдѣлать и обыкновенаго обѣщанія отъѣзжающихъ: писать часто письма. Наканунѣ ихъ разлуки просилъ онъ у Маріи деньги и жемчугъ, которые взялъ за нею въ приданое“. На другой день онъ уѣхалъ—и пропалъ безъ вѣсти. Маша, у которой уже родился прекрасный мальчикъ, горюетъ, плачетъ и молится Богу, а Простаковъ пишетъ письма къ своимъ знакомымъ въ тотъ городъ, куда уѣхалъ мужъ его племянницы, и получаетъ наконецъ извѣстіе, что въ городѣ этомъ никакого Милова нѣть и никогда не бывало. Простаковъ не зналъ, что и думать о зятѣ; но вотъ „въ одинъ день получаетъ письмо отъ своего знакомца, который пировалъ на свадьбѣ его племянницы и который поѣхалъ недавно въ одинъ городъ за своею нуждою. Грамотка сія была слѣдующаго содержанія:

«Государь мой, Пантелеймон Трифоновичъ обще съ Государыней Саламанидою Тарасьевною, желаю вамъ на многія лѣта здравствовать!»

«Усердно поздравляю васъ съ наступившею Святой Четыредесятницею, желаю вамъ душеспасительно оную проводить; увѣдомляю притомъ, во-первыхъ, что я пріѣхалъ сюда живъ и здоровъ, а во-вторыхъ, что нашелъ здѣсь вашего зятя, сирѣчъ мужа вашей племянницы, господина Милова. Да будетъ вамъ, государю моему, вѣдомо, что онъ находится не у дѣлъ, а женатъ уже три года на другой женѣ, не на русской, а на нѣмкѣ; живеть здѣсь съ нею и есть по постамъ скромное. Совѣтую вамъ, яко старинный другъ, приказать вашей племянницѣ, чтобы она о семъ не печалилась, а подала бы лучше на него просьбу, куда подобаетъ. За симъ остаюсь вашъ вѣрный слуга

Филимонъ Фатюевъ».

«П. П. Здѣсь варятъ изрядное-таки пиво, но только, по глупому обыкновѣнію, кладутъ въ него мало хмеля; вина же цѣльнаго и хорошей водки не скоро найдешьъ.»

Маша была въ отчаяніи, которое Измайловъ описываетъ безъ всякой сентиментальности. Узнавъ о письмѣ Фатюева, „бѣдная Маша сдѣлалась бѣла, какъ хлопчатая бумага, ахнула и чуть не уронила съ рукъ своего сына. Тетка вырвала его у нея. Онъ заплакалъ; Маша услышала и, не говоря ни слова, взяла его къ себѣ на колѣна. Долго хранила она глубокое молчаніе и глядѣла на образа, всплеснувъ руками. Наконецъ заблестѣли слезы на черныхъ ея рѣсницахъ и полились ручьями на маленькаго Милова“. Въ слѣдующую за тѣмъ сцену авторъ вносить даже комическій элементъ. „«Что теперь сдѣлаешь, Машенька?» сказала ей Простаковъ.—Что сдѣлаю, дядюшка?... Поѣду къ нему съ сыномъ.—«Да развѣ ты не слыхала, что онъ живеть съ другой женою, которая еще и не нашей вѣры?»—Слышала, дядюшка, все слышала!—«Тебя разведутъ съ нимъ, коли ты на него попросишь... Что тебѣ у него дѣлать?»—Мнѣ просить на моего мужа? Что мнѣ у него дѣлать?... Я буду у него все дѣлать, стану стараться угождать ему... и злодѣйкѣ моей,—промолвила она, зарыдавши.—Нѣмкѣ-то! басурманкѣ-то! вскричала тетка. Въ своемъ ли ты умѣй, Машенька?—Разумный дядя, почесывая у себя въ головѣ и не зная, чѣмъ отвратить племянницу отъ сего намѣренія, сказалъ ей: «Они уморятъ тебя, Машенька, по постнымъ днямъ съ голоду. Ты, вѣдь, не захочешь мяса, какъ другая, въ среду

и пятницу... Проклятый! у насъ онъ не всякий день пилъ и наливки, а теперь со своею женою изволитъ, чай, кушать по постамъ кофе со сливками».—Сильные доводы Простакова и Простаковой не могли убѣдить Машу: они принуждены были отпустить ее съ сыномъ къ вѣроломному Милову.«

Съ этого мѣста повѣсти начинается кровавый финаль ея.

„Пріѣхавши Маша благополучно въ тотъ городъ, гдѣ жилья мужъ, освѣдомляется о его квартирѣ и, взявши съ собою своего сына, идетъ прямо къ нему въ домъ. Входитъ въ прихожую и слышитъ въ другой комнатѣ голосъ Милова. Сердце у ней затрепетало. Она боится туда войти. Двери были не плотно затворены; Маша подходитъ на цыпочкахъ и смотритъ въ нихъ потихоньку. Что она увидѣла! Измѣнникъ сидѣлъ на стулѣ; соперница ея сидѣла на колѣняхъ, будучи полуодѣта. Обнявъ его одною рукою и положивъ нерадиво голову къ нему на плечо, она цѣловала его нѣжно. Онъ держалъ другую ея руку, прижималъ оную къ губамъ и груди своей, и говорилъ ей: «Какъ я люблю тебя, моя милая Шарлотта!» Маша не могла долго смотрѣть на сю картину. Вдругъ входить она къ нимъ. Ноги у ней подгибаются. Шарлотта, увидя прекрасную молодую женщину, одѣтую просто и трясущуюся отъ страха, говорить ей ласково: «Кого тебѣ надобно, душенька?»—Мужа, сударыня, моего мужа.—«Какого мужа?» спрашиваетъ изумленная Шарлотта. Миловъ, поблѣднѣвши, какъ преступникъ, котораго терзаетъ совѣсть и страхъ приготовляющейся для него казни, бросается къ ногамъ своихъ женъ, признается имъ во всемъ, просить прощенія и заключаетъ тѣмъ, что не можетъ жить безъ нихъ обѣихъ. Маша всхлипываетъ и рыдаетъ; Шарлотта, стараясь, но не могши скрыть своихъ слезъ, бросаетъ ужасный взоръ на измѣнника и выходитъ съ поспѣшностью изъ комнаты; Миловъ хочетъ удержать ее за платье, но въ самое то время заплакалъ сынъ его, котораго еще онъ не видывалъ. Онъ встаетъ, береть его къ себѣ на руки, покрываетъ лицо его горячими слезами и поцѣлуями и вздыхая отдаетъ его обратно Машѣ, у которой взялъ, самъ же идетъ искать Шарлотту. Несчастный едва успѣлъ отворить дверь въ ту горницу, въ которую она вышла, какъ испускаетъ страшный крикъ. Маша бѣжитъ на оный и видитъ свою соперницу, распостертую на полу и всю въ крови. Въ обнаженной груди ея, которую недавно ласкала рука Милова, былъ вонзенъ большой ножикъ; кровавые пузыри высѣкали изъ глубокой раны, и кровь текла ручьемъ по полу съ ея платья прямо къ ногамъ ея мужа..

Отчаянный Миловъ падаетъ безъ чувствъ о край желѣзного сундука; кровь потекла у него изъ темени и смѣшалась съ кровью Шарлотты". Вскорѣ Миловъ приходитъ въ себя. „Безмолвенъ и мраченъ, смотритъ онъ съ минуту на мертвую Шарлотту, потомъ окидываетъ глазами все лежащее на полу, схватываетъ ножъ, запекшійся въ крови жены его, и хочетъ пронзить имъ себѣ сердце... Трепещущая Маша вырываетъ у него ножъ, перерѣзавъ себѣ пальцы".

Миловъ заболѣваетъ горячкой; Маша ухаживаетъ за нимъ, и недѣли черезъ двѣ жаръ и бредъ прошли. Маша идетъ въ церковь помолиться о здравіи мужа и причастить сына. „Возвратившись домой, она велитъ открывать ставни въ комнатѣ, гдѣ лежалъ больной, думая, что онъ скоро проснется; сама же входитъ въ нее, скинувъ башмаки у порога, отдергиваетъ занавѣсы у постели и приподнимаетъ полегоньку одѣяло. Въ ту самую минуту открываютъ одно окно — и дневной свѣтъ, проходя сквозь оное, показываетъ Машѣ утопающій въ крови трупъ Милова. Простыня, подушка, одѣяло, поль — все было обагрено въ оной. Бѣдная падаетъ на тѣло своего мужа, испуская дикій вопль, и остается безъ движенія нѣсколько часовъ".

„Несчастный, въ отсутствіе Маши, разрѣзаль у себя на рукахъ и на ногахъ жилы перочиннымъ ножикомъ... и истекъ весь кровью".

Заканчивается повѣсть такъ:

„На подушкѣ у Милова нашли письмо, написанное имъ передъ кончиною къ своей женѣ. Оно состояло въ сихъ строкахъ:

„Я рѣшился и заслуживаю умереть. Любезная Маша, не плачь обо мнѣ: злодѣй не достоинъ слезъ твоихъ. Я любилъ тебя, клянусь въ томъ при послѣднемъ часѣ моей жизни самимъ Богомъ, меня наказующимъ... Но я любилъ прежде еще Шарлотту и... Ты не знала ее: она во всемъ тебѣ была подобна... И я, я погубилъ васъ обѣихъ... Правосудный Боже! воздай злодѣю по дѣламъ его".

„Маша, любезная Маша! согласись жить для несчастнаго нашаго сына; заклинаю тебя въ томъ горестнымъ концомъ моимъ".

„Всякій чувствительный читатель можетъ себѣ представить, какъ рвалаась несчастная вдова Милова. Она называла себя убѣицею своей соперницы и своего мужа, проклинала тотъ часъ, въ который прїѣхала въ сей городъ, сѣтовала на судьбу, что даровала ей сына. Священный долгъ матери и христіанки препятствовалъ ей кончить жизнь свою".

„Ничто не могло удержать Машу быть свидѣтельницею по-зорныхъ похоронъ ея мужа. Самоубійцу вывезли за городъ на большое поле, зарыли тамъ въ могилу, въ которой была положена Шарлотта, и похоронили трупъ его вмѣстѣ съ ея трупомъ. Маша изо всего имѣнія, оставшагося послѣ Милова, взяла себѣ только одинъ его силуэтъ, возвратилась въ домъ своихъ родственниковъ, гдѣ черезъ нѣсколько мѣсяцевъ и умерла съ грусти“ ⁸⁹⁾.

Не смотря на то, что авторъ, видимо, разсчитывалъ растро-гать читателя концомъ своей повѣсти, сдѣлавъ его, насколько могъ, чувствительнымъ,—цѣль его едва ли была достигнута, такъ какъ въ психологической сторонѣ его произведенія слишкомъ ужъ много неестественного и непонятнаго, и прежде всего непонятень самъ Миловъ. Женатый человѣкъ, страстно любящій свою Шарлотту, онъ женится на другой женщінѣ не только потому, что у нея есть приданое, но и потому, что „наслышался о ея достоинствахъ“. Затѣмъ онъ бросаетъ Машу ради Шарлотты, по-томъ заявляетъ о своей любви къ нимъ обѣимъ, хочетъ заколоть себя, лишившись Шарлотты, и наконецъ умираетъ, терзаемый совѣстью, и передъ смертью опять признается въ любви къ Машѣ... Все это какая-то психологическая путаница, сплетеніе явлений непонятныхъ и не разъясненныхъ.

Но за то въ повѣсти Измайлова есть другая сторона, не придуманная, а реальная: это—изображеніе современныхъ автору типовъ, нравовъ и обычаевъ. Благодаря этой сторонѣ, повѣсть Измайлова выдвигаютъ сравнительно съ другими подражаніями „Бѣдной Лизѣ“. Такъ, напримѣръ, проф. Владимировъ говоритъ: „Карамзину принадлежитъ безплодное вліяніе на сентиментальные романы, подъ названіями: «Несчастная Лиза» кн. Долгорукова, «Несчастный Л., роесійское сочиненіе», «Марьина роща» Жуковскаго. Только маленький разсказъ баснописца А. Измайлова: «Бѣдная Маша», не смотря на сплетеніе трагическихъ условій, приближается къ реализму въ силу присущаго этому баснописцу таланта въ изображеніи простонародныхъ и городскихъ типовъ“ ⁹⁰⁾. Къ этому надо прибавить еще слѣдующее: изображеніе указанныхъ типовъ и вообще современныхъ нравовъ нерѣдко сопровождается тѣмъ насыщеннымъ отношеніемъ автора, которое впослѣдствіи такъ отличало Гоголя, и потому, по нашему мнѣнію, на А. Измайлова можно смотрѣть, какъ на маленькаго предшественника нашего великаго юмориста. Образцы юмора Измайлова читатель нашъ отчасти уже видѣлъ: письмо Фатюева

и дальше — разговоръ между обоими Простаковыми и Машей. Приведемъ изъ его повѣсти еще два мѣста съ юмористическимъ изображеніемъ современной ей дѣйствительности.

Говоря о сватовствѣ Милова, авторъ изображаетъ такую картину. Сваха „старушка набожной физіономіи“, любившая, чтобы ей подносили „чарочки“ и „рублевики“, „входить въ комнату и, помолившись, кланяется низехонько хозяину и хозяйкѣ. — Мнѣ есть до вашей милости нужда, говорить она имъ. — Какая, голубушка, какая? спрашивается ее Простаковъ. — У вѣстѣ есть товаръ, а у меня купецъ. — Садись-ка, садись... Дай-ка, жена, намъ наливочки. — Сватается, батюшка, за вашу племянницу молодецъ — смиренный, постоянный и, какъ красная дѣвушка, хмельного въ ротъ не беретъ. — Хорошо, старушка, хорошо; да таковъ ли онъ полно? сказала Простакова свахѣ, поднося ей рюмку крѣпкой наливки. — Чтобы мнѣ, старой вѣдьмѣ, сейчасъ захлебнуться, коли я вамъ лгу... Сами изволите увидѣть, коли прикажете ему къ себѣ побывать. — Пусть пожалуетъ, пусть пожалуетъ: мы рады дорогому гостю“.

Говоря о томъ, какъ жили другъ съ другомъ Миловъ и Маша, Измайловъ въ насыщливомъ тонѣ намекаетъ на современные ему семейные нравы: „Маша любила весьма горячо своего мужа, думала, что и онъ ее любитъ, потому что много ее цѣловалъ и никогда съ ней не бранился, хотя было тогда у мужей въ ихъ городѣ обыкновеніе бранить раза два или три въ недѣлю своихъ женъ для того, чтобы онѣ ихъ почитали“.

Стремленіе изображать реальную жизнь — и притомъ именно отрицательную сторону этой жизни, равно какъ и насыщливый тонъ въ описаніи ея проявились въ Измайловѣ еще раньше: въ его романѣ: „Евгений, или пагубныя слѣдствія дурного воспитанія и сообщества“, начавшемъ печататься въ 1799 г. Насыщливый тонъ есть уже въ первой главѣ романа, озаглавленной: „Кто таковы были родители Евгения“. Въ этой главѣ находимъ такое описание отца и матери героя романа — Евгения Лукича Негодяева:

„Господинъ Негодяевъ находился въ статской службѣ болѣе сорока лѣтъ. Получа чинъ коллежскаго ассесора, пошелъ онъ въ отставку съ небольшою пенсіею. Онъ имѣлъ за собою около пяти сотъ душъ крестьянъ въ лучшихъ деревняхъ и нѣсколько каменныхъ домовъ и лавокъ въ Москвѣ. Никто не могъ сдѣлать ему укоризны, что имѣніе сіе получиль онъ отъ своихъ предковъ: ибо отецъ его, служивши канцеляристомъ, издерживалъ въ питейныхъ домахъ весь свой окладной и неокладной доходъ, нако-

нечь попался, по несчастию, въ солдаты, оставя послѣ себя сыну (который въ то время былъ еще копейстомъ) одинъ старый войлокъ, занимавшій у него мѣсто постели“.

„Итакъ г. Негодяевъ нажилъ себѣ, какъ говаривалъ онъ самъ, кусокъ хлѣба благословеніемъ Божіимъ за услуги, оказанныя имъ ближнему“.

„Оставивши службу на 55 году своей жизни, первое его наимѣреніе было наложить на себя узы брака, ибо былъ вдовъ и бездѣтенъ. Онъ женился на единородной дочери одного престарѣлаго и весьма богатаго дворянина, который далъ за нею въ приданое половину своего имѣнія, и, спустя нѣсколько мѣсяцевъ послѣ свадьбы, переселился на вѣчную жизнь, сдѣлавши и другой половины наследниками своего зятя и свою doch“.

„Женившись, г. Негодяевъ не упражнялся единственно, какъ прочіе новобрачные, въ цѣлованіи со своею женою. Оставивши службу, не оставилъ онъ труды, и, казалось, жилъ единственно для услугъ рода христіанскаго. Богатая вдова и сирота, которыхъ оспаривали право наследства, находили себѣ въ немъ сильнаго защитника передъ зерцаломъ правосудія; кладовая его и бу-
мажникъ его были отверсты для всякаго неимущаго, который только давалъ хорошій закладъ и хорошіе проценты. Онъ былъ весьма богобоязливъ и, не сотворивши крестнаго знаменія, не выпивалъ ни одной рюмки водки и не писалъ ни одной челобитной“.

„Давши читателю нѣкоторое понятіе о г. Негодяевѣ, почитаю за нужное описать ему нѣсколько и его супругу. Она очень помнила то, что была природная дворянка, что была богата, и знала не хуже своего мужа, что онъ въ рангѣ сухопутнаго майора. Имѣла не малая свѣдѣнія въ искусствѣ нарядовъ и злословія. Любила своего мужа за то только, что онъ былъ, какъ я уже сказалъ, ассесоръ, что не мѣшалъ ей жить на знатной ногѣ, слушался ея совѣтовъ и исполнялъ ея просьбы“.

Отъ этой четы родился герой романа—Евгений Негодяевъ, и главное содержаніе произведенія заключается въ изложеніи его жизни. Излагая ее, авторъ большую частью держится на смѣши-
ваго тона, то оставаясь веселымъ юмористомъ, то переходя къ довольно злой ироніи.

Едва родился Евгений, его записали въ гвардію сержантомъ, и такъ какъ госпожа Негодяева не желала исполнять мнимый и беспокойный долгъ матери, ему взяли кормилицу. „Часто, когда онъ пронзительнымъ крикомъ требовалъ отъ нея себѣ пищи и

мѣшалъ симъ дремать ей надъ его колыбелью, она ниспускала на его лядвія тяжелые удары своей десницы". Когда же Евгений началъ ходить и говорить, ему сшили гвардейскій мундиръ съ золотыми галунами, и „прежде, нежели еще его выучили молиться Богу, твердили ему безпрестанно, что онъ дворянинъ и сержантъ гвардіи“. „Въ штатѣ его состояло болѣе десяти нянюшекъ, мамушекъ и ихъ дѣтей. Иныя его одѣвали, иныя раздѣвали; однѣ рассказывали ему любопытныя повѣсти обѣ чертяхъ и прекрасныхъ царевнахъ, другія забавляли его разными играми; тѣ крали у него конфекты, тѣ игрушки. Онъ часто ушибался, и выучился отъ нихъ бранить какъ ихъ самихъ, такъ и всѣхъ тѣхъ, кто его хоть мало разсердитъ. Г-жа Негодяева хохотала отъ радости по цѣлой четверти часа, когда онъ, нахмуря брови и топая обѣ поль ногою, называлъ ее въ глаза *дурой и свинью*“. Первымъ наставникомъ Евгения былъ француэль, monsieur le Pendar, которой въ своемъ отечествѣ былъ солдатомъ и „проходилъ нѣоднократно сквозь длинные ряды своихъ собратій, вооруженныхъ ~~личинами~~ прутьями, и въ знакъ геройскихъ своихъ подвиговъ имѣлъ у себя на плечѣ литеру V“. „Господинъ ле-Пандардъ ~~проходилъ~~ очень ласково со своимъ воспитанникомъ, и не отягощалъ его трупами, зная, что строгость и принужденіе не могутъ быть ни къ чему полезны... Говориль же съ нимъ всегда по-французски... Въ теченіе двухъ лѣтъ Евгений выучился нѣсколько лепетать на французскомъ языкѣ, и уже могъ на немъ называть въ глаза дураками тѣхъ, которые онаго не разумѣли. Г-жа Негодяева чуть не плакала отъ радости, обнимала его, называла своею утѣхой, награждала его щедро конфектами, и исполняла его прихоти; рачительному же учителю дѣланы были часто подарки и прибавки жалованья“.

„Да не подумають“,—говорить авторъ,—„тѣ читатели, которые полагаютъ за нужное всякому человѣку хотя нѣкоторое знаніе собственнаго своего языка, что Евгений не былъ обученъ россійской грамотѣ. Нѣть, приходскій священникъ, человѣкъ недостаточный, но хорошаго поведенія и хорошихъ свѣдѣній, приходилъ, по желанію г-на Негодяева, каждую недѣлю два часа для наставленія его сына въ познаніи буквъ и катехизиса, получая за свои труды время отъ времени попорченный деревенскій запасъ въ маломъ количествѣ. Евгений не могъ терпѣть церковной печати и густой бороды своего учителя. Едва онъ въ три года выучился посредственno читать по-руссски, и вытврженное имъ съ великимъ трудомъ десятословіе забылъ послѣ того такъ же легко, какъ и имя своего наставника“.

Когда le Pendar, пробывъ у Негодяевыхъ около 4 лѣтъ, наконецъ уѣжалъ, обокравши ихъ, Евгенія отдали въ пансионъ, содержащий, конечно, иностранцемъ. Переходя къ этому событию, авторъ обращается къ своимъ современникамъ со слѣдующимъ ироническимъ совѣтомъ: „Отцы и матери, желающіе у себя имѣть дѣтей благовоспитанныхъ, отдавайте ихъ въ пансионы, содержащіе честными иностранцами. Тамъ-то молодые люди обучаются съ удивительною скоростю чужимъ языкамъ, составляющимъ главнѣйшую часть просвѣщенія дворянства, долженствующаго занимать со временемъ почетныя въ государствѣ мѣста; тамъ-то полезное танцованиe сдѣлаетъ въ непродолжительное время ихъ фигуру развязанною; тамъ-то образуется вкусъ отрочества и юношества обоего пола въ платьяхъ и нарядахъ. Такъ поступилъ г. Негодяевъ и г-жа Негодяева послѣ ле-Пандардова побѣга“.

Въ пансионѣ, куда отдали Евгенія, было около ста воспитанниковъ и воспитанницъ. Его содержалъ нѣмецъ Езельманъ, бывшій въ своемъ отечествѣ шинкаремъ. Преподаваніе было, конечно, плохое, но въ „лепетаны“ по-французски Евгений все-таки усовершенствовался, а главное—на урокахъ г. Коверкина научился прекрасно танцевать. Эти уроки авторъ описываетъ такъ: „Каждую среду и субботу всѣ пансионеры и пансионерки, подъ предводительствомъ г. Коверкина, собирались ввечеру въ большую залу, первые—будучи причесаны къ лицу искусственнымъ парикмахеромъ, надѣвши на себя новомодные фраки и легкіе англійскіе башмаки; послѣднія же—имѣя нерадиво завитые распущенныe по плечамъ локоны и, подобныя бѣлизною снѣгу, на себѣ шемизы, препоясанныя лентою любимаго цвѣта. Едва г. Коверкинъ давалъ знакъ рукою, то сидѣвшіе въ углу зала два красноносые музыканта начинали соглашать свои инструменты, а ученики его, большие и малые, подходили съ петиметрскою осанкою и поклонами къ дѣвицамъ, прося ихъ съ собою танцевать и представляя имъ въ лайковой перчаткѣ свою руку; тѣ же подавали имъ свою съ пріятною улыбкою и жеманствомъ, и становились на свои мѣста. Г. Коверкинъ, обращая повсюду глаза и видя всѣхъ въ готовности, давалъ вторичный знакъ рукою, ударяя притомъ крѣпко ногою объ полъ. Въ одно мгновеніе ока обѣ скрипки издавали громкіе звуки; танцующіе, держа другъ друга за руки, двигались попарно со своего мѣста въ надлежащемъ порядкѣ, раздѣлялись,—нагибались съ пріятностію и присѣдали, опустя внизъ руки, подавали обратно онъя другъ другу со сладострастною нерадивостію, соединялись опять и составляли чрезъ нѣсколько

времени круглую цѣпь... Тутъ-то Евгений помрачалъ всѣхъ своимъ достоинствомъ”.

„Свободное время отъ трудовъ Евгений употреблялъ вмѣстѣ со своими товарищами на разныя невинныя дѣтскія игры и увеселенія. Нерѣдко по вечерамъ, собравшись и запершись въ его комнатѣ (онъ имѣлъ особую горницу, и, сверхъ 400 за ученіе и за столъ, платилъ Езельману за нее ежегодно 200 рублей), отдаленной отъ прочихъ, дѣлали небольшой банкъ, или опоражнивали съ нимъ чашу пунша, приготовленнаго его слугою, который исполнялъ съ великимъ проворствомъ и съ надлежащею скромностю препорученные ему дѣла отъ молодого господина, не смѣя ему не повиноваться подъ страхомъ жесточайшаго наказанія. Чтеніемъ же не столь много занимались, сколько карточною игрою. Въ пансионѣ читали только на французскомъ языкѣ «Тысячу и одну ночь», а на русскомъ—письменныя сочиненія того поэта, который въ храмахъ Бахуса составлялъ стихи въ честь Пріаму. Изъ послѣднихъ многіе переписывались съ жадностю и выучивались наизусть”.

„Такимъ-то образомъ употреблялъ молодой Негодяевъ свое время и деньги во всю бытность его въ пансионѣ болѣе пяти лѣтъ”.

Вышелъ Евгений изъ пансиона по слѣдующему случаю. Влюбившись въ одну изъ воспитанницъ, Марію, онъ воспользовался ея легковѣрнымъ отношеніемъ къ его обѣщанію жениться на ней и совершилъ безчестный поступокъ. Езельманъ хотѣлъ было наказать своего питомца, такъ какъ о поступкѣ его узнали уже многіе въ пансионѣ, но мать Евгения, „посмѣявшись довольно дѣтскимъ шалостямъ” сына, рѣшила, что не хочеть болѣе, чтобы онъ учился у такихъ людей, которые „не знаютъ обходиться съ благородными дѣтьми”. Марія занемогла горячкою и умерла.

Отецъ и мать Негодяева отдали послѣ того сына въ университетъ „для того, чтобы, по выходѣ изъ онаго на большой театръ свѣта, получилъ онъ отъ всѣхъ зрителей и актеровъ, его наполняющихъ, пріятное название *благовоспитаннаго и ученаго молодого человѣка*”. Евгений или спалъ на лекціяхъ, или прогуливалъ ихъ; „спрошенный же въ классѣ наставникомъ, испытующимъ его память, повторялъ громко слова, произносимыя ему тихо услужливыми его пріятелями, или хранилъ молчаніе”. Эти „услужливые пріятели” были вмѣстѣ съ тѣмъ и „подлыми наемниками”. Съ однимъ изъ нихъ Евгений подружился. Это былъ Развратинъ, молодой, человѣкъ „посредственныхъ дарова-

ній, посредственныхъ знаній, испорченныхъ нравовъ и испорченаго сердца"; онъ „хвасталъ, какъ педантъ, пиль, какъ ремесленникъ, игралъ на бильярдѣ, какъ маркеръ, злословилъ, какъ бого-молка, и умѣлъ съ несказаннымъ искусствомъ жить на счетъ другихъ. Онъ не наблюдалъ ни естественного закона, ни христіанскаго, вытвердилъ противъ послѣдняго нѣсколько возраженій, которыхъ никогда не изслѣдывалъ, нѣсколько также именъ славныхъ вольнодумцевъ, и повторяль тѣ и другія безпрестанно передъ глупцами своихъ лѣтъ, спорилъ съ кѣмъ могъ, и получалъ имя *бойкаго* отъ невѣждъ, не могущихъ опровергнуть его доказательствъ".

Затѣмъ авторъ описываетъ воспитаніе Евгенія въ школѣ Развратина.

„Однажды Развратинъ, бывши наединѣ съ Негодяевымъ, увидѣлъ по случаю у него на шеѣ крестъ.—У тебя на шеѣ кресты! вскричалъ онъ, захочотавши, какъ пьяный дуракъ.—Да, золотой, отвѣчалъ Евгеній, показывая ему оный.—Зачѣмъ ты его носишь?—Твоя правда, зачѣмъ? мнѣ онъ очень мѣшаетъ... Говоря, что будто всякий христіанинъ *оближенованъ* имѣть на себѣ крестъ.—Такъ ты христіанинъ, сынъ православный греко-каѳолическія церкви?—Съ чего ты взялъ, что я католикъ? я не католической, а *русской* вѣры.—Ха! ха! ха! ты не пропускаешь, я думаю, ни одной литургіи?—Литургіи?... Что это такое?—То-есть обѣдни.—Нѣтъ, я встаю поздно по воскресеньямъ и по праздникамъ.—По скольку ты кладешь всякий день поклоновъ ввечеру и поутру?—Я не молюсь никогда въ землю, да часто случается, что ложусь спать, ни разу не перекрестившись.—Я чаю, ты много знаешь наизусть молитвъ?—Да я много въ самомъ дѣлѣ ихъ зналъ, пять или шесть никакъ,—не помню право,—а теперь вѣсъ ихъ позабылъ.—Ха! ха! ха! хорошо, что ты не совсѣмъ закоренѣлъ въ невѣжествѣ: тебѣ можно еще подать руку помощи, и ежели ты мнѣ обѣщаешься во всемъ вѣрить и во всемъ меня слушаться (ты это долженъ), то я, по дружбѣ, превращу тебя изъ грубаго невѣжи въ просвѣщенаго вольнодумца... Благодаря убѣдительнымъ силлогизмамъ господина Развратина, молодой Негодяевъ вскорѣ сталъ считать за смѣшные предразсудки и нелѣпья мнѣнія то, на чемъ основывается благополучіе людей, и чего они не имѣя, не могутъ имѣть большого предпочтенія передъ безсмысленными и лютыми животными. Богопочитаніе, честность и добродѣтели, дѣлающія человѣка существомъ благороднымъ, были въ глазахъ его химерою, свойствами, приличными

однимъ простолюдинамъ.—Есть такие предразсудки,—говориль ему мудрый другъ его, — которымъ просвѣщенный долженъ смеяться, но которые имѣть наружно бываетъ ему иногда надобно. Напримѣръ, любовь къ родителямъ есть самый глупый предразсудокъ. Скажутъ, что ты обязанъ любить своего отца и мать, потому что они тебѣ дали жизнь, воспитаніе, пекутся о твоемъ благополучіи. Я отвѣчаю на это, что если они дали тебѣ жизнь, то не съ намѣреніемъ, но посреди взаимнаго своего наслажденія; что если они тебя кормили, поили, одѣвали, учили и стараются сдѣлать счастливыми, то они должны это дѣлать, поелику ты служишь имъ угѣхою, и они довольно заплачены за свои попеченія удовольствіемъ ихъ тебѣ оказывать. Почему же ты имъ обязанъ любовью, а особливо почтеніемъ? Но родители твои богаты; притворяйся, что ихъ любишь до такого же безумія, какъ они тебя; что ихъ почитаешь столько же, сколько глупый подчиненный своего начальника, ты можешь симъ средствомъ получить отъ нихъ болѣе денегъ на твои надобности.— Такъ, такъ, отвѣчай внимательный юноша: ты говоришь правду".

„Евгений находился въ университетѣ съ полгода. Въ столь короткое время, кромѣ рѣдкихъ знаній, имъ тутъ пріобрѣтеныхъ и упомянутыхъ мною, стараніемъ г. Развратина выучился онъ играть на бильярдѣ и усовершенствовался въ познаніи напитковъ, также въ обращеніи съ женщинами, обращающимися съ цѣлымъ свѣтомъ. Таково было его воспитаніе, стоящее нѣсколько тысячъ его родителямъ".

Измайловъ въ лицѣ Развратина, какъ раньше его Фонвизинъ въ лицѣ Иванушки, изобразилъ тѣхъ молодыхъ людей въ современномъ ему русскому обществѣ, которые способны были усвоивать лишь однѣ отрицательныя стороны западно-европейской культуры. По отношенію къ этимъ людямъ, при умственной и нравственной ихъ скудости, мало имѣла значенія та „страстная влюблчивость въ попадавшія на глаза идеи и представленія“, которую Анненковъ приписываетъ молодежи Александровской эпохи: тутъ дѣло было проще: отголоски материалистическихъ учений приходились на руку такимъ людямъ, какъ Развратинъ и Недяевъ, да притомъ еще можно было и пощеголять либерализмомъ, прослыть подъ лестнымъ именемъ „вольнодумца“. Такой славой увлекались у настѣ лица, бывшія и не Развратину чeta: напримѣръ, Радищевъ ⁹¹.

Вышелъ Евгений изъ университета потому, что онъ, числясь въ полковомъ спискѣ третьимъ сержантомъ, могъ первого января

того года получить чинъ прапорщика гвардії, но однако подъ условіемъ явиться въ полкъ за нѣсколько мѣсяцевъ до производства. Родители снарядили его въ Петербургъ, дали ему съ собой десятокъ крѣпостныхъ слугъ и пять тысячъ рублей, „насколько ихъ ему станетъ“; чтобы не было скучно, къ свитѣ присоеди-нили Разврата, и напутствовали такими совѣтами: „Береги свое здоровье; по праздничнымъ днамъ ходи на поклонъ къ своимъ командирамъ, чтобы они были до тебя милостивы“, говорилъ отецъ.—„Не скучай знатнымъ дамамъ дѣлать компанію въ карточной игрѣ и въ променадахъ; выполнилъ всѣ ихъ комиссіи: че-резъ это можешь получить себѣ счастіе“,—совѣтовала мать.— „Не тотъ одинъ чины хватаетъ, кто надъ работой умираетъ“,— перебивалъ г. Негодяевъ свою супругу:—„ты не очень прилежи къ службѣ. Когда достанется идти въ караулъ въ сырую или холодную погоду, такъ можно за себя и нанять... Ружьемъ учиться тебѣ не совѣтую: ты малый молодой, нѣжнаго воспитанія—тебѣ вергтѣть этакимъ чертомъ фунтовъ въ пятнацать!... Да и за-чѣмъ? Вѣдь ты не солдатскій сынъ. Пожалуй, не долго себя испортить“. Мать, въ свою очередь, перебивала отца: „На тебѣ, мой ангелъ, никто не можетъ взыскать, что ты не будешь знать военнаго артикула: ты служишь не изъ одного жалованья, какъ иные. Слава Богу, тебѣ есть что прожить. Чтобы блеснуть въ большомъ кругу, не жалѣй денегъ ни на экипажъ ни на платье; этого мало, чтобы перенимать у другихъ моды: старайся, чтобы ихъ у тебя перенимали“.

Евгений наконецъ отправился. Дорогой онъ не желалъ скучать: пилъ пуншъ, „обращался“ съ женщинами, игралъ въ карты. Около Новгорода попался онъ въ руки шулеру и проигралъ ему 4000 р. „Въ великой задумчивости ходилъ онъ съ полчаса по избѣ взадъ и впередъ. Бѣдный юноша грызъ у себя ногти, не смотрѣлъ ни на кого, не говорилъ ни съ кѣмъ, даже съ самимъ Развратинымъ. Наконецъ прервалъ свое молчаніе, прика-завши сбирать на столъ. Сѣвши ужинать, отвѣдалъ, по просьбѣ своего друга, нѣкоторыя блюда, нашелъ, что они были очень дурно приготовлены, побросалъ ихъ на полъ и обѣщался клятвенно высѣчь назавтра невиннаго повара (своего крѣпост-наго). Послѣ ужина, на сонъ грядущій, влѣпилъ двѣ пощечины раздѣвавшему его камердинеру и заснулъ не очень скоро“. Изъ непріятнаго положенія выручилъ Развратинъ. Онъ сочинилъ письмо, изъ котораго родители Евгения должны были узнать, что на одной изъ ночовокъ случился пожаръ, что сынъ ихъ былъ

въ великой опасности; что Развратинъ спасъ его, а деньги всѣ сгорѣли; что у Развратина были прикопленные 500 р., и онъ снабдилъ ими Евгенія. Все это была ложь: пожаръ во время дороги Евгений дѣйствительно видѣлъ, но никакъ не былъ въ опасности и даже любовался имъ; денегъ Развратинъ ему тоже не давалъ. Но обманъ имѣлъ успѣхъ: отецъ Негодяева выслалъ пять тысячи сыну и тысячу Развратину, частію въ возмѣщеніе мнимаго долга, частію въ награду за самоотверженное спасеніе друга. Молодой Негодяевъ былъ въ восторгѣ и говорилъ Развратину: „помогай мнѣ обманывать и впередъ хорошенъко батюшку и матушку“. И Развратинъ усердно помогалъ.

Друзья наконецъ пріѣхали въ Петербургъ. Евгений является въ полкъ и поступаетъ на дѣйствительную службу, которая однако отнимаетъ у него чрезвычайно ничтожное время, да и не сесть онъ ее спустя рукава. Главное его занятіе—свѣтскія развлечения, карточная игра, „обращеніе“ съ женщинами. Онъ, какъ говорится, прожигаетъ жизнь—и кончаетъ тѣмъ, что прожигаетъ въ пять лѣтъ все то, что отецъ его нажилъ въ пятьдесятъ, впадаетъ въ неоплатные долги, хочетъ поправить свои дѣла выгодною женитьбою, но, по просьбѣ заимодавцевъ, попадаетъ въ заключеніе, заболѣваетъ горячкою и умираетъ на 24-мъ году своей безпутной жизни.

Изображая петербургскую жизнь Евгения, авторъ вводить въ свой разсказъ очень много современныхъ ему типовъ и рисуетъ не мало бытовыхъ картинъ. Укажемъ на типы Вѣтрова, Лицемѣркиной, Тысящникова и его супруги, Подлянкова, Миловзорова и его дочери.

„Вѣтровъ былъ надворный совѣтникъ и человѣкъ не молодыхъ лѣтъ, жившій уже давно со своею супругою и дѣтьми въ Петербургѣ за собственнымъ тяжѣбнымъ дѣломъ и за веселостями, которыми наслаждаются въ сей столицѣ. Онъ имѣлъ 400 крестьянъ, которые были очень зажиточны, пока ему не принаследжали, и 50,000 долгу. Проживалъ очень хорошо оброкъ, получаемый имъ съ деревень своихъ, и имѣлъ удовольствіе тщеславиться тѣмъ, что годовой его расходъ превышаетъ доходъ болѣе, нежели вдвое“.

„Лицемѣркина была бездѣтная лѣтъ пятидесяти вдова и небогая помѣщица. Усердна къ Божьей церкви, учащала оную часто“, но, „должники ея стѣтовали на безсовѣтные проценты, которые она брала съ нихъ; крестьяне ея роптали на тяжелый оброкъ, ею на нихъ положенный; дворовые ея люди жаловались на малую

мъсячину... Лицемѣркина носила обыкновенно платье темнаго цвѣта, а бѣлилась такъ неумѣренно, какъ чернозубая купчиха 3-й гильдіи».

„Тысящниковоѣ, вѣсъма богатый дворянинъ, прибылъ недавно въ Петербургъ со своею супругою, столь же надутою, какъ и онъ, деревенскою дворянкою. Ни съ оружіемъ, ни съ вѣсами правосудія не служа своему государству, онъ былъ добрый по-мѣщикъ“. Почему же?—Крестьяне, говорить авторъ иронически, „работали на него *только* въ недѣлю пять дней; въ воскресенье же онъ приказывалъ имъ ходить къ обѣднѣ и позволялъ забавляться вечеромъ пляскою, сколько угодно. «Грѣхъ великий,— говорилъ имъ баринъ,—работать въ праздникъ, а особливо на сѣба. Коли грѣшимъ не по принужденію, а по *своей* волѣ сами, сами и отвѣтчи за грѣхъ будемъ». Крестьянки были также заняты трудами, какъ и крестьяне. Никто въ его владѣніяхъ не вкушалъ праздно пищи, кромѣ малыхъ ребятъ, свиней и его супруги. Г-жа Тысящникова, живши въ деревнѣ, вставала по городскому. Часовъ въ десять и позже возвѣщала она открытие глазъ своихъ звономъ колокольчика. Прежде еще окончанія онаго вѣжала изъ дѣвичей къ ней горничная ея дѣвушка. Поклонившись низехонько своей барынѣ, спрашивала ее съ подобострастіемъ: «Что изволите, сударыня, приказать?»—Ча... говорила госпожа, зѣвая и противѣя глаза.—Проворная дѣвка мгновенно исчезала и въ ту же минуту являлась обратно, неся на подносы чашку чаю. Въ то время, какъ барыня приподыimalась съ постели и садилась на онуу, служанка наливала ей на блюдце чай, который она кушала съ разнообразными кривляньями“.

Если читатель потрудится прочесть дальнѣйшее описание г-жи Тысящниковой, оно, безъ сомнѣнія, напомнитъ ему многое въ романѣ Гончарова: „Обломовъ“.

„Часто случалось, что когда сія нянька готовилась вылить остальное количество изъ чашки на блюдечко, рука г. Тысящниковой дѣлала ей знакъ отверженія, голова ея упадала на подушки, отъ коихъ недавно еще отдѣлилась, глаза смыкались. Минутъ черезъ пять отверзались они паки, и паки она принималась кушать китайскій напитокъ. Послѣ сего, не говоря ни слова, опускала она съ кровати изъ-подъ одѣяла свою ногу, и чулокъ надѣвался на онуу руками служанки; потомъ и другую. Наконецъ вставала она и надѣвалась на себя юбку и шляфрокъ съ помощью горничной; умывшись же, обтиратала полотенцемъ лицо свое уже безъ ея пособія, и, обратя потомъ оное къ шкафу, наполненному

иконами, дѣлала крестныя знаменія собственною своею десницею. Послѣ мольбы своей, продолжавшейся болѣе минуты, принимала отдохновеніе на стулѣ болѣе часа, въ которое время парикмахеръ чесалъ ея волосы, и она занималась разговорами или съ мужемъ, возвратившимся со скотнаго двора, или съ сестрѣдками, пріѣзжавшими къ ней часто разгонять скуку, или съ кѣмъ, слу-чалось. Причесавшись и одѣвшись совсѣмъ, г. Тысящникова шла изъ своей уборной въ столовую, гдѣ кушанье уже было готово. Вставши изъ-за обѣденнаго стола, садилась за ломберный и играла въ карты часу до седьмого. Она приняла въ свой домъ собесѣдницу одну женщину за то только, что умѣла играть въ висть и въ пикетъ, загадывать на картахъ и разсказывать множество всякихъ исторій. Накушавшись послѣ обѣда чаю, лѣтнею порою прохаживалась она по саду, по рощамъ, по лугамъ, или каталась по рѣкѣ въ небольшой шлюпкѣ вплоть до самаго ужина. Зимою же и тогда, когда не можно было прогуливаться, болѣе загады-вала и играла въ карты, болѣе спала, болѣе разговаривала, за-ставляла часто дѣвокъ пѣть передъ собою пѣсни и сказывать ей национальныя повѣсти... Вотъ какъ она провождала цѣлые дни, если не выѣзжала въ гости".

„И чѣмъ же другимъ надлежало ей заниматься?" — спраши-вается авторъ. — „Воспитаніемъ ли малолѣтнихъ дѣтей своихъ? Оное препоручено было кормилицамъ, нянюшкамъ и мамушкамъ. Хозяйствомъ ли? Оное также возложено было на ея родствен-ницу, бѣдную сиротку, которую отличала она отъ своихъ служи-тельницъ, сажая съ собою за столъ. Чтеніемъ ли? Она почти вовсе не умѣла читать".

Въ Подлянковъ есть черты, напоминающія и Молчалина и Загорѣцкаго.

Подлянковъ былъ титулярный совѣтникъ, ходившій въ свое мѣсто, въ которомъ онъ служилъ, при окончаніи каждого мѣсяца, а къ своимъ командинамъ — каждый праздникъ. Двадцать лѣтъ находился онъ въ службѣ, и двадцать уже лѣтъ зналъ собствен-нымъ своимъ опытомъ, что нѣкоторые начальники примѣчаютъ подчиненныхъ болѣе въ своей передней, нежели у должности во время часовъ присутствія. Не однімъ только своимъ начальни-камъ, но и всѣмъ тѣмъ, которыхъ благосклонность могла ему быть полезна, оказывалъ онъ свое почтеніе, преданность и рабо-лѣпство, хотя бы то былъ подлый придверникъ или камердинеръ его покровителя и милостивца (Такъ онъ именовалъ всѣхъ куми-ровъ, коимъ поклонялся). Будучи вхожъ во многіе дома, во мно-

гихъ изъ нихъ обѣдывалъ и ужинывалъ поочередно. Онъ глядѣлъ каждое утро въ календарь своего сочиненія—(тутъ невольно вспоминается и Фамусовъ),—въ который внесены были дни тезоименитства и рождения знакомыхъ ему особъ, супругъ и дѣтей ихъ. Всѣ почти его у себя терпѣли, поелику онъ за свое насыщеніе сносилъ терпѣливо всякія ругательныя насмѣшки и былъ угощающъ до самой забавной подлости. Когда кто ронялъ нечаянно что-нибудь близъ его, онъ упадалъ мгновенно однимъ колѣномъ на полъ и поднималъ упавшую вещь съ удивительнымъ проворствомъ. Когда кто при немъ приказывалъ слугѣ что-нибудь себѣ принести, онъ предупреждалъ его въ исполненіи и, получивъ должную передъ лакеемъ похвалу, радовался несказанно. Хотѣлось ли кому достать чего,—надлежало о семъ лишь сказать г. Подлянкову: онъ тотчасъ съ радостю все найдетъ, все сыщетъ. Надобно ли кому купить лошадь, человѣка,—онъ купить, и еще хорошихъ. Надобно ли кому нанять карету, ложу, домъ,—онъ найметъ, и самыхъ удобныхъ. Надобно ли кому узнать внутреннее состояніе какого семейства, его тайны,—онъ откроетъ и самыя сокровенныя. Надобно ли кому человѣка, женщину,—онъ представить и отрекомендуетъ. Дай только ему на все сіе потребное количество денегъ. Третій уже годъ получаетъ онъ по сту рублей пенсіона отъ одного щедраго графа, которому рекомендовалъ онъ родную свою племянницу⁴.—Портретъ г. Подлянкова: „Станъ его такъ же низокъ, какъ и душа. Кланяся чрезвычайно часто и низко, сдѣлался онъ сутуловатымъ. Малые свои и острые глаза потупляются долу, когда говорить съ кѣмъ, и временно возводить ихъ съ украдкою и съ подобострастіемъ на того, кого рѣчи слушаетъ со вниманіемъ крѣпостного слуги. Носъ у него длинноватый, краснѣющійся иногда отъ щелковъ, даваемыхъ ему молодыми шалунами, любящими, по своему малоумію, хохотать надъ болью другого, отъ которой бы сами заплакали. Сія щутка и прочія сего рода не покрываютъ лица г. Подлянкова мракомъ досады и смущенія, но призываютъ его смѣяться вмѣстѣ со смѣющимися и ругающимися надъ нимъ. Истинная или притворная улыбка, не знаю, но мелькаетъ всегда на устахъ его, когда только разговоръ не слишкомъ важенъ. Голосъ его тихъ и мягокъ, какъ у безжалованнаго писаря въ ту минуту, въ которую онъ просить съ учтивостю у щедраго члобитчика себѣ на пропитаніе“.

Миловзоровъ, Назарій Антоновичъ, былъ шулерь, принимавшій у себя гостей и обыгрывавшій ихъ. Онъ мастеръ былъ наживлять деньги и разными другими безчестными средствами. Дочь его

была ему въ этихъ дѣлахъ помощницей. Вотъ, напримѣръ, что они продѣлали съ недальновиднымъ Евгеніемъ. Дочь Миловзорова, Любовь Назарьевна, притворилась страстно влюбленной въ Негодяева, который давно уже искалъ сближенія съ ней. Устроено было, при помощи горничной (Катерины), ночное свиданіе въ комнатѣ барышни. Но это была хитрая ловушка. „Только лишь было стать подносить Евгений прекрасную ручку къ устамъ своимъ, чтобы ихъ прильпить къ оной, вдругъ явился, нечаянно въ сюю комнату Назарій Антоновичъ съ обыкновенною своею улыбкою, съ большимъ пистолетомъ въ правой руцѣ и съ потаеннымъ фонаремъ въ лѣвой, въ шлафрокѣ и колпакѣ... Вскрѣпшія въ жилахъ Евгения кровь застыла мгновенно при видѣ длиннаго пистолета, онъ сдѣлался блѣденъ, какъ воротникъ у его сорочки, и остался на колѣняхъ неподвиженъ и безмолвенъ, какъ преступникъ, ожидающій смертельный удара.—Ахъ, это вы, Евгений Лукичъ! сказалъ ему г. Миловзоровъ, поклонившись, улыбнувшись и сдѣлавши приличный жестъ своимъ пистолетомъ.—Какимъ образомъ?.. Да что вы изволите беспокоиться, стоять?.. прошу покорно садиться... сядьте же, сдѣлайте милость, хоть вотъ тутъ у столика, на которомъ стоитъ чернильница.—Евгений всталъ съ колѣнокъ на назначенный себѣ стуль. Всѣ его члены тряслись отъ страха, какъ отъ сильной лихорадки. Г. Миловзоровъ сѣлъ возлѣ него къ столику, держа все пистолетъ свой въ рукѣ. Оба они нѣсколько минутъ хранили молчаніе. Назарій Антоновичъ, казалось, занимался важнымъ размышленіемъ; Евгений же Лукичъ не спускалъ глазъ съ лица его и дрожалъ въ неизвѣстности непрітворно. Наконецъ первый разверзъ уста свои.—Катерина!—сказалъ онъ, возвысивъ голосъ:—сыщи мнѣ, подай скорѣе того...—Чего, сударь, изволите приказывать?—спросила у него съ подобострастіемъ Катерина, вошедши немедленно изъ своей комнаты въ барышину спальню.—Бумаги бѣлой, листъ, больше не надо.—Катерина ссыкала въ минуту въ барышиномъ комодѣ и подала ему листъ бѣлой бумаги. Улыбнувшись онъ тутъ и взглянувъ на Евгения, сказалъ ему ласково: „я побезпокою васъ, Евгений Лукичъ, мою просьбою потрудиться написать строкъ шесть или семь, не болѣе“. Евгений, будучи готовъ написать шесть или семь страницъ, только чтобы симъ отъ него отѣлаться, съ охотою согласился на его предложеніе.—Я вамъ буду диктовать,—говорилъ ему Назарій Антоновичъ.—Извольте-съ.—Сей моментъ. Тысяча семьсотъ девяносто первого года, генваря десятаго числа...—Написаль-съ.—Очень хорошо-съ... я, низеименованный, занялъ у коллежскаго ассесора...—

У господина коллежского ассесора? — Хоть такъ-съ, все равно... *Назарья Антоновича Миловзорова десять тысячъ рублей...* Десять тысячъ извольте потрудиться написать не цифрами, а складомъ. — Слушаю-съ. — Написали? — Написалъ-съ. — Извольте-съ: *которыя по прошествии одного мѣсяца должны я вѣк сполна съ указанными процентами, съ рубля по шести, отдать ему, Миловзорову, непремѣнно.* — Г-ну Миловзорову? — Какъ угодно... *Во увѣреніе чего и подпишуясь, своеуручно...* Тутъ извольте теперь подписать свой чинъ, имя и фамилію. — Сю минуту-съ... — Что вы изволите трудиться засыпать: пожалуйте мнѣ, я самъ засыплю. — Назарій Антоновичъ, взявшіи изъ руки Евгенія написанныя имъ строчки, засыпалъ ихъ самъ, прочиталъ двукратно со вниманіемъ и, не находя тутъ никакихъ ошибокъ, кромѣ орографическихъ, которыхъ Евгеній, какъ дворянинъ, всегда дѣлывалъ, спряталъ бумажку сю за пазуху и поблагодарилъ его съ учтивостю за его послушаніе и трудъ. — Извините меня, — сказалъ онъ ему, — что я такъ долго вѣсъ задержалъ: вы, чай, давно уже хотите почивать; я вѣсъ самъ провожу со свѣчою. — Евгеній взялъ свою шляпу и сдѣлать низкій поклонъ Назарью Антоновичу; Назарій Антоновичъ поклонился ему съ улыбкою и, положивши пистолетъ свой за пазуху, взялъ со стола свѣчу и проводилъ его съ нею до самаго крыльца. Тутъ спросилъ онъ у него, нѣтъ ли съ нимъ десяти тысячъ. Евгеній утвердилъ клятвою, что нѣтъ и что какъ только лишь скоро будутъ, то отдастъ ему тотчасъ же оныя съ благодарностью. — Я увѣренъ, Евгеній Лукичъ, — сказалъ г. Миловзоровъ, — что вы не допустите меня протестовать вашъ вексель, или писать объ вашемъ долгѣ къ вашимъ родителямъ. — Сказавши сіи слова, крикнулъ онъ дворника, велѣлъ ему проводить до воротъ Евгенія и, пожелавъ Евгенію покойной ночи, простился съ нимъ, зашелъ въ комнату къ своей дочери, расцѣловалъ ее и обѣщалъ ей дать на наряды и на платье тысячу рублей, когда получить по векселю деньги⁹².

Извѣстно, что съ конца XVIII столѣтія стала у насъ развиваться мода на мелкія стихотворенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ появилась какая-то стихоманія: всѣ пустились писать стихи, даже и такие люди, какъ Развратинъ. Измайловъ хотя и самъ былъ немалый стихоманъ, тѣмъ не менѣе осмѣивалъ эту современную ему страсть въ тѣхъ случаяхъ, когда она принадлежала лицу или бездарному, или унижавшему поэзію корыстными цѣлями. Послѣдній сортъ стихослагателей онъ и вывелъ въ своеемъ романѣ. „Лучшій родъ стихотворенія“ — говоритъ выставленный имъ низ-

менный стихотворецъ—„есть похвальный. — Я пишу похвальные оды, эпистолы, эпитафии, эпитадамы, мадригали и всякие поздравительные стихи. — Развратинъ не могъ тутъ удержаться отъ смѣха. — Чему вы смѣетесь? спросилъ его важный стихотворецъ. — Вы говорите, что лучшій родъ стихотворенія есть похвальный... — И конечно... Я вамъ докажу это сю же минуту. Эта табакерка,— говорилъ онъ, вынувъ изъ кармана золотую табакерку,—стоитъ полтораста рублей; она подарена мнѣ богатымъ купцомъ за эпистолу, въ которой превознесъ я его добродѣтели и назвалъ своимъ меценатомъ... Нѣть нужды, что онъ человѣкъ не весьма честный и умный.—Потомъ, вынувъ также изъ кармана прекрасные золотые съ цѣпочкою часы, продолжалъ:—Эти часы стоятъ болѣе 200 руб. и получены мною за оду на день рожденія одного знатнаго господина. На рукѣ моей этотъ брилліантовый перстень знатоки цѣнятъ въ 500 рублей; мнѣ подарили его богатый заводчикъ, которому поднесъ я поздравительные стихи на получение чина. Коротко вамъ сказать, все, что я ни получилъ, получилъ отъ стиховъ, и отъ стиховъ похвальныхъ” ^{93).}

Какъ позднѣе Грибоѣдовъ, такъ и Измайлова, конечно, не въ такихъ художественныхъ картинахъ, какъ первый, даетъ читателю понять, до какой степени тогдашнее свѣтское общество было пусто и лишено всякихъ серьезныхъ интересовъ. Въ гостиныхъ собирались люди „различнаго пола, различнаго возраста, различнаго званія и различнаго дурачества... Мужчины между собою разговаривали наиболѣе объ самой первой для разговора матери, т.-е. объ настоящей погодѣ, недавнихъ происшествіяхъ при дворѣ и въ городѣ, объ пустякахъ, объ дуракахъ и о прочемъ; женщины же объ модныхъ убранствахъ, объ увеселеніяхъ, также о глупостяхъ и порокахъ, разумѣется, не о своихъ собственныхъ, но о чужихъ. Молодые щеголи мѣшались въ рѣчи дамъ, сообщали имъ новости, могущія быть достойнымъ ихъ вниманія, предлагали имъ свои замѣчанія, соглашались поспѣшно съ ихъ мнѣніями и наперерывъ сыпали словами, заключающими въ себѣ много ласкательства и мало смысла” ^{94).}

Относительно „ласкательства“ авторъ замѣчаетъ въ одномъ мѣстѣ, что оно „есть надежнѣйшее средство полюбиться тварямъ самолюбивымъ до глупаго легковѣрія“ ^{95).}

Указанія на грубое и жестокое обращеніе помѣщиковъ съ крѣпостными также нашли себѣ не мало мѣста въ рассматриваемомъ произведеніи. Вотъ образчикъ: посылая сыну деньги послѣ извѣстія о пожарѣ, г. Негодяевъ пишетъ, между прочимъ, слѣ-

дующее: „Петръ-то Евдокимовичъ (Развратинъ) вишишъ тебѣ чужъ чужанинъ, а вытащилъ тебя изъ полымя, пишешъ ты, даромъ что опалилъ на себѣ волосы; свои же всѣ мошенники, которыхъ я отпустилъ съ тобою, и не хватились тебя, благо что сами выскочили изъ огня. Послушай, что я тебѣ прикажу: передери ихъ всѣхъ хорошенъко, знаешь—по-моему; спусти имъ со спины до пять кожу: лучше будуть служить своему барину и беречь его здоровье. Если жъ ты ихъ высѣкъ уже прежде, такъ нѣтъ нужды: высѣки ихъ въ другой разъ; то за себя, а то за меня“ ⁹⁶).

Выходки противъ невѣжества дворянъ, непониманія ими своего долга и разныхъ другихъ темныхъ сторонъ ихъ—встрѣчаются у Измайлова безпрестанно. Вотъ одна изъ нихъ: Евгений, послѣ своего неудачнаго посѣщенія дѣвицы Миловзоровой, почувствовалъ себя нехорошо и рѣшился пустить себѣ кровь.—„Умѣешь ли ты пускать кровь?“—спрашиваетъ онъ приглашенаго цирульника. Тотъ отвѣчаетъ: „Вѣдь, сударь, только между одними чиновными и благородными людьми есть такие, которые не знаютъ своей должности, а не между нашей братыи, подлецовъ“ ⁹⁷).

Иногда авторъ романа является моралистомъ. Такъ, напримѣръ, по поводу изображенныхъ имъ кокетокъ, и притомъ—не безупречной нравственности, онъ восклицаетъ: „Женщины, женщины! которые жалуетесь на то, что любовники ваши становятся къ вамъ непочтительны, зачѣмъ не стараетесь вы вселить въ нихъ почтеніе прежде еще, нежели вселите въ нихъ любовь? Вселить же къ себѣ почтеніе въ мужчину, каковъ бы онъ ни былъ, однимъ своимъ убранствомъ женщинѣ, право, невозможно“ ⁹⁸).

Типъ матери-кокетки (матери-кукушки, по изображенію Крылова) тоже есть у Измайлова: онъ выведенъ въ лицѣ г-жи Вѣтровой. Кормилица входитъ въ комнату съ ребенкомъ.—„Зачѣмъ ты, дура, принесла ко мнѣ этого плаксу?“—говорить ей Вѣтрова. „Слушай, не приноси его ко мнѣ впередъ, когда я тебѣ не прикажу, а то ты съ нимъ повадилась беспокоить меня каждое утро... пошла же вонь!“—И, обращаясь къ Евгению, прибавляеть: „Не повѣрите вы, какъ досадно имѣть дѣтей, а особенно маленькихъ... Если бъ не дѣти, не такъ бы я казалась старою“ ⁹⁹).

Заключая въ себѣ широкую картину современныхъ автору нравовъ, романъ Измайлова замѣчательенъ еще и тѣмъ, что въ общемъ ходѣ развитія нашей литературы онъ является звеномъ, соединяющимъ Екатерининское время съ послѣдующимъ. Съ одной стороны онъ есть какъ бы продолженіе сатирической литературы Екатерининского периода, и въ изображенныхъ въ немъ лицахъ мы

узнаемъ отчасти черты, принадлежавшія Ханжахиной, Чудихиной, Простаковымъ, Иванушкѣ и многимъ другимъ литературнымъ типамъ той эпохи; встрѣчаемъ письма родителей Евгения къ сыну, очень напоминающія помѣщавшіяся въ „Живописцѣ“ Новикова письма къ Фалалею; встрѣчаемъ даже разсказъ о торговцѣ фруктами, который никакъ не можетъ получить денегъ отъ задолжавшаго ему дворянину, и разсказъ объ употребленіи произведеній печати на папильоты¹⁰⁰), т.-е. встрѣчаемъ такие же разсказы, какіе есть и въ „Быляхъ и небылицахъ“ императрицы Екатерины; наконецъ чувствуемъ ту же грубоватость, шероховатость оболочки романа, какая была и у сатирическихъ произведеній Екатерининского времени. Но съ другой стороны — передъ нами довольно значительного объема *реальный* романъ, т.-е. такая литературная форма, которая впослѣдствіи съ такимъ успѣхомъ обрабатывалась нашими поэтами-художниками, и въ этомъ романѣ мы встрѣчаемъ типы, въ изображеніи которыхъ Измайлова является предшественникомъ позднѣйшихъ нашихъ писателей. Такимъ образомъ между Измайловымъ и этими писателями устанавливается известная историческая связь.

Въ „Русской Старинѣ“ 1900 г. помѣщена большая статья объ Измайлова¹⁰¹). Авторъ ея, Кубасовъ, излагая подробно біографію этого писателя и затѣмъ очерчивая литературную его дѣятельность, говоритъ между прочимъ и о романѣ: „Евгений“. „Романъ этотъ, повѣствующій о жизни и приключеніяхъ одного изъ представителей тогдашней дворянской *jeunesse dorée*“,—пишетъ Кубасовъ, — „далъ возможность молодому автору выказать замѣчательную наблюдательность. Въ небольшомъ сравнительно произведеніи^{*)} онъ успѣлъ широко охватить мрачныя стороны современного ему провинціального и городскаго дворянства, правда, заходя въ своихъ изображеніяхъ порой за границы требуемой отъ печатного произведенія благопристойности. Какъ бы то ни было, но романъ этотъ, какъ рядъ яркихъ бытовыхъ картинъ, объединенныхъ симпатичной идеей — показать пагубныя слѣдствія дурнаго воспитанія, доставилъ автору нѣкоторую известность“¹⁰²). Далѣе Кубасовъ замѣчаетъ:

„Роману Измайлова историкъ литературы долженъ отвести если не важное, то во всякомъ случаѣ далеко не второстепенное мѣсто въ ряду нашихъ первыхъ по времени романовъ уже потому, что «Евгений» одинъ изъ первыхъ, или, лучше сказать, пер-

^{*)} Однако въ триста съ лишнимъ страницъ, болѣе убористыхъ, нежели страницы Смирдинскихъ изданій.

вый русский реальный романъ, ибо ни въ одномъ изъ русскихъ романовъ до Измайлова мы не встрѣчаемъ такого реального изображенія нашего быта, какъ въ романѣ «Евгений». Картины, составленныя Измайловымъ, реальны и—надо отдать ему справедливость—фотографически точны: раскройте мемуары того времени, приподнимите сатирическій покровъ съ листковъ русскихъ сатирическихъ журналовъ конца прошлаго столѣтія—и передъ вами мелькнутъ портреты русскихъ людей, такъ поразительно схожіе съ портретами, даваемыми Измайловымъ. Отмѣтимъ при этомъ, что молодой авторъ затрогивалъ въ своемъ романѣ одинъ изъ жгучихъ вопросовъ того времени—воспитаніе и, показывая обществу похожденія Евгения, имѣлъ весьма серьезную и хорошую идею” ¹⁰³⁾.

Но далѣе цитируемый авторъ, переходя къ указанію слабыхъ сторонъ романа Измайлова, выражаетъ свою мысль не совсѣмъ ясно и какъ бы противорѣчить себѣ: раньше (въ юньской кн.) онъ призналъ картины Измайлова „объединенными“ симпатичной идеей“, а затѣмъ (въ августовской кн.) говоритъ, что читатель „не видитъ той объединяющей идеи, которая охватывала бы все произведение“ ¹⁰⁴⁾. Дѣлаемое критикомъ сравненіе романа Измайлова съ „Мертвыми душами“ Гоголя также не отличается ясностью. Намъ кажется, что авторъ статьи хотѣлъ сказать слѣдующее. Изображая своихъ героевъ, Измайловъ остается вѣренъ дѣйствительности, но съ ограниченіемъ: всѣ тѣ пороки, которые описываетъ романистъ, были въ обществѣ; но все же люди, ими отличавшися, были люди, и быть въ нихъ хоть какой-нибудь проблескъ Божьей искры. Между тѣмъ Измайловъ изображаетъ своихъ героевъ исключительно погрязшими въ порокахъ—и герои его потому возбуждаются только презрѣніе. Не то у Гоголя: „въ каждомъ герое его не трудно усмотрѣть всѣ человѣческія движения, и потому-то всѣ они возбуждаются къ себѣ глубокое сочувствіе въ душѣ читателя, у котораго найдется чувство жалости и состраданія даже и при взглядѣ на Плюшкина, эту «прорѣху на человѣчествѣ»“. Короче говоря, Измайловъ отлично умѣлъ изображать пороки человѣка, но не умѣлъ изображать самого человѣка: онъ не былъ хорошимъ психологомъ. Въ этомъ и заключается слабая сторона его романа ¹⁰⁵⁾. Да и трудно было не быть этой сторонѣ: авторъ былъ еще очень молодъ.

Осьмнадцати, не больше, лѣтъ
Урода этого я произвелъ на свѣтъ —

говорилъ онъ впослѣдствіи, опредѣляя время созданія своего романа.

Во времена Измайлова у насъ была распространена занесенная къ намъ изъ Франціи мода и на восточные сказки и повѣсти. Этой модѣ заплатилъ дань и Дмитріевъ своими „Воздушными башнями“ и В. Пушкинъ своимъ „Кабудомъ“. Ей заплатилъ дань и Измайлова, написавъ двѣ повѣсти: „Ибрагимъ и Османъ“ и „Наставлениѣ старого индійскаго мудреца молодому государю“. Первая изъ нихъ остается главнымъ образомъ въ сферѣ общей морали и проводить ту идею, что безъ труда и добра го сердца нѣтъ счастья. Наставлениѣ: „трудись, дѣлай добро—и будешь счастливъ“ авторъ повѣсти повторяетъ нѣсколько разъ. Но и въ этой повѣсти уже ясно видно желаніе автора коснуться специального вопроса—вопроса о правящей власти. Реформы молодого императора побудили изображать идеалъ правящей власти не одного Карамзина, но и другихъ писателей. Въ числѣ ихъ былъ и Измайлова. Идеалъ государя изображенъ имъ въ лицѣ Гаруна-Альрашида, о которомъ онъ говоритъ слѣдующее:

„Калифъ Гарунъ-Альрашидъ былъ мудрый и добрый государь. Подданные почитали и любили его. Да и какъ не почитать, какъ не любить такого государя, который дѣлаетъ все для пользы и славы своего народа! Онъ распространилъ просвѣщеніе въ своеемъ государствѣ; умножилъ человѣколюбивыя заведенія; уменьшилъ налоги и умножилъ государственные доходы, ободряя земледѣліе, промышленность и торговлю; устроилъ наилучшимъ образомъ войско, которое употреблялъ не для завоеванія чужихъ областей, но для защиты своего народа и союзниковъ; болѣе же всего подданные любили его за то, что онъ установилъ повсюду между ними строжайшее правосудіе. Кто былъ угнетаемъ властью сильного и тщетно искалъ въ судахъ для себя справедливости, тотъ находилъ наконецъ оную у престола калифа: ибо калифъ позволялъ въ такомъ случаѣ приносить себѣ жалобы не только письменно, но и словесно. Онъ выслушивалъ благосклонно даже послѣдняго ремесленника и поселянина, разыскивалъ самъ дѣло; и если открывалось, что принесшій ему жалобу дѣйствительно былъ притѣсненъ, то наказывалъ виновныхъ примѣрнымъ образомъ. Ложные доносчики и безразсудные просители, которые держали безпокоить калифа и похищать у него драгоцѣнное время, получали также каждый соразмѣрное съ своимъ преступленіемъ наказаніе. Всѣ знали, что калифъ былъ правосуденъ, и опасались дѣлать неправосудіе; всѣ знали, что калифъ, при величайшемъ хладнокровіи, имѣлъ чрезвычайную проницательность,—и опасались дѣлать ему неосновательные доносы. Съ начала вступленія

его на престолъ, когда онъ объявилъ, что будетъ принимать лично отъ всѣхъ жалобы, стали являться къ нему многочисленныя толпы людей разнаго состоянія. Дѣйствительно, много тогда между ними было утѣсненныхъ, но гораздо еще болѣе того клеветниковъ и безразсудныхъ, которые требовали, чтобы самое маловажное дѣло, въ противность установленнаго порядка, решено было въ ихъ пользу однимъ словомъ или начертаніемъ руки калифа. Послѣ однако того, когда калифъ сдѣлалъ вездѣ судьями людей свѣдущихъ и испытаний честности; когда суды незнающіе и беспечные лишены были своихъ мѣстъ, а корыстолюбивые получили позорное наказаніе; когда опредѣлено было ясно, въ какомъ точно случаѣ должно приносить лично жалобу калифу, то число просителей чрезвычайно уменьшилось; цѣлыхъ недѣли, а иногда и мѣсяцы не являлись просители къ калифу. Впрочемъ всякий, кто имѣлъ до него необходимую надобность, могъ свободно говорить съ нимъ во всякое время и во всякомъ мѣстѣ».

Вторая восточная повѣсть Измайлова есть уже очевидное обращеніе къ государю, лишь замаскированное восточной обстановкой. Такъ смотрить на нее и Кубасовъ и видѣть въ ней „желаніе автора преподать молодому монарху нѣсколько полезныхъ сонѣтовъ по части отношенія къ своимъ подданнымъ“ ¹⁰⁸⁾.

„О государь!“—говорить въ повѣсти старый индійскій мудрецъ: — „судьба сдѣлала тебя властелиномъ многочисленнаго и славнаго народа; но природа была къ тебѣ еще гораздо щедрѣе. Она дала тебѣ счастливыя способности, доброе сердце, обширный и здравый умъ. О государь! употреби во благо дары, даннныя тебѣ природою, употреби во благо и мои наставленія“.

„Никто не имѣть столь много способовъ дѣлать добро, какъ государь. Простой гражданинъ не можетъ иногда во всю жизнь свою принести столько пользы, сколько государь въ одинъ часъ, въ одно мгновеніе. Итакъ, имѣй всегда единственную цѣлью, единственнымъ предметомъ—благо народа, вѣреннаго твоему управлѣнію. Береги время болѣе всѣхъ сокровищъ: время для государей неоцѣненно“.

„Безъ труда не вкушаютъ никогда прямого удовольствія; безъ труда человѣкъ бываетъ ниже всякаго животнаго; безъ труда нельзя пріобрѣсти славы и бессмертія. Но труды заслуживаютъ уваженія по мѣрѣ происходящей отъ нихъ пользы. Занимайся, государь, одними великими дѣлами, т.-е. пользою своего народа,—и ты будешь великимъ государемъ“.

„Сладострастіе, роскошь и нѣга должны занимать только слабыя и низкія души. Великій человѣкъ ищетъ не чувственныхъ удовольствій, но нравственныхъ. Чѣмъ болѣе встрѣчаетъ онъ препятствій въ благородныхъ своихъ намѣреніяхъ и подвигахъ, тѣмъ болѣе пріобрѣтаетъ себѣ славы. О государь! ты служишь здѣсь, на землѣ, изображеніемъ Верховнаго Существа: уподобляйся же Ему, сколько можешь, и старайся не имѣть слабостей, унижающихъ человѣчество“.

„Бремя правленія слишкомъ тяжело для одного государя, ибо онъ человѣкъ. Но тягость сю могутъ тебѣ облегчить многіе изъ твоихъ подданныхъ. Ищи съ разборчивостью достойныхъ людей, и ты, вѣрно, ихъ найдешь. Давай мѣста и должности по способностямъ и достоинствамъ; а не по роду и другимъ случайнымъ преимуществамъ. Всякое мѣсто будетъ тогда занимаемо съ похвалою; всякая должность будетъ исправляема съ желаемымъ успѣхомъ“...

„Награждая заслуги и добродѣтели, наказывай преступленія и пороки. Въ семъ-то состоить прямой долгъ государя... Правосудіе есть отличительное свойство мудраго правителя“.

„Будь другомъ просвѣщенія. Ободряй науки, художества и самая ремесла. Никакое государство не можетъ быть совершенно счастливо безъ просвѣщенія; а просвѣщеніе, такъ какъ и промышленность, безъ ободренія не могутъ быть въ цвѣтущемъ состояніи“.

„Будь благодѣтелемъ своихъ подданныхъ, будь отцомъ и утѣшителемъ несчастныхъ. Вдовы и сироты суть твои дѣти. Твоя рука должна отереть ихъ слезы, твоя рука должна дать имъ пищу и доставить убѣжище. Употребляй сокровища свои не на суетное великолѣпіе и пышность, но на пользу своихъ подданныхъ. Поощряй трудолюбіе, доставляй способы всякому снискивать себѣ пропитаніе—и въ твоемъ государствѣ не будетъ тунеядцевъ и нищихъ“.

„Шади кровь и даже самый потъ своихъ подданныхъ. Не обременяй ихъ излишними налогами и не начинай никогда войны безъ необходимой нужды. Заставь трепетать своихъ сосѣдей твоего оружія, но и увѣрь народъ свой, что кровь его и спокойствіе для тебя драгоцѣнны“.

„Я увѣренъ, что сіи мои наставленія не возбудятъ твоего гнѣва. Мудрый не пренебрегаетъ ничими совѣтами, но рассматриваетъ оные и слѣдуетъ имъ, когда чувствуетъ ихъ пользу“.

„Позволяй вѣмъ говорить себѣ правду. Слушай ее и загради слухъ твой лести. Лесть погубила многое государей; но любовь къ истинѣ многимъ изъ нихъ доставила бессмертіе“.

Здѣсь кстати упомянуть о соперникѣ Измайлова въ восточныхъ повѣстяхъ—Бенитцкомъ, который былъ одаренъ значительнымъ литературнымъ талантомъ и писалъ художественнѣе и лучшимъ языкомъ, нежели Измайлова.

Александръ Петровичъ Бенитцкій (1780—1809), воспитанникъ пансіона Шадена, прослуживъ нѣкоторое время въ арміи, служилъ потомъ при Комиссії составленія законовъ. Какъ литераторъ, онъ славился главнымъ образомъ, какъ хороший повѣстователь: разсказъ его отличается живостью, остроуміемъ и чистымъ, пріятнымъ языкомъ. Изъ восточныхъ повѣстей его наиболѣе извѣстны: „Бедуинъ“ и „На другой день“. Первая и теперь еще не забыта: она помѣщена въ третьей части „Русской хрестоматіи“ Н. Покровскаго. Содержаніе ея заключается въ со-поставленіи двухъ лицъ: турка Османа и бедуина. Первый надмененъ, хвастливъ и презираетъ бедуина, какъ человѣка, принадлежащаго къ народу, который, по словамъ Османа, „не что иное, какъ шайка разбойниковъ“. Турки же,—говориль онъ,— „издавна славятся по всему Востоку храбростью, добродушіемъ и милосердіемъ“. Между тѣмъ на дѣлѣ оказывается, что эти три качества и есть у бедуина; Османъ же обнаруживаетъ трусость, жестокость и мстительность. Выводъ изъ повѣсти выраженъ словами бедуина: „Замѣть себѣ, Османъ, что вездѣ есть добродѣтельные люди, вездѣ есть и злые“.

Гораздо значительнѣе по содержанію повѣсть, или, какъ она названа авторомъ, индійская сказка: „На другой день“, напечатанная въ журнале: „Цвѣтникъ“ 1809 г., № 1. Завязка ея романническая, но въ развязкѣ затрагивается серьезный общественный вопросъ.

Нарудъ, багарскій набабъ, влюбляется въ дочь воина—Ониду. Долго разбирается браминомъ и факиромъ вопросъ о томъ, „что должно дѣлать въ такомъ случаѣ, когда набабу понравится красавица“. Браминъ въ рѣшеніи вопроса руководится своими корыстными цѣлями, факиръ—аскетической философией.—Неудовлетворенный набабъ посыпаетъ вопросъ свой въ бенаресскій университетъ, но и отъ него не добивается толку; не разрѣшилъ его и знаменитый врачъ Рааръ, „коего слава гремѣла на сорока трехъ кладищахъ“. Въ разсказѣ объ этомъ разрѣшеніи вопроса внесено авторомъ многое неподдѣльного юмора. Кончилось дѣло

наконецъ тѣмъ, что набабъ рѣшился послѣдовать одному вну-
шенію сердца — и отправился объясниться съ своей краса-
вицей.

— Онида, прекрасная Онида! что долженъ сдѣлать чело-
вѣкъ, который ищетъ любви твоей? что долженъ сдѣлать я,
дабы снискать взаимную любовь Ониды? — спрашиваетъ набабъ у
дѣвушки.

— Подвергнуться испытанію, — отвѣчаетъ ему та.

— Испытаніе мое, государь, начну я *на другой день*.

Долго приходилъ Нарудъ къ Онидѣ, и она все говорила
ему, что испытывать его будетъ *на другой день*.

Наконецъ начинается главная часть повѣсти. Потерявшій
терпѣніе набабъ является къ Онидѣ, и между ними происходитъ
такой разговоръ:

— Умоляю тебя не упоминать болѣе ненавистнаго слова:
на другой день; оно безконечно какъ вѣчность, мучительно какъ
адъ; ахъ, или мало еще терпѣль я отъ него?

„Вѣрно менѣе, нежели я и несчастный отецъ мой!“.

— Менѣе? несчастный? — ты плачешь? менѣе?

„Увы, мы много, слишкомъ много потерпѣли отъ сего ужас-
наго слова!“

— Правосудный Бримгъ, что я слышу? объяснись, прекрас-
ная; заклинаю тебя, объяснись!

„Буду откровенна передъ моимъ государемъ; не утаю ни-
чего, ибо надѣюсь оказать услугу ему и всѣмъ его подданнымъ;
надѣюсь, что, открывъ злоупотребленіе приближенныхъ его, за-
крою раны страждущаго человѣчества“.

„О Нарудъ, Нарудъ! ты заблуждался, думалъ, что ~~есть~~ не-
счастныхъ въ твоемъ владѣніи! Отецъ мой служилъ ~~въ~~ въ войскахъ
твоего родителя пятьдесятъ лѣтъ; старость и болѣзни принудили
его покинуть знамена твои черезъ годъ по восшествіи твоемъ на
престолъ. Заслуги позволяли ему надѣяться получить награду,
определенную законами; но исполнители законовъ предали заб-
венію долговременную его службу и славные подвиги; они из-
вѣстны были одному покойному государю“.

— Имя отца твоего?

„Беккиръ“.

— ... Онида, ты несправедлива: подвиги Беккировы и мнѣ
извѣстны; но я никогда не видалъ его въ моихъ чертогахъ.

„Ибо доступъ подданному къ тебѣ труднѣе, нежели грѣшнику
къ вратамъ рая“.

— И я слышу объ этомъ въ первый разъ? и.найры (дворяне) не стыдятся прославлять мое милосердіе?

„Отецъ мой прибѣгнулъ къ твоему намѣстнику“.

— Къ моему другу, Онида, къ моему истинному другу.

„Твой другъ и намѣстникъ отказалъ ему“.

— Отказалъ!

„Но до отказа своего приказывалъ, просилъ приходить *на другой день* цѣлый годъ, межъ тѣмъ какъ мы часто не имѣли на другой день пропитанія“.

Далѣе набабъ узнаетъ, что другое лицо, которое тоже могло помочь Беккиру, приказывало приходить ему *на другой день* ровно полтора года—и наконецъ отказалось ему въ просьбѣ совершенно.

Возмутилось благородное сердце набаба; онъ наказалъ виновныхъ, торжественно объявилъ Ониду своей невѣстой, и въ его правлениѣ больше „не было употребляемо слово: *на другой день*“. Но по смерти его хитрые брамины придумали другое слово, которое значитъ точь-вѣ-точъ то же, что и то, которое перестали употреблять при Нарудѣ. Слово это—*завтра*¹⁰⁷⁾.

Басни и сказки Измайлова.

Ихъ предметъ, рѣзкій тонъ автора и благородное его намѣреніе.—Вопросъ объ ихъ самостоятельности, о принадлежности ихъ къ извѣстному виду, о захватываемомъ ими кругъ людей. — Цинизмъ изображенія въ нихъ.—Впечатлѣніе, производимое ими на читателя.—Образная характеристика баснописца.

Въ романѣ: „Евгений“ уже опредѣлилось направленіе литературной дѣятельности Измайлова: его талантъ состоялъ главнѣйшимъ образомъ въ изображеніи темныхъ сторонъ современаго ему общества, и онъ, слѣдуя внушенію своего таланта, и посвятилъ самую значительную часть своихъ произведеній именно изображенію современныхъ недостатковъ и пороковъ. Почувствовавъ, что романъ—форма, которая не совсѣмъ-то ему далась, онъ занялся баснями — и впослѣдствіи считалъ ихъ лучшими своими твореніями. Какъ въ романѣ, такъ и въ басняхъ онъ прежде всего является обличителемъ. Обличителемъ остается онъ и въ тѣхъ небольшихъ пьескахъ, которые въ изданіи его сочиненій названы „сказками“.

Между баснями и сказками Измайлова есть не мало такихъ, которые касаются современного ему чиновничьяго міра. Такъ, напримѣръ, одна изъ нихъ осмѣиваетъ тогдашній судъ и обри-

совываетъ положеніе тяжущихся. Басня эта названа: „Устрица и двое прохожихъ“. Два пріятеля, гуляя по морскому берегу, нашли устрицу—и заспорили, кому изъ нихъ воспользоваться ею.

Еще у нихъ продлился бѣ споръ,
Когда бѣ не подоспѣль судья къ нимъ *Миротворъ*.
Онъ началъ съ важностью, по формѣ, судъ допросомъ,
Взялъ устрицу, открылъ—
И проглотилъ.
„Ну, слушайте—сказалъ—теперь опредѣленье:
По раковинѣ вами дается во владѣніе;
Ступайте съ миромъ по домамъ“.

Въ заключеніи авторъ говоритъ:

Всѣ тяжбы выгодны лишь стряпчимъ да судьямъ.

Еще рѣзче осмѣянъ старинный судъ въ баснѣ: „Скотское правосудіе“, которую авторъ и начинаетъ и заканчиваетъ выражениемъ своего негодованія.

*Не бойся, говорятъ, суда,
А бойся вотъ суды. И то бѣда:
Какъ секретарь доложитъ,
Такъ и судья плохой положитъ.
Напоруютъ цѣлую тетрадь,
Пропишутъ, спутаютъ, завяжутъ—
И грамотному не понять,
А настоящаго и главнаго не скажутъ.*

Далѣе слѣдуетъ самая басня.

Левъ сдѣлалъ приставомъ собаку при овцахъ.
Волкамъ собака—страхъ.
Одинъ изъ нихъ хотѣлъ ягненкомъ поживиться.
Схватилъ его и въ лѣсъ понесъ;
Но нагналь вора вѣрный песъ,
И долженъ былъ волкъ ужина лишиться
Да клокомъ шерсти поплатиться.
Волкъ съ жалобою въ судъ идетъ
(Осель тамъ былъ судья, а секретарь—лисица,
Докладывать большая мастерница),
Гусенка на поклонъ секретарю несетъ.
Докладъ лисица подаетъ:
Отъ слова до слова прошенье прописала,
Законы подвела,
Но обѣ ягненкѣ не сказала.
И какъ сказать? она при дѣлѣ не была.
И вотъ, безъ всякихъ справокъ
И безъ очныхъ, какъ должно, ставокъ,

Послѣдовалъ журналъ, что, „въ силу скотскихъ правъ,
За оскорбленье волчье чести
И вырваньемъ съ азартомъ шерсти,
Взыскать съ собаки должно штрафъ,
Безчестье и увѣчье;
А стадо все овечье
Пріятелю на время поручить.
Собаку же отъ мѣста удалить,
Для соблюденья пользы львиной“.

Заканчивается басня такъ:

Что дѣлаетъ докладъ лисы и судъ ослиный,
Особенно вдали, въ глухи!
По дудки ихъ тамъ и мляши.

Очень хороша, по живости изображенія и правдивости передачи, сказка: „Приказные синонимы“, гдѣ рѣчь идеть о взяткахъ.

Какой-то человѣкъ имѣлъ въ приказѣ дѣло.
Онъ правъ былъ и богатъ; итакъ, взявъ денегъ, смѣло
Къ секретарю раненонъко идеть,
Челомъ ему, а самъ мошонку вынимаетъ,
И передъ нимъ на столъ крестовики кладеть.
Тотъ, бросивши перо, просителя сажаетъ,
Но съ денегъ самъ не сводитъ глазъ.
„Вчерашняго числа въ приказѣ
Я подалъ, батюшка, прошенье...“
— Читаль его, ты правъ! все знаю! — „А рѣшенье
Когда послѣдуетъ? осмѣлюся спросить“.
— Да стоитъ только доложить...
А тамъ и въ городъ свой ты можешь убираться,
Чѣмъ здѣсь напрасно проживаться! —
„Счастливо жъ оставаться!“
Проситель черезъ день пришелъ опять въ приказъ.
„Что жъ, батюшка, указъ
По дѣлу моему? Когда бъ сегодня можно...“
— Вѣдь я сказалъ тебѣ, что доложить мнѣ должно. —
Проситель принужденъ былъ съ мѣсяцъ тутъ прожить
И слышалъ то жъ да то: лишь только доложить.
Не зналъ, что дѣлать, человѣтчикъ;
Но сжалился надъ нимъ повытчикъ.
„Ну, полно, не тужи“,
Шепнулъ онъ такъ ему: „всю правду мнѣ скажи:
Чтѣдаль секретарю? — Да двадцать пять цѣлковыхъ. —
„Ну, такъ десяточекъ еще ты доложи,
Да мнѣ пять рублейковъ. Учи васъ, безтолковыхъ!
Не смыслите, что доложить
Все то же, что и приложить.

Фунтъ чаю взять еще съ тебя за объясненье!“

Истецъ исполнилъ все тотчасъ,
И на другой же день какъ-разъ
Поспѣлъ экстрактъ, опредѣленье—
И выдали ему указъ.

Это тонкое обращеніе секретаря съ истцомъ напоминаетъ позднѣйшія судейскія тонкости, которая описываетъ Гоголь въ XI-й главѣ „Мертвыхъ душъ“, когда изображаетъ Чичикова, какъ чиновника, принимающаго просителя ^{108).}

Подобное же взиманіе взяточъ изображено и въ сказкѣ: „Такъ, да не такъ“, гдѣ выставленъ „воевода“, который „безъ взяточъ дня пробыть не могъ“.

Однажды поутру пришелъ къ нему пріятель,
Питетныхъ сбровъ содергатель,
И говорить: „Изъ Питера сейчасъ
Я получилъ письмо; мнѣ пишутъ, что въ правленье
Къ вамъ съ той же почтою отправится указъ
Сената, чтобы мнѣ отдать за долгъ имѣніе
Корнета Тройкина. Вотъ дѣлай одолженіе!
Наличныхъ у меня взялъ тысячу шестьдесятъ,
А за имѣніе дадутъ ли пятьдесятъ!...
Но самъ я виноватъ; введите во владѣніе“.—
— Не можно, братецъ, сдѣлать такъ.—
„Какъ?
Сенатъ велѣлъ, такъ сдѣлать должно“.
— Конечно, только такъ не можно.—
„Помилуйте, сенатъ...“
— Все знаю, братъ!
Пускай велѣлъ сенатъ отдать тебѣ имѣніе:
Мы по сенатскому указу исполненіе
Сегодня жъ сдѣлаемъ,—однако, все не такъ...
„Ахъ, извините! Ну, какой же я дуракъ!
Забылъ вамъ доложить: ко мнѣ вчера прислали
Изъ Оренбурга двѣ прекраснѣйшія шали;
Изъ нихъ одну...“
— Да обѣ ужъ пришли: я подарю женѣ,
Другую дочери.—Проситель поклонился,
И съ шалями чрезъ пять минутъ назадъ явился.

Послѣ этого указъ о вводѣ во владѣніе былъ написанъ тотчасъ же. Сказка оканчивается слѣдующими двумя стихами:

Вотъ воевода мой хоть глупъ, но не дуракъ:
Онъ ничего не дѣлалъ такъ.

Есть у Измайлова и крайне грубые, циническіе типы взяточниковъ, „не имѣющихъ стыда“: они берутъ и съ просыпя, бе-

рутъ и съ его соперника—и рѣшаютъ дѣло въ пользу того, кто больше даль. Таковъ, напримѣръ, совѣтникъ, выведенный въ сказкѣ: „Карета и лошади“: проситель подарилъ ему карету, а его соперникъ—четверку лошадей. Лошади оказались дороже кареты, и подарившій ихъ выигралъ дѣло. Характеристика этого совѣтника, а вмѣстѣ съ тѣмъ—и тогдашняго суда, такова:

... совѣтникъ былъ дѣлецъ,
Великій взяточникъ, невѣжда и законникъ:
Указъ прибравши на указъ,
Оправить всякаго за денежки какъ-разъ.
Когда напишеть самъ экстрактъ, опредѣленье,
Хоть юрисконсультамъ отдай на разсмотрѣніе:
Въ законахъ пропуска, ей Богу, не найдутъ,
А дѣла не поймутъ:
Такъ спутаетъ, такъ свяжетъ,
И бѣлымъ наконецъ вамъ черное покажетъ.
Кто больше дастъ ему, тотъ у него и правъ.

Маленькая пьеска: „Фонарь“, напоминающая „Сычей“ Вас. Пушкина, пытается указать и причину темныхъ явлений въ тогдашнемъ судейскомъ мірѣ.

Поставили на улицѣ фонарь—
И уняли ночного вора.
Плутъ секретарь
Остерегается прямого прокурора.
То ль дѣло воровать въ потьмахъ!
То ль дѣло командиръ, который не читаетъ,
Не смыслить ничего въ дѣлахъ,
А подпись своей бумаги утверждается!
Хвала отъ всѣхъ воровъ, воришекъ—темнотѣ,
Невѣжеству и глупой добротѣ.

Невѣжество было, конечно, главной причиной зла; но развиваться злу способствовало и самое устройство тогдашнихъ нашихъ судовъ.

Казнокрадство также не миновало сатиры Измайлова. Въ сказкѣ: „Смѣтливый экономъ“ представленъ чиновникъ, получающій въ годъ 396 рублей жалованья, а между тѣмъ онъ „въ пять-шесть лѣтъ себѣ построилъ домъ, по крайней мѣрѣ, тысячу восто“. Характеристика казнокрада написана въ видѣ разговора между нимъ и авторомъ.

„А что, Климъ Сидорычъ“, я у него спросиль:
„Воруешь ты? Скажи всю правду-матку,
Скажи пожалуйста“.—На что тебѣ? Ха! ха!
Самъ знаешь, кто же безъ грѣха? —

„А много ль въ годъ?“—Ну, тысячъ до десятку,
А можетъ быть — и слишкомъ два. —
„Вотъ ты купилъ теперъ дрова...
Почемъ?“—По десяти, и то едва-едва
Знакомый уступилъ: зато дрова какія!
Осины нѣтъ, все березнякъ!—
„Какую жъ цѣну въ счетъ поставиши ты? Двѣнадцать?“
— Избави, Господи! да что я за дуракъ! —
„Неужели тринадцать?“
— Смѣшень ты, право, мнѣ!—„Четырнадцать? Пятнадцать?“
— Да, какъ тебѣ не такъ!
По десяти купилъ, по десяти поставлю;
Знай, никогда въ цѣнѣ полушки не прибавлю.
Но сажень сотъ пятокъ я у себя оставлю.

Басни и сказки Измайлова вообще очень богаты современностью: какъ въ романѣ его, такъ и въ этихъ маленькихъ произведеніяхъ можно найти не мало современныхъ автору типовъ, конечно—типовъ отрицательныхъ, которые и любилъ изображать Измайлова. Вотъ, напримѣръ, хороший портретъ спесивой городской барыни, изъ тѣхъ, которыхъ дѣйствительно можно было называть „дворянками-буянками“, какъ и назвалъ ее авторъ въ заглавіи своей сказки.

Одна изъ городскихъ и самыхъ важныхъ дамъ,
По долгу христіанки
Вошедши въ Божій храмъ,
Плыть, поднявши носъ, какъ гордяя дворянки,
Которая крестьянъ, изъщанъ
Едва ли чутъ за христіанъ;
Жеманится, пыхтитъ. Лакей большой предъ нею.
Но въ церкви тѣснота—прохода не даютъ.
„Что ты зѣваешь, плутъ?“
Кричитъ она лакею:
„Не можешь растолкать, уродъ,
Приказныхъ этихъ модницъ,
Чепечницъ и купчихъ платочницъ?
Пусти меня впередъ!“
И барыня моя—нѣтъ, барышня, дѣвица,
Рванулася впередъ, какъ львица.
Съ отважностью лихого мясника,
Который съ братіей своей изъ кабака
По площади бѣжитъ рвать голову съ быка,
Идетъ она и всѣхъ толкаетъ подъ бока
На обѣ стороны локтями,
Ступаетъ съ форсунъ каблуками
На ноги секретаршъ смиренныхъ и купчихъ,
Да и ворчитъ еще на нихъ.
Вотъ вдругъ впередъ взглянула:

Стоитъ смиренехонько тутъ барышня одна,
Одѣта запросто и молится она.
Злодѣйка таѣъ ее толкнула,
Что та упала на амвонъ.—
Раздался вопль и стонъ.
Діаконъ оглянулся —
И содрогнулся.
Но чѣмъ же кончилось? — Она остановилась,
Не извинилась,
И Богу съ важностью дворянской помолилась;
Потомъ же на уборы дамъ
Глядѣла и косилась.

Разсказавъ сказку, авторъ изливаетъ свое негодованіе слѣдующимъ образомъ:

О стыдъ! о срамъ!
И это сдѣлала дворянка и дѣвица?
Проклятая срамница!
Будь я архіерей
Или хоть протоіерей,
То, право бѣ, проучилъ злодѣйку:
На паперти бѣ ее поставилъ у дверей,
Вздѣвъ ожерелье ей желѣзное на шейку *).
Сошлось бы множество народа поглядѣть.
Дай, Господи, ей вѣкъ весь въ дѣвкахъ просидѣть!

Деспотическое отношеніе къ крѣпостнымъ слугамъ обрисовано въ сказкѣ: „Капризъ госпожи“.

„Послушай, маменька, мой другъ“,
Супругъ говорилъ супругѣ:
„Ванюшка давича мнѣ въ ноги повалился...“
— Что, вѣрно, пьянь вчера напился?
Ну, папенька, прости для праздника его. —
„Нѣтъ, маменька, не то: онъ, знаешь ли, влюбился“.
— Влюбился! а въ қого?
„Да въ горничную Катерину:
Охото идетъ Катюша за него“.
— Велю я положить женитьбу имъ на спину! —
„Ты шутишь?“ — Никогда я съ вами не шучу!
Жените ихъ, а я ужъ на своеимъ поставлю:
Въ деревню ихъ отправлю
И тамъ свиней пасти заставлю.
Вотъ вздумали женить слугу!
Да я, сударь, терпѣть женатыхъ не могу.

*) Въ старину надѣвали въ церквяхъ желѣзные ошейники на тѣхъ, которые дѣлали тамъ какое-либо безчиніе. Ошейники сіи прикованы были цѣпью къ стѣнамъ. (Примѣч. изъ изданія 1891 года).

Сказка эта напоминаетъ то мѣсто въ комедіи императрицы Екатерины: „О время!“, гдѣ г-жа Ханжакина, разсерженная просьбой слуги позволить ему жениться, „велѣла его высѣчь и положить женитьбу ту на спинѣ“.

Въ сказкѣ: „Обманчивая наружность“ представленъ интересный типъ помѣщика, интересный по сочетанію въ немъ такихъ чертъ, какъ любовь къ роскоши, хлѣбосольство, самодурство, достаточительность и—ростовщичество. Жилъ онъ въ своей подмосковной, гдѣ имѣлъ огромный домъ, паркъ, оранжереи, звѣриецъ, свой оркестръ, своихъ актеровъ, актрисъ, пѣвицъ и танцовщицъ—изъ крѣпостныхъ; держалъ трехъ французовъ и двѣ сотни собакъ; имѣлъ 5000 душъ и—милліонъ долгу; „къ своимъ собакамъ звалъ сосѣдскихъ по билетамъ; рожденье праздновалъ любимыхъ лошадей“, и при всемъ томъ—давалъ деньги подъ залогъ.

Случалось иногда—бралъ туфли онъ въ закладъ,
Халатъ, кушакъ, иль шапку, или миску.

Иной типъ ростовщика указанъ въ сказкѣ: „Собака и воръ“. Этотъ былъ

Обманщикъ, . . . скупецъ,
Ну, настоящій жидъ, а впрочемъ христіанинъ:
Посты онъ свято наблюдалъ,
Заутрени не пропускалъ,
И по полуշкѣ въ день на рубль процентовъ бралъ.

Тутъ кстати упомянуть и о сказкѣ: „Совѣсть разбойника“, гдѣ Измайлова, выводя, подобно Загоскину (въ „Юрій Милославскому“), разбойника, который боится не соблюдать поста, а людей убиваетъ съ хладнокровнымъ сердцемъ, заканчиваетъ свой разсказъ замѣчаніемъ:

И не разбойники за грѣхъ большой считаютъ
Въ посты оскоромиться, обѣдни прогулять,
А ближняго оклеветать,
Имѣніе и съ нимъ нерѣдко жизнь отнять—
Въ достоинство еще и въ честь себѣ виѣняютъ.

Сатира Измайлова коснулась и пьянства. Лучшимъ произведеніемъ его на эту тему можно считать сказку: „Пьяница“, герой которой взять не изъ простонародья, а изъ чиновничьей среды: это—нашъ *квартальный старинныхъ временъ*.

Пьяношкинъ, отставной квартиральный,
Совѣтникъ титулярный,
Исправно насандаливъ носъ,

Въ худой шинелишкѣ, зимой, въ большой морозъ,
По улицѣ шелъ утромъ и шатался.
На встрѣчу кумъ ему, майоръ Петровъ, попался.
„Мое почтеніе!“—А! здравствуй, Емельянъ
Архиповичъ! да ты, братъ, видно,
Уже позавтракалъ! Ну, какъ тебѣ не стыдно?
Еще обѣдъ нѣть, а ты, какъ стелька, пьянь!—
„Ахъ, виноватъ, мой благодѣтель!
Вѣдь съ горя, мой отецъ!“—Такъ съ горя-то и пить?—
„Да какъ же быть?
Вотъ Богъ вамъ, Алексѣй Ивановичъ, свидѣтель:
Бѣть нечего; всѣ дѣти босикомъ;
Жену оставилъ я съ однимъ лишь пятакомъ.
Гдѣ взять? Давно уже безъ мѣста я, несчастный!
Сгубилъ меня разбойникъ приставъ частный!
Я до отставки не пивалъ:
Спросите, скажетъ весь кварталъ“.

Сжалился надъ Пьяношкинымъ майоръ Петровъ и далъ ему
„полсотенки рублей“.—„Вотъ крестникамъ снеси!“

Летитъ Пьяношкинъ нашъ,—откѣль взялися ноги,—
И чутъ-чуть не упалъ разъ пять среди дороги.
Летитъ... домой?—О, нѣть!—Неужели въ кабакъ?
Да, какъ бы вамъ не такъ!
Въ трактирѣ, а не въ кабакъ, зашелъ; чтобы промѣна
Съ бумажки бѣленькой напрасно не платить,
Спросилъ ветчинки тамъ и хрѣна,
Немножко такъ перехватить,
Да рюмку водочки, потомъ бутылку пива,
А послѣ пуншику стаканъ,
Другой... и наконецъ—о диво!—
Пьяношкинъ напился уже мертвѣцки пьянь;
Къ несчастію, еще въ трактирѣ онъ подрался,
А съ кѣмъ, за что—и самъ того не зналъ;
На лѣстницѣ споткнулся и упалъ,
И весь, какъ чертъ, въ грязи, въ крови перемарался.
Вотъ вечеромъ его по улицѣ ведутъ
Два воина осанки важной,
Съ сѣкирами, въ бронѣ сермяжной.
Толпа кругомъ. И кумъ, гдѣ ни возьмися тутъ,
Увидѣлъ, изумился,
Пожалъ плечами и спросилъ:
—Что? вѣрно, съ горя ты, бѣднякъ, опять напился?—
„За здравіе твое отъ радости я пилъ!“

Подмѣчалъ иногда Измайлова недостатки и въ крестьянской
средѣ. Въ этомъ отношеніи замѣчательна басня: „Крестьянинъ и
кляча“: въ ней, кромѣ очень типичнаго изображенія глупаго кре-

стянина, не умѣвшаго поберечь своей лошади, есть еще нѣсколько-ко стиховъ, которыми авторъ застуился за животныхъ.

„Ну, матушка!.. о дьяволъ! стала!“—
Филатъ такъ клячъ говорилъ
Въ лѣсу, гдѣ дровъ онъ пропасть нарубиль
И возъ престрашный навалиль:—
„И съ мѣста не сошла еще, уже устала!
Дворянка!.. я тебѣ вотъ дамъ!“
При словѣ сѣмъ скватилъ Филатъ мой хворостину,
И ею ну возить онъ бѣдную скотину
И по спинѣ и по бокамъ.
Упала кляча на колѣни,
Какъ будто милости хотѣла симъ просить;
Филатъ неумолимъ, терпѣть не можетъ лѣни,
И продолжаетъ бить.
Приподнялась она тутъ, нѣхотя на ноги
И қой-қакъ потащила возъ.
„Пошла! пошла! легко: смотри, какой морозъ!“
Но кляча стала вдругъ опять среди дороги,
И далѣе нѣдетъ.
Опять Филатъ ее съ плеча дубиной бѣть.
Упала бѣдная — и уже не встаетъ,
Не тронется, не шевелится.
Филатъ, примѣтя то, дивится—
Посмотрѣть: кляча умерла!
Какъ взвоетъ мой мужикъ: „Одна лишь и была
Лошадушка — и та вотъ пала!
Пропала голова моя теперь, пропала!
Чѣмъ прогнѣвилъ тебя, о Господи, Филатъ?“
А самъ, бездѣльникъ, виноватъ.

Конецъ басни такой:

Ужъ нечего сказать, крестьяне
Какъ мучать бѣдныхъ лошадей!
Не хуже, право, чѣмъ людей
Въ какой-нибудь глуши дворяне.

Современностью отличаются и тѣ басни и сказки Измайлова, въ которыхъ онъ нападаетъ на стихотворцевъ. Мы уже упоминали, что во время Измайлова развилась у насть стихоманія. Онъ, самъ будучи большимъ любителемъ писать стихи и слагать ихъ при всякомъ удобномъ случаѣ, тѣмъ не менѣе осмѣивалъ бездарныхъ стихослагателей и такихъ риѳмачей, которые злоупотребляли своими стихами, имѣя въ виду корыстную цѣль. Бездарность стихотворца осмѣяна Измайловымъ, напримѣръ, въ бас-

нѣ: „Гора въ родахъ“. Приведя извѣстный разсказъ о томъ, какъ гора родила мышонка, авторъ говоритъ:

Но это старая, всѣ знаютъ, побасенка;
А вотъ я былъ скажу: одинъ поэтъ писалъ
 Не день, не два, а цѣлый мѣсяцъ сряду,
 Чернилъ себя, крестиль, маралъ;
Потомъ, друзей созвавъ, предъ ними прочиталъ...
 Шараду.

Съ другой стороны и плодовитость не всегда есть признакъ дарованія. На плодовитыхъ, но бездарныхъ борзописцевъ сложена Измайловымъ басня: „Львица и свинья“. Похвалялась свинья тѣмъ, что она можетъ приносить вдругъ цѣлую дюжину дѣтей, между тѣмъ какъ львица родить только одного дѣтеныша, да и то не каждый годъ. Но львица дала ей понять, что она родить льва, а свинья—поросятъ. Въ заключеніи басни авторъ замѣчаетъ:

Георгики писалъ Виргилій девять лѣтъ;
А право, въ девять дней у нашего Вралева
 Поэма можетъ быть готова.
Зато Вралевъ—риемачъ, Виргилій же—поэтъ.

Въ баснѣ: „Яшка-поваръ“ Измайловъ замѣтилъ, что поспѣшность можетъ быть вредна и при даровитости писателя. Яшка былъ малый смышленый,

И то, надъ чѣмъ иной потѣхъ
Обыкновенно цѣлый часъ,
Въ минуту у него поспѣхъ.

Зато онъ то пересолить, то пересушить. Такъ и
Иной писатель поспѣхъ,
Да всѣхъ и насыщить.

Изображеніе стихомановъ Измайловъ доводилъ иногда до степени карикатуры. Такимъ является оно въ его сказкѣ: „Встрѣча двухъ подругъ“. Впрочемъ, „не смотря на утрировку представленія, перешедшаго границы правдоподобія“,—говоритъ Галаховъ,—„рассказъ любопытенъ, потому что изъ него можно видѣть, до чего доходила нѣкогда метроманія“ ¹⁰⁹). Двѣ дамы, бывшія подруги, встрѣтились въ гостиномъ дворѣ. У одной мужъ богатъ, скучъ и ревнивъ, а у другой—„и старъ и глупъ, и къ этому же — стихотворецъ“. Онъ своими стихами уморилъ уже двухъ женъ и не даетъ покою третьей. Не успѣли подруги разговариться, какъ уже подходитъ къ нимъ злодѣй-стихотворецъ,

а также и мужъ-ревнивецъ, совѣтникъ Проваловъ, и авторъ да-
лѣ ведетъ свой разсказъ такъ:

—А у меня посланье есть!
(Вскричалъ, къ нимъ подошедши,
Риемачъ сѣдой и сумасшедший).
Анюта, знаешь ли? тебѣ я написалъ
Прелестный мадригалъ.
Послушай . . . — „Батюшка! да постыдись народу
И дай съ знакомыми ты мнѣ поговорить“.
— А сиѣю васъ, сударь, спросить,
Читали ли вы оду
На погребеніе Прибыткина купца?
У Холмогорскаго пѣвца,
Ей Богу, нѣтъ такої! Войдемте въ эту лавку;
Я оду вамъ прочту, да притчей пять въ прибавку. —
Сказаль и за воротъ совѣтника схватиль,
А тотъ хоть изумился,
Но за руку жену съ собою поташиль.
Народъ предъ лавкою столпился,
И по гостиному двору прохода нѣтъ.
Безсовѣтный поэтъ,
Что силы есть, стихи читаетъ,
Жена напрасно унимаетъ,
Купецъ изъ лавки выгоняетъ,
Сидѣлецъ головой качаетъ—
Онъ ничего не примѣчаетъ,
А все читаетъ да читаетъ,
И отъ себя ревнивца не пускаетъ.
Тотъ все молчалъ, молчаль;
Но напослѣдокъ закричалъ:
Ой, карапуль!—и побѣжалъ.
Риемачъ за нимъ—кричить: *держи, держисте!*
Я притчей не читалъ еще, а вы бѣжите!
И оба скрылися изъ глазъ.
„Ну, матушка, такихъ проказъ
(Прасковья Марковна сказала),
Признаться, я не ожидала.
Мой Петръ Кондратьевичъ ревнивъ,
Взыскателенъ, сварливъ:
Но все сноснѣй, чѣмъ вашъ мучитель“.

Достается стихотворцамъ и во многихъ другихъ басняхъ и
сказкахъ Измайлова, а вмѣстѣ съ ними и прочимъ плохимъ пи-
сателямъ, каковы, напримѣръ, дурные переводчики классиковъ
(б. „Кукушка“), завистливые критики (б. „Павлинъ, два гуся и
нырокъ“). Въ первой изъ нихъ представлена кукушка, увѣряю-
щая всѣхъ птицъ, что она научилась пѣть точнѣхонько, какъ со-

ловей. Птицы выражают желание послушать ее. Кукушка, усевшись на верхней сучке, начала твердить свое „куку, куку, куку!“ Авторъ прибавляетъ къ баснѣ:

Кукушка хвастуна на память мнѣ приводить,
Который классиковъ-поэтовъ переводить.

Во второй баснѣ разсказывается о томъ, какъ въ то время, когда всѣ птицы любовались хвостомъ павлина, два гуся, сидя въ лужѣ, осуждали его ноги и голосъ, не обращая ни малѣйшаго вниманія на его красивый хвостъ. Нырокъ имъ сказалъ:

Я съ вами, господа, согласенъ:
Въ ногахъ и въ голосѣ одинъ у васъ порокъ;
Но у павлина хвостъ прекрасенъ“.

Заключеніе басни такое:

Ахъ, сколько и у насъ есть критиковъ такихъ,
Которые талантъ отличный ненавидятъ
За то, что нѣть его у нихъ,
И съ радостью въ другомъ свой недостатокъ видятъ.

Когда шла борьба между послѣдователями Карамзина и славянофилами, Измайловъ былъ на сторонѣ реформы, и въ 1811 году написалъ сатирическую басню на Шишкова въ формѣ басни: „Шутъ въ парикѣ“.

Однажды въ маскарадѣ
Явился старый шутъ въ неслыханномъ нарядѣ:
Съ хрустальной запонкой и воротомъ косымъ;
Изъ ткани пестрая на немъ была срацица,
Да съ гульфикомъ болѣшимъ
Атласна черна исподница.
Съ нагнутыхъ плечъ его висѣль
Запачканный тулуупъ, но настоящій русскій;
На головѣ же онъ имѣль
Распудренный парикъ французскій.
За старымъ шутомъ вслѣдь шель молодой чудакъ,
Въ престранномъ тоже одѣянїѣ:
Въ какомъ-то шахматномъ, смѣшномъ полукафтанѣ,
И съ колокольчикомъ торчалъ на немъ колпакъ.
Лишь въ залу чучелы вступили,
Никто не могъ свести съ нихъ глазъ.
Старикъ, пожавъ плечами, воскликнулъ: „Вижу азъ,
Коликой степени достигли развращенія!
О! . . . но воздержимся еще отъ удивленія!
О буйно скопище безумцевъ и невѣждъ!
И мужескъ полъ и женскъ совлекся тѣхъ одеждъ,
Которыя дѣдовъ и бабокъ украшали.

Почто французкія вы моды переняли?
Воззрите на меня, на юношу сего,
Такъ иноземнаго не найдешь ничего.
Все русское на насть, изящно все и лѣпо;
Мы любимъ старое, и вы любите слѣпо. . .”

Тутъ нѣкто старика прерваль
И вѣжливо ему сказалъ:
За что всъхъ, дѣдушка, ноносишь?
Ты самъ парикъ французскій ноносишь.
О, если бы кто видѣль тутъ,
Какъ разозлился старый шутъ!

Сначала у него языкъ прильпе гортани;
Потомъ ужъ кое-какъ собрался съ силой онъ,
И полился изъ устья его источникъ брани.
Безбожникъ! закричалъ: измѣнникъ, франмасонъ!
Сжечь надобно его: на вѣру нападаетъ!
Что жъ это былъ за шутъ—никто не отгадаетъ.

Сатирическія басни и сказки Измайлова вообще отличаются рѣзкостью; но она доходила до бранчивости, когда авторъ изображалъ вопіющія отступленія отъ добра и истины. Тогда обозвать секретаря-плута „подлецомъ“, прижимистаго кулака — „мерзавцемъ“—Иzmайлова нисколько не стѣснялся. Тонъ этотъ, конечно, грубый; но онъ, какъ говорить Галаховъ, „быль слѣдствіемъ благороднаго негодованія“. „Никто“—продолжаетъ критикъ—„не могъ осудить автора за рѣзкость словъ, зная, что она происходитъ отъ любви къ честности и благородству, отъ нелюбви къ безчестію и низости. Измайлова былъ человѣкъ добрый и не былъ въ силахъ удерживать свое сочувствіе къ добру. Онъ всегда выражалъ его... какъ выражалъ?—это вопросъ другого рода. Выраженія разнятся по тону и цвѣту, но благородное намѣреніе остается благороднымъ намѣреніемъ“ ¹¹⁰⁾.

Зато рѣзкое слово давало иногда Измайловой возможность высказаться чрезвычайно выразительно. Такъ, напримѣръ, разсказавъ о помѣщикѣ Власть Перфильевичѣ, который не умѣль между своими плутами-приказчиками отличить честнаго, оскорбилъ его и даже обошелся съ нимъ хуже, чѣмъ съ кравшими у него, авторъ заканчиваетъ свою сказку („Помѣщикъ и управители“) такъ:

Каковъ Перфильевичъ?... Повѣсилъ бы его!

Затѣмъ у Измайлова есть много такихъ басенъ и сказокъ, гдѣ онъ изображаетъ болѣе или менѣе общіе типы порочныхъ людей; таковы напр. тѣ пьески, въ которыхъ онъ выводитъ скуп-

цовъ, лицемъровъ, людей надменныхъ, людей безтолковыхъ и т. п. Эти произведения тоже сатирического характера и тоже отличаются подчасъ большою рѣзкостью. Вотъ, напримѣръ, басня: „Собака на сѣнѣ“.

Собака на сѣнѣ лежить
И къ сѣну не пускаеть,
Отъ злости вся дрожитъ
И лаетъ:
Не дамъ, не дамъ,
Не дамъ я вамъ, ворамъ!
Не дамъ, не дамъ!
Къ собакѣ злой, проклятой
Ни добрый конь ни волъ рогатый,
Не только что смиренная овца,
Не смѣютъ подойти рвануть клочокъ сѣнца.
А между тѣмъ козель, смердящій, бородатый,
Съ надменной важностью стоять
Съ двумя козами
Передъ ея глазами,
Блеютъ, кряхтять,
И сѣно взапуски ёдятъ.
— Да что жъ собака-то? Ужель она не видить?
— Нѣтъ, видитъ; но козла съ козами не обидить;
Они хоть сѣно и ёдятъ,
Да говорятъ:
„Вотъ песъ, какого не бывало:
Какъ много лаетъ! какъ спитъ мало!
Собакамъ всѣмъ честь и краса!
Ахъ, надобно ему дать золотой ошейникъ!“
— Нѣтъ, этотъ песъ—мошенникъ!
Дубиной бы такого пса
Или каменьемъ, для примѣра,
Какъ шельму-лицемѣра;
А обѣ козла, обѣ козъ
Не худо бѣ изломать пуха три добрыхъ лозъ.

Осмѣиваеть Измайлова и женскіе типы: жены упрямыя, невѣрныя, лукавыя выведены имъ въ сказкахъ: „Утопленица“, „Снѣжный ребенокъ“ и „Отчаяніе матери“.

Басни и сказки Измайлова не всѣ самостоятельны: Галаховъ насчитываетъ у него до 60 заимствованныхъ пьесокъ—изъ Эзопа, Лафонтена, Флоріана, Баратона, Виже, Ламотта, Лессинга, Геллерта и др. Есть подражанія и русскимъ баснописцамъ: Хемницеру, Дмитріеву и въ особенности Крылову, въ подражаніе ко-

торому написаны басни: „Филинъ и чижъ“, „Два кота“, „Роза и репейникъ“, „Макарьевнина уха“, „Блины“, „Лгунъ“, „Пѣвчіе“, „Завѣтное пиво“ ¹¹¹). Тѣмъ не менѣе у Измайлова много и оригинальныхъ басенъ и сказокъ, и лучшія изъ нихъ принадлежать именно къ оригиналнымъ.

Галаховъ относитъ басни Измайлова главнымъ образомъ къ разряду дидактическихъ. Дѣйствительно, у него есть нѣсколько басенъ, написанныхъ исключительно съ цѣллю поучить. Таковы, напримѣръ, басни: „Два пѣтуха“, „Козель и лисица“, „Котъ и крысы“, „Левъ и лисица“, проповѣдующія мораль: „безъ осторожности опасенъ и успѣхъ“; „предвидѣть надобно во всѣхъ дѣлахъ конецъ“; „шуты, да только осторожно: не то въ бѣду попасться можно“; „съ умомъ и отъ бѣды спасешься иногда“. Вѣрно также и то, что Измайлова любилъ поучать и, какъ говоритъ Галаховъ, чрезвычайно заботился о нравоученіи, прибавляя его даже и тогда, когда оно „уже ясно обнаружено самимъ разсказомъ“ ¹¹²). Но все это, по нашему мнѣнію, нисколько не мѣшаетъ Измайлова оставаться главнымъ образомъ баснописцемъ-сатирикомъ. Да и самъ Галаховъ, перейдя отъ теоретической части своей статьи къ разсмотрѣнію самыхъ басенъ, безпрестанно отмѣчаетъ ихъ, какъ сатиру—то на лицо, то на какой-либо болѣе или менѣе общей порокъ или недостатокъ.

Впрочемъ новѣйшая критика не придаетъ большой важности такимъ чисто теоретическимъ вопросамъ, какъ вопросъ о видѣ басни. Кубасовъ, напримѣръ, говоритъ: „главное достоинство басни заключается въ ея національности; басня прежде всего должна быть вѣрнымъ выраженіемъ національности, не взирая на то, развита ли въ ней въ достаточной мѣрѣ фабула, поставлено ли въ началѣ или въ концѣ нѣсколько строкъ морали, или же послѣдняя вытекаетъ непосредственно изъ басни и т. п. Второе требование отъ басни—современность“ ¹¹³).

То обстоятельство, что Галаховъ долго останавливается на вопросѣ о томъ, къ какому виду отнести басни Измайлова, тѣмъ страннѣе, что въ другомъ теоретическомъ вопросѣ—въ вопросѣ о раздѣленіи басенъ Измайлова на собственно басни и сказки,—онъ видѣтъ лишь одинъ педантизмъ. Онъ замѣчаетъ: „кажется, Измайлловъ называлъ не баснями все то, гдѣ главное дѣйствіе производится людьми, а не животными. Основаніе педантическое, рѣшительно бесполезное какъ для сущности басенного разсказа, такъ и для его литературного достоинства. Крыловъ, который былъ всего меньше педанта, откинуль систематическія раздѣленія

и подраздѣлениѣ своихъ геніальныхъ произведеній. У него басня—просто образцовая басня—и больше ничего”¹¹⁴).

Мы вполнѣ раздѣляемъ этотъ взглядъ Галахова, и если при томъ или другомъ произведеніи Измайлова удерживали кличку то басни, то сказки, такъ это единственно лишь для удобства читателя, на тотъ случай, если онъ захотѣлъ бы отыскать произведеніе въ собраніи сочиненій этого автора, такъ какъ дѣлениѣ на басни и сказки осталось даже и въ изданіи 1891 года.

Но если главное достоинство басни—національность и современность, то въ такомъ достоинствѣ баснямъ Измайлова отказать нельзя: въ нихъ есть много и національного и современаго, или, какъ выразился Галаховъ, въ нихъ есть „современная національность“. Да не быть она и не могла, потому что авторъ бралъ сюжеты изъ современной ему *русской* жизни. Теперь остается еще вопросъ: какой кругъ общества занималъ Измайлова?—Галаховъ сказалъ, а Кубасовъ за нимъ повторилъ, будто Измайловъ изображаетъ преимущественно „низкий, простонародный кругъ нашей жизни“.¹¹⁵).

Но мы думаемъ, что даже и ограничивающее слово „преимущественно“ (у Галахова; а у Кубасова: „обыкновенно“) не дѣлаетъ замѣчаніе справедливымъ: Измайловъ очень часто выводитъ и чиновниковъ, да не только однихъ квартальныхъ, но и судей и воеводъ; выводить помѣщиковъ, и при томъ такихъ, которые умѣли наживать миллионъ долгу; выводить спесивыхъ дворянокъ-буянокъ. Все это лица, не принадлежащія къ простонародью. А его стихотворцы, переводчики классиковъ, критики? А эта бабушка, которая, забывъ свою молодость, журилъ внучку за танцы и говоритъ:

Охъ, этотъ вальсъ
Погубить васъ!
Жаль, право: нѣтъ закона,
Чтобы не танцевать на балахъ ютильона!
А вашъ проклятый ротъ роуппі
Лукавый побери!
Чуть не стрѣлялися изъ-за него въ Твери.

Развѣ это лица изъ простонародья? Не къ низкому, простонародному классу относятся, безъ сомнѣнія, и герои пьески: „Несчастный любовникъ“—княжна Бѣлянкина и офицеръ Султановъ; не изъ простого народа и дуэлисты, осмѣянные въ баснѣ „Поединокъ“. Вѣрѣте, слѣдовательно, сказать, что басни Измайлова касаются весьма различныхъ слоевъ русскаго общества.

Но, повторяя слова Галахова, Кубасовъ прибавилъ къ нимъ еще слѣдующее: „Сфера предметовъ, которыхъ обыкновенно касался Измайловъ, *низменная* порода людей“. Вотъ съ этимъ определеніемъ нельзя не согласиться: дѣйствительно, Измайловъ любилъ изображать не *низкий* кругъ людей по сословію, а *низменный* по нравственному уровню. И на изображеніе „низменной породы людей“ онъ не жалѣлъ красокъ, и часто до того, что вносила въ это изображеніе цинизмъ. Такъ, напримѣръ, не будь въ баснѣ, или, какъ называлъ ее авторъ, въ сказкѣ: „Пьяница“ тѣхъ строкъ, въ которыхъ говорится, что герой въ трактирѣ подрался, упалъ на лѣстницѣ и „весь, какъ чертъ, въ грязи, въ крови перемарался“, — личность квартального Пьяношкина не отталкивала бы читателя и внушала бы къ себѣ прежде всего сожалѣніе. Но указанная прибавка красокъ сдѣлала его образъ циничнымъ и внушаетъ читателю значительную степень отвращенія къ герою разсказа. Галаховъ говоритъ, что *цинизмъ изображенія* есть та черта, которая отличаетъ Измайлова отъ другихъ баснописцевъ¹¹⁶⁾.

Цинизмъ изображенія и вообще грубоватость басенъ Измайлова могутъ, конечно, не нравиться читателю; но онъ, какъ замѣтилъ Кубасовъ, „безъ сомнѣнія, обратитъ вниманіе на тотъ симпатичный образъ самого автора, который просвѣчиваетъ сквозь немного грязноватую оболочку его твореній. Являясь въ своихъ басняхъ не простымъ разсказчикомъ того, что происходитъ между его героями, но принимая участіе въ описываемыхъ событіяхъ, Измайловъ, по свойственной ему откровенности, не можетъ не подѣлиться съ читателями своими чувствами и мнѣніями. Выраженія ихъ — выраженія простодушныя, иногда комичныя, но всегда вполнѣ искрѣнніи“¹¹⁷⁾.

Многія басни Измайлова по-своему очень недурны, но при сравненіи съ Крыловскими онъ выдѣляются своею грубоватостью. Грубоватость эта очень образно характеризована въ одномъ воспоминаніи, приведенномъ у Кубасова. Тамъ говорится, что „въ литературныхъ собранияхъ Крыловъ съ привѣтливой улыбкой протягивалъ руку своему брату по баснѣ — Крыловъ изящный — дикому Крылову, великій художникъ — простому плотнику, тесавшему тяжкій Эзоповъ лѣсь тяжелымъ вятскимъ топоромъ, но въ полной мѣрѣ честному писателю, доброй душѣ, а также и литератору, во всякомъ случаѣ достойному уваженія за благія намѣренія, за усердіе къ русскому просвѣщенію, за откровенное и прямое сердце“¹¹⁸⁾.

Біографія Измайлова и дополнительныя свѣдѣнія о его литературной дѣятельности.—Журналъ Измайлова: „Благонамѣренный“.

Александръ Ефимовичъ Измайловъ, сынъ небогатаго помѣщика Владимирской губерніи, родился 14 апрѣля 1779 года. По словамъ біографа, отецъ его былъ честный и добрый человѣкъ, весьма исправный чиновникъ, прослужившій отечеству съ усердіемъ полвѣка, дослужившійся до чина статскаго совѣтника, но не успѣвшій завѣщать своимъ дѣтямъ никакихъ богатствъ, кромѣ ничтожнаго родового имѣнія съ семью душами крестьянъ да честнаго имени, которое Александръ Ефимовичъ ревниво оберегалъ во все прохожденіе своего жизненаго поприща и успѣль незапятнаннымъ передать своимъ потомкамъ ¹¹⁹⁾). Характеристика эта вполнѣ согласна съ слѣдующей эпитафіей, написанной отцу сыномъ:

Здѣсь прахъ покоится честного человѣка:
Онъ зла не дѣлалъ и врагамъ;
Служилъ отечеству съ усердіемъ полвѣка,
И имя доброе оставилъ только намъ.

Воспитаніе Измайлова получилъ въ Горномъ корпусѣ. Тамъ впервые проявилась въ немъ любовь къ словесности; тамъ, вѣроятно, началь онъ учиться французскому языку, которымъ впослѣдствіи владѣлъ прекрасно, и тамъ же, какъ предполагаютъ, имѣлъ возможность изучать типы „золотой молодежи“ своего времени, такъ какъ корпусъ, по свидѣтельству лицъ, въ немъ тогда учившихся, отличался крайнею распущенностью. Этимъ обстоятельствомъ и объясняется, почему восемнадцатилѣтній юноша могъ уже создать такой романъ, какъ „Евгений“.

Хотя Измайловъ еще въ дѣтствѣ былъ записанъ въ Преображенскій полкъ, однако не захотѣлъ служить въ военной службѣ, такъ какъ не чувствовалъ къ ней призванія, и потому, по выходѣ изъ корпуса, былъ вскорѣ, по прошенію, опредѣленъ „къ статскимъ дѣламъ“, и съ 1797 г. по 1826-й оставался на службѣ въ Петербургѣ, въ учрежденіяхъ министерства финансовъ. Затѣмъ онъ былъ переведенъ въ Тверь.

Время службы въ Петербургѣ было самымъ горячимъ временемъ литературной и общественной дѣятельности Измайлова. Съ 1799 г. онъ дѣлается извѣстнымъ, какъ авторъ романа; у него завязываются литературныя знакомства, преимущественно съ молодыми писателями, и въ 1802 г. Измайловъ вступаетъ уже членомъ въ только что народившееся „Общество любителей Слово-

весности, Наукъ и Художествъ" и впослѣдствіи дѣлается на долгое время его предсѣдателемъ. Общество это было, особенно въ началѣ своего существованія, не исключительно литературное: оно интересовалось и идеями политического характера, и въ немъ были широко распространены и идеи филантропической. Послѣднее обстоятельство могло особенно казаться Измайлову привлекательнымъ, такъ какъ по натурѣ своей онъ былъ человѣкъ очень добрый. Природная доброта и сердечность, а также и влияніе настроенія Общества заставили его откликнуться на рескриптъ императора Александра, данный имъ 12-го мая 1802 г. на имя камергера Витовтова о "несчастныхъ подданныхъ, страждущихъ подъ игомъ нищеты", и Измайловъ выпустилъ отдѣльной книжкой „Разсужденіе о нищихъ" (1804). Исходя изъ мысли рескрипта, что „обыкновенное подаяніе нищимъ умножаетъ только число оныхъ", авторъ занялся вопросами о томъ, во-первыхъ, какимъ образомъ можно уменьшить ихъ количество въ Россіи, а во-вторыхъ, какъ „доставить прочимъ безнужное пропитаніе безо вся-
каго на то иждивенія отъ казны". Указавъ нѣсколько мѣръ для первой цѣли, онъ предложилъ для второй слѣдующую, которая теперь давно уже практикуется: завести во всѣхъ церквахъ кружки для нищихъ, а также и въ другихъ мѣстахъ, „куда собираются часто для одного только увеселенія и излишнихъ прихотей, напри-
мѣръ: въ маскарадахъ, театрахъ, рынкахъ, даже въ самыхъ ко-
фейныхъ домахъ и трактирахъ". „Древніе египтяне" — говоритъ Измайловъ — „на пиршествахъ своихъ выносили передъ гостей гробъ. Когда веселіе, при таковыхъ собраніяхъ обыкновенно бы-
ваемое, возмущалось у нихъ страшнымъ помышленіемъ о смерти,
то ужли предосудительно намъ будетъ, сидя за роскошнымъ
столомъ, или во время забавы, на которую охотно тратимъ деньги,
привести себѣ на память, что есть несчастные, которые, можетъ
быть, не имѣютъ куска черстваго хлѣба для утоленія своего го-
лода, и облегчить ихъ жребій нѣсколькими малыми монетами".
Въ заключеніи къ своей статьѣ Измайловъ говоритъ: „Всѣ сіи
средства, изъясненныя мню, относятся только до однихъ нищихъ,
а не до бѣдныхъ, которые, можетъ быть, еще болѣе ихъ достойны
сожалѣнія, и которымъ имя нищаго ужаснѣе самой нищеты. На-
примѣръ, честный и трудолюбивый ремесленникъ, или художникъ,
обремененный большимъ семействомъ, впадаетъ въ продолжи-
тельную болѣзнь; съ здоровьемъ лишается онъ и содерянія,
такъ какъ и его жена и его дѣти. Не говоря уже о лѣкарствахъ,
ему не на что бываетъ купить и пищи... Что остается ему дѣ-

лать въ такомъ случаѣ? конечно, не что другое, какъ продавать или закладывать вещи и самые свои инструменты, безъ которыхъ онъ послѣ, и здоровъ, обойтись не можетъ. Но положимъ, что онъ умираетъ. Остается послѣ него бѣдная вдова, съ малыми дѣтьми безъ всяаго пропитанія, безъ всякой надежды. Пойдетъ ли она однако просить милостыню?... Нѣтъ, она станетъ плакать, работать, изнурить непомѣрными трудами свое здоровье, и прежде времени лишится жизни. Ахъ, какъ справедливо сказано (въ ре-скріптѣ), что «надлежитъ искать несчастныхъ въ самомъ жи-лищѣ ихъ, въ обители плача и стenanія, ласковымъ обращеніемъ, спасительными совѣтами,—словомъ, всѣми нравственными и физи-ческими способами стараться облегчить судьбу ихъ,—вотъ въ чемъ состоить истинное благодѣяніе». Но неужели никогда нельзя будетъ отвратить нищеты и бѣдности? Дѣло сіе, конечно, есть трудное, но не невозможное: стараніе все преодолѣваетъ, и успѣхъ всегда соразмѣряется съ онимъ».

Есть у Измайлова еще одно произведеніе, въ которомъ био-графъ его справедливо находитъ много благородства и прямоду-шія автора. Произведеніе это—небольшой разсказъ: „Вчерашній день“. Въ немъ Измайлова, имѣя въ виду множество бѣдныхъ тружениковъ, и притомъ тружениковъ честныхъ и полезныхъ, проводить мысль, что хорошо бы было не давать пенсій людямъ богатымъ, хорошо бы было и самимъ имъ отказаться отъ нея въ пользу бѣдныхъ. Почему, напримѣръ, не отказаться отъ 600 руб. пенсіи та-кому лицу, которое имѣетъ десять тысячъ годового дохода? А такимъ господамъ, какъ Власій Кирилловичъ Безсовѣстинъ, не только не слѣдуетъ давать пенсіи, а еще съ нихъ надо взыскать при от-ставкѣ. За что онъ получилъ пенсію? За 38-милѣтнюю службу?— „Но за службу“,—разсуждаетъ авторъ,— „кажется, тогда только должно дѣлать награжденіе, когда она приноситъ обществу пользу. Ежели кто служилъ съ пользою долѣе другого своему отечеству, тогда, правда, и награждать должно болѣе. Но ежели кто вмѣсто того, чтобы стараться о благѣ общественномъ, ничего другого 35 или 38 лѣтъ не дѣлалъ, какъ только притѣсняль невинныхъ, помогалъ плутамъ, воровалъ казну и бралъ изъ казны же за все это жалованье,—слѣдуетъ ли награждать такого человѣка за долговременную его службу, или не справедливѣе ли будетъ на-казать его за долговременныя его преступленія жесточайшимъ образомъ, такъ какъ вора, либо разбойника, который воровалъ и грабилъ 35 или 38 лѣтъ?—Станемъ судить по логикѣ. *Кто болѣе дѣлалъ добра, тотъ болѣе заслуживаетъ и награды.* Вотъ

аксіома. Возьмемъ теперь противоположность: *Кто болѣе дѣлалъ зла, тотъ болѣе заслуживаетъ и наказанія*. Власій Кирилловичъ въ теченіе 38 лѣтъ своей службы болѣе сдѣлалъ зла и вреда обществу, нежели бы сколько сдѣлалъ онъ, служа десять лѣтъ; слѣдовательно вмѣсто того, чтобы дать ему при отставкѣ пенсію и чинъ, надлежало по крайней мѣрѣ лишить его всѣхъ чиновъ, продать имѣніе его съ публичнаго торгу, изъ вырученныхъ за оное денегъ вычесть все то, что имъ украдено изъ казны, разумѣя тутъ причиненную имъ всякаго рода казнѣ убыль и жалованье, сколько онъ перебралъ въ 38 лѣтъ, на все сіе положить по 5 въ годъ со ста и причислить къ общимъ государственнымъ доходамъ, а остальное количество отдать въ пользу Приказа Общественаго Призрѣнія на богоугодныя заведенія“...

Свидѣтельствомъ о томъ участіи, которое Измайлова принималъ въ политическихъ интересахъ „Общества любителей Словесности, Наукъ и Художествъ, служать уже извѣстныя намъ двѣ восточные его повѣсти.

Члены Общества печатали свои произведения въ разныхъ журналахъ, которые въ ту пору быстро у насъ возникали, но быстро и падали. Наконецъ задумалъ журналъ и Измайлова. Журналъ этотъ, названный „Цвѣтникомъ“, долженъ былъ служить Обществу его органомъ. Въ „Цвѣтникѣ“ дано было между прочимъ мѣсто полемикѣ карамзинистовъ съ Шишковымъ и его приверженцами: тамъ помѣстили свою статью Дашковъ, опровергавшую мысль Шишкова о тожествѣ языковъ русскаго и славянскаго; тамъ же напечаталъ и В. Пушкинъ свое посланіе къ Жуковскому. Но „Цвѣтникъ“ тоже существовалъ недолго: въ первый годъ (1809-й) онъ держался почти исключительно талантомъ Бенитцкаго, съ которымъ вмѣстѣ Измайлова и издавалъ свой журналъ; по смерти же Бенитцкаго, котораго замѣнилъ Никольскій, „Цвѣтникъ“ сталъ падать; въ 1810 г. онъ, по выражению Батюшкова, „заявлялъ“ уже, и издатели прекратили изданіе. Общество стало издавать другой журналъ: „С.-Петербургскій Вѣстникъ“, подъ главнымъ редакторствомъ Измайлова же. Направленіе „Цвѣтника“ сохранилось и въ „Вѣстникѣ“, который Гречъ вѣрно охарактеризовалъ слѣдующими словами: „Этотъ журналъ былъ поприщемъ оппозиціи противъ распространявшагося тогда дурнаго вкуса въ словесности, порожденного ложными понятіями о свойствѣ, достоинствахъ и различіи языковъ церковно-славянскаго и русскаго“ ¹²⁰). Однако и „С.-Петербургскій Вѣстникъ“ жилъ очень короткое время: наступившая военная

гроза помѣшала его продолженію; но Общество все-таки не распалось, и въ 1816 г. возобновило свою дѣятельность. Объ оживленіи его много хлопоталъ Измайлова, уже какъ предсѣдатель (съ 1816 г.), и вербовалъ новыхъ членовъ: такъ въ 1817 г. имъ были представлены Обществу Жуковскій и Крыловъ, а въ слѣдующемъ—А. С. Пушкинъ, Баратынскій, Дельвигъ и мн. др. Однако этотъ второй періодъ дѣятельности Общества былъ менѣе плодотворенъ, чѣмъ первый, когда на застѣданіяхъ его поднимались серьезные вопросы, писались и переводились научные трактаты (изъ Бентама, Монтескье, Беккари и др.). Теперь же научная сторона отодвинулась на второй планъ, читались главнымъ образомъ малосодержательные стихотворенія. Общество умирало, и наконецъ послѣ 1825 года закрылось.

Между тѣмъ съ 1818 г. Измайлова началъ издавать свой собственный журналъ—„Благонамѣренный“, и издавалъ его девять лѣтъ, по 1826 г. включительно. Журналъ этотъ интересенъ, какъ отраженіе и личности издателя, и тогдашнихъ литературныхъ вкусовъ и воззрѣній.

Прежде всего отмѣтимъ, что „Благонамѣренный“ съ самаго своего появленія и до конца былъ филантропическимъ органомъ, имѣвшимъ въ виду помогать бѣднымъ. Измайлова съ самаго начала изданія открылъ при журналѣ подписку въ пользу бѣдныхъ и сдѣлался неусыпнымъ посредникомъ между ними и благотворителями. Руководясь словами извѣстнаго уже намъ рескрипта: „Надлежитъ искать несчастныхъ въ самомъ жилищѣ ихъ и всѣми нравственными и физическими способами стараться облегчить судьбу ихъ“, онъ дѣйствительно радѣлъ о нихъ всѣми мѣрами—отъ серьезныхъ объявлений до стихотворныхъ посланій. Такъ, однажды передъ Свѣтлымъ Воскресенемъ читатели „Благонамѣренного“ получили слѣдующее посланіе отъ издателя:

Вотъ ужъ и праздники большиe наступаютъ.

Богатые себѣ обновы покупаютъ

(О суeta суеты!);

У магазиновъ тьма каретъ.—

А бѣдные межъ тѣмъ *ловятъ*;

Не только платья, но—и пищи не имѣютъ.

Вотъ старецъ *Худяковъ* семидесяти лѣтъ,

Совѣтникъ титулярный,

Въ *свѣтлицѣ* темной и прохладной,

То-есть нетопленной, лежитъ,

Вздыхаетъ и дрожитъ;

Все на діэтѣ онъ, хоть есть и аппетитъ;
Ослѣпъ давно совѣтъ, обремененъ семьею!—

Есть и еще слѣпецъ одинъ,
Андреевъ, здѣшний мѣщанинъ
Осьмидесяти лѣтъ, съ женою,
Старушкою больною.

А двѣ несчастныя вдовы—Гринблатъ
И Пряхина, съ дѣтьми дни по два не ъдятъ.
У нихъ есть сыновья большиe, но калѣки.—

О христіане человѣки!
Хоть что-нибудь пришлите въ праздникъ имъ,
А если можно, и другимъ,
И вамъ сторицею воздасть за то Создатель.
Клянуся честію!—Издатель.

За время существованія „Благонамѣреннаго“ Измайловымъ было раздано свыше 10.000 рублей пожертвованныхъ денегъ, не считая жертвованій вещами. Не имѣя лично состоянія и не рѣдко нуждаясь, онъ тѣмъ не менѣе часто прибавлялъ къ пожертвованнымъ деньгамъ и собственныя.

Съ самаго же начала изданія, „Благонамѣренный“ началъ нападать на стихоманію. Эта мода на стихи господствовала во французской литературѣ и перешла къ намъ. Страсть писать стихи обуяла общество, подобно эпидемической болѣзни. Къ этому присоединилась и страсть читать свои произведенія другимъ, искать себѣ слушателей. „Благонамѣренный“ въ одномъ мѣстѣ восклицаетъ съ досадою: „Пускай бы самолюбивые стихотворцы только писали; а то вѣдь они прожужжали всѣмъ уши!“ (1818 г.). Въ другомъ мѣстѣ онъ осмѣиваетъ чтецовъ слѣдующими стихами:

... Бѣда! куда дѣваться?
Идетъ творецъ случайныхъ оды!
Онъ ищетъ, съ кѣмъ бы повстрѣчаться—
Прочесть Расиновъ переводъ.
Друзья и морщатся и хвалятъ,
Въ глаза зѣваютъ и хулятъ,—
Ничѣмъ охоты не убавятъ:
Поэтъ неумолимъ читать! (1823 г.).

На вопросъ: съ какимъ человѣкомъ всего несноснѣе жить? „Благонамѣренный“ отвѣчаетъ: „съ самолюбивымъ стихотворцемъ. За грѣхи мои послалъ мнѣ Богъ товарища-стихотворца, и кого же? Самаго неугомоннаго. Взглянуть не на кого: едва дышитъ, а все пишетъ. Недавно пошелъ ему осьмнадцатый годъ, а онъ собирается уже выдать свои стихотворенія въ трехъ то-

макъ съ виньеткою и своимъ портретомъ. Сколько же онъ еще напишетъ и переведеть бумаги, если доживетъ до шестидесяти лѣтъ!“

Подобныя насыпки надъ стихотворцами, надъ тогдашнимъ стихобѣсіемъ, помѣщались въ журналѣ Иzmайлова очень часто ¹²¹⁾.

Къ тому времени, когда началось изданіе „Благонамѣренаго“, борьба за старый и новый слогъ почти совсѣмъ уже затихла, но въ новомъ журнале Иzmайлова, какъ и прежде въ „Цвѣтникѣ“, все еще появлялись нападки на „славянъ“. Такъ въ первомъ же номерѣ 1818 г. напечатано стихотвореніе О. К.: „Отвѣтъ и совѣтъ“. Авторъ отвѣчаетъ своему другу, желавшему узнать средства прослыть поэтомъ. Средствъ, по его указанію, два: одно—истинное, но трудное; другое—ложное, но легкое. Послѣдняго, говоритъ онъ, держатся поэты старой школы:

Уставъ ихъ въ двухъ статьяхъ: одною онъ велитъ,

Чтобъ даже въ мадrigалахъ

Славянскія слова всегда ты помѣщалъ;

Другою, чтобъ своихъ отважно защищалъ.

При томъ писателей, прославившихъ Россію,

Осмѣивай, брани—пристойность не нужна—

И проѣлиной К(арамзина)..

Сочлены чувствуютъ къ нему антипатію,

За то, что первый онъ осмѣлился ввести

Въ стихи и прозу слогъ пріятный,

Для нихъ и дикій и невніятный.

Доставалось въ „Благонамѣренномъ“ и самому Шишкову. Вотъ образчикъ сатиры на него: въ одномъ изъ номеровъ 1823 г. помѣщено „Письмо къ пріятелю въ Москву“ за подпись „Дяденькинъ племянникъ“, гдѣ авторъ, описывая собраніе любителей словесности подъ предсѣдательствомъ своего дяди (Шишкова), рисуетъ между прочимъ такую картину:

„Въ залѣ священное молчаніе. Дядя быстрымъ взоромъ окидываетъ безмолвствующихъ... и говоритъ: «Милостивые государи мои и почтенно-любезные сотоварищи! Богатѣть въ тѣлесныя и душевныя добродѣтели паче, нежели въ сребро и злато—се есть правило наше; вторгаться въ лавирина, или въртоградъ Слова россійскаго и любопреніемъ опровергать хитросплетенный нон-визны благопріятелей языка иноземнаго и не щадить оныхъ, одебелѣ бо сердце людей сихъ—предметъ при нашей и состязаній».

„Одинъ изъ членовъ написалъ, по препорученію г. предсѣдателя, «Опытъ россійской риторики» и сталъ заниматься русской просодіей, но выборъ примѣровъ затруднялъ его. Другой

помогъ этому горю: онъ въ часы досуга записывалъ въ особенную тетрадь стихи, которые ему нравились. Предсѣдатель подошелъ къ библіотекѣ, взялъ толстую книгу и началъ говорить:

«Сія книга, государи мои, есть сокровищница россійского стихотворства; тутъ найдете вы образцовая стихотворенія для двадцати разныхъ просодій».

„Дяденька развернуль книгу и прочелъ: *Лучшіе и образцовые отрывки изъ русскихъ стихотвореній... Часть 401.*

«Вотъ — продолжалъ дяденька — вотъ описание русского воинства:

Стекаются со всѣхъ россіяне стороны
Для царства, общества и вѣры обороны;
Вращаютъ машины, шумятъ средь дебрей камень;
Геройскою рукой несутъ военный пламень.
Гдѣ ступать — тучи, мракъ подъ ихъ ногами зрять;
Гдѣ взглянуть — зарево кровавое родятъ;
Колоссы шлемы ихъ, пространнныя стопы,
А руки — длинныя, огромныя столпы».

„Дяденька съ довольною улыбкою обратился къ гг. членамъ и торжествующимъ голосомъ сказалъ: «вотъ поэзія! вотъ метафоры! вотъ истинно высокое!»“.

Если сравнить эту картину съ той, которая набросана С. Аксаковымъ въ его статьѣ: „Воспоминаніе объ Ал. Сем. Шишковѣ“, и изображаетъ его читающимъ поэму Ширинскаго,—то нельзя не признать, что сатира „Благонамѣренного“ очень мѣтка.

Сатира на Шишкова выходила и изъ-подъ пера самого Измайлова. Такъ, напримѣръ, кромѣ уже извѣстной намъ сказки: „Шутъ въ парикѣ“, ему принадлежитъ стихотвореніе въ діалогической формѣ: „Дядя и племянникъ славянофилы“ ¹²²⁾.

Но, стоя на сторонѣ новаго слога, „Благонамѣренный“ Ѳдко осмѣивалъ запоздалыхъ подражателей Карамзинскаго сентиментализма. „Въ 1818 году, когда Измайлова началъ издавать журналъ свой, не было уже“—пишетъ Галаховъ—„общаго разлива сентиментальности *), а остались только частныя его проявленія. Литература имѣла въ виду другія цѣли, жила другими интересами; прежняя цѣль и прежніе интересы сохранились для очень немногихъ, для нѣсколькихъ единицъ. Эти единицы хотѣли держаться и держать словесность на томъ, съ чего Карамзинъ началъ свою дѣятельность. Такое упорное стояніе на одномъ и томъ же пунктѣ равнозначительно отсталости и обращается въ плодо-

^{*)} Этотъ разливъ былъ съ 1792 по 1812 г.

творный предметъ для сатиры. И сатира устремилась на нихъ всѣми орудіями: эпиграммами, пародіями” ^{123).}

Въ „Благонамѣренномъ“ усерднѣе другихъ преслѣдовалъ за поздалыхъ сентименталистовъ племянникъ издателя, Павелъ Лукьяновичъ Яковлевъ, авторъ „Чувствительного путешествія по Невскому проспекту“, повѣсти: „Несчастія отъ слезъ и вздоховъ“ и другихъ сатиръ на сентиментализмъ. Въ упомянутомъ журнале за 1820 годъ онъ помѣстилъ между прочимъ „Разсказы Лужницкаго старца“, где авторъ иронизируетъ слѣдующимъ образомъ. Ему хочется написать чувствительную повѣсть, но негдѣ поселить героевъ: подлѣ Москвы уже всѣ мѣста заняты—Воробьевы горы, Симоновъ монастырь, Марьина роща... все уже занято! Лизы, Тани, Кати, Мashi, со всѣми семействами и знакомцами, отмежевали себѣ поля, горы, лѣса, долины, и уже некуда водить читателей. „Такъ думалъ я“,—говорить авторъ,—„прогуливаясь по Дѣвичьему полю, когда вечерніе лучи солнца бросали послѣдній блескъ на златые верхи башень и церквей московскихъ! Не знаю, отчего, я воображалъ тогда, что могу написать прелестный романъ о двухъ несчастныхъ любовникахъ, которые, съ первого взгляда, почувствовали страстную любовь... Она закраснѣлась, онъ—не сводилъ съ нея глазъ; она пошла домой, онъ—проводилъ ее до калитки; она махнула ему платкомъ, онъ—упалъ на колѣни, и прочее, и прочее подобное. Итакъ я воображалъ, что напишу прелестный романъ, и первое потому, что выслушалъ полный курсъ словесности, исторіи, археологіи; второе потому, что нахожу въ себѣ всѣ потребности чувствительного автора, то-есть: люблю ходить пѣшкомъ и сидѣть въ задумчивости, когда бываю одинъ... О планѣ романа я не заботился; меня мучило поселеніе моихъ любовниковъ... Воробьевы горы—заняты! окрестности Симонова монастыря—заняты! Марьина роща—занята! Вобразите: самая лучшая мѣста“... Наконецъ послѣ долгаго размышленія авторъ нашелъ мѣсто, куда поселить своихъ героевъ: это—Лужники, что за Дѣвичьимъ монастыремъ.. „Безподобно!... прелестно!“ восклицаетъ онъ. „Я заставлю гулять по Лужникамъ всю чувствительную публику московской столицы... Моя повѣсть будетъ такъ интересна, такъ трогательна, что Лужники сдѣлаются сходбишемъ всѣхъ меланхоликовъ обоихъ половъ; не останется кругомъ ни одной березы, ни одного дуба, ни одной сосны, на которыхъ бы не вырѣзаны были стишки князя Шаликова“...

Въ повѣсти: „Несчастія отъ слезъ и вздоховъ“ (Благ. 1824—1825 г.) выведенъ сентиментальный писатель Эрастъ Ліодоро-

вичъ Чертополоховъ. Описываются похожденія его отъ самаго рожденія до смерти. Вотъ, напримѣръ, пріѣздъ его въ домъ помѣщика Богатонова:

„Я очень радъ, что вижу у себя новаго Стерна,—говорить ему хозяинъ, и Эрастъ дружески пожимаетъ руку Богатонова, и сердечный вздохъ летить изъ груди его, и радостная слеза катится изъ его лѣваго глаза!... Я съ удовольствіемъ читала ваши повѣсти,—говоритъ ему хозяинка, и Эрастъ почтительно кланяется, прижимаетъ къ сердцу дорожный картузъ, и слеза сердечнаго удовольствія бѣжитъ изъ праваго его глаза.—Какъ мило, какъ пріятно вы пишете! говоритъ ему нѣжная Юлія (дочь Богатонова), бросивъ на него пронзительный взглядъ... и Эрастъ вспыхнулъ, застrepеталъ, и слезы градомъ посыпались по его блѣдножелтымъ ланитамъ!... онъ не въ силахъ говорить... слова замираютъ въ груди его... Окружающіе Богатонова подходятъ къ чувствительному путешественнику и поочередно изъясняютъ радость свою, видя новаго Стерна!... Эрастъ засыпанъ учтивостями“.

„Восхищенный всѣмъ, что видѣлъ, что слышалъ и чувствовалъ, приходитъ онъ въ отведенную ему комнату... новое наслажденіе, новая причина къ восторгамъ. Всѣ стѣны его кабинета увѣшаны гирляндами изъ васильковъ, миртовыми вѣнками; на письменномъ столѣ стоитъ бюстъ Ж. Ж. Руссо, а подлѣ, въ фарфоровой вазѣ, ландышъ... и эклоги Сумарокова въ богатомъ переплетѣ. Слезы такъ и текутъ изъ глазъ Эрастовыхъ, и окружающія его гирлянды, вѣнки и ландышъ кажутся ему какъ заслюдою“...

Когда Эрастъ умеръ, его похоронили на Ваганьковскомъ кладбищѣ. Одинъ изъ московскихъ поэтовъ, который, будучи чувствителенъ, нѣженъ и томенъ, который, однимъ словомъ, можетъ считаться новымъ Эрастомъ Чертополоховымъ,—рассказываетъ авторъ повѣсти,—сочинилъ своему предшественнику эпиграфію:

Подъ камнемъ симъ лежитъ Эрастъ Чертополоховъ.
Скончался (въ середу) отъ слезъ, любви и вздоховъ..

Приведемъ еще одну сатиру на сентиментализмъ: въ „Благонамѣренномъ“ 1823 г. (№ XI) помѣщена слѣдующая эпиграмма на кн. Шаликова:

Дитя пастушеской натуры,
Писатель Нуликовъ такъ сладостно поетъ,
Что ужъ пора бѣ ему называться безъ хлопотъ
Кондитеромъ литературы.

Подобно Карамзину, и Жуковский имѣлъ не мало подражателей; особенно увлеклись элегическимъ тономъ поэзіи нашего романтика—и появилось множество элегій, авторы которыхъ напускали на себя грусть изъ подражанія. „Благонамѣренный“ и тутъ не упускалъ случая посмѣяться надъ такими поддѣльными элегиками. Самой ядовитой была статья (1822 г.), подъ заглавіемъ: „Увы и Ахъ, прозаическая галиматья“. Вотъ она:

„Минутный гость на жизненномъ пиру, я вяну!—И веселье не веселить меня! И сердце, больное грустю, дремлет!—Увы и ахъ!“...

„И молодая жизнь измѣнила мнѣ! И увяли розы сладострастія! И привѣтная звѣзда отуманилась! Увы и ахъ!“

„И былое, какъ пустынная стрѣла, пролетѣло! И грядущее—дикій мракъ, туманная даль! И въ слѣпой тоскѣ моей я исчезаю, я терзаюсь! Увы и ахъ!“

„И мой гений и дружба, сладострастіе душъ высокихъ и чувствительныхъ, не внушаютъ мнѣ молитвы радостей! И сердце мое не замираетъ въ нѣгѣ тайныхъ желаній! Увы и ахъ!“

„Чу! кипящая смерть ярится! И ночь сгустилась! И сладкая мечта, чистѣйшій нектаръ счастія, какъ ароматъ веселаго вина—исчезла въ воздухѣ! И я жадно пью кручину! Увы и ахъ!“

Впрочемъ Измайлова, хотя и относился почтительно къ Жуковскому, но романтизма вообще не жаловалъ. Онъ не любилъ его потому главнымъ образомъ, что, воспитавшись на французской неромантической литературѣ, онъ не понималъ истинной сути романтизма, и смотрѣлъ на него только какъ на что-то очень туманное. Быть романтикомъ, по его мнѣнію, значило стараться о сохраненіи беспорядка мыслей, таинственности, запутанности и неясности (Благ. 1822 и 1823 г.).

О спорѣ изъ-за гекзаметровъ Гнѣдича будемъ говорить впослѣдствіи, а пока замѣтимъ лишь, что когда возникъ этотъ споръ, онъ отозвался и въ „Благонамѣренномъ“: и журналъ, и его издатель отнеслись къ гекзаметру недоброжелательно.

Каждое литературное направлѣніе можетъ быть доведено до смѣшныхъ крайностей — и потому нѣтъ ничего удивительного, что Измайлова осмѣивалъ представителей такихъ крайностей въ сентиментализмѣ и романтизмѣ. Можно было, пожалуй, посмѣяться и надъ отрицательными сторонами гекзаметровъ Гнѣдича. Но читатель, знакомясь далѣе съ журналомъ Измайлова и видя, что онъ смѣется и надъ разными другими литературными явленіями своего времени, невольно начинаетъ думать,

нѣтъ ли какой-либо другой причины 'смѣха, кромѣ смѣшной стороны въ осмѣиваемомъ предметѣ. Другими словами: не смѣется ли Измайловъ потому, что онъ очутился человѣкомъ отсталымъ среди новыхъ для него явлений? И дѣйствительно, къ двадцатымъ годамъ столѣтія Измайловъ окончательно застылъ въ извѣстной формѣ своего развитія. „Литераторъ Карамзинской школы, поборавшій за новый слогъ противъ стараго“,—говорить Галаховъ:—„признававшій право развитія за стилемъ, строенiemъ рѣчи, Измайловъ не могъ или не хотѣлъ признать такого же права за поэзіей. Онъ упрекалъ Шишкова въ упорной приверженности къ старинѣ и дѣйствовалъ сатирой противъ такъ называвшихся въ то время славянофиловъ, и между тѣмъ самъ, не замѣчая того, становился на ихъ мѣсто,—слѣдовательно, достойно заслуживалъ и упреки и насмѣшки. Таковъ, видно, необходимый путь литературнаго движенія: литераторы прежнихъ школъ, не понимавшіе, какъ можно литературѣ остановиться на одномъ и томъ же пунктѣ, впослѣдствіи теряютъ изъ виду возможность разумныхъ, естественныхъ перемѣнъ, и ясно выступающей истинѣ противополагаютъ литературное преданіе. Примѣры подобной слабости представляютъ и не такие умы, каковъ былъ умъ Измайлова и другихъ людей, способныхъ только однажды идти по слѣдамъ самобытнаго двигателя литературы, какъ бы этотъ двигатель ни назывался: Ломоносовъ, Карамзинъ или Пушкинъ“¹²⁴⁾.

Косность Измайлова рѣзче всего сказалась въ той придирчивости, съ которою онъ встрѣчалъ произведенія Пушкина, и въ тѣхъ насмѣшкахъ надъ нѣмецкой умозрительной философіей вообще, а въ частности надъ начавшими распространяться у насть тогда идеями Шеллинга, одного изъ представителей идеализма. Насмѣшки эти появились въ „Благонамѣренномъ“ 1823 года.

Служба, а въ особенности литературныя занятія дали Измайлова возможность завести обширный кругъ знакомства. Еще въ 1803 г. онъ женился на Екатеринѣ Ивановнѣ Сотниковой, оказавшейся прекрасной женою и матерью. Измайловъ любилъ принимать у себя гостей, любилъ и самъ появляться въ обществѣ. Всѣ относились къ нему съ уваженiemъ, какъ къ человѣку не только чрезвычайно доброму, но и безуокоризненно честному. Взятки и вообще всякая неправда возмущали его до глубины души. Обыкновенно же онъ бывалъ всегда веселъ, добродушенъ, простъ въ обхожденіи и, какъ говорить его бiографъ, „вносилъ повсюду оживленіе и общую веселость, гдѣ только ни появля-

лась его тучная, оригинальная фигура, въ сюртукѣ съ оттопыренными карманами, всегда полными рукописей своихъ и чужихъ. Тотчасъ начиналась бойкая бесѣда, сыпались анекдоты, шутки, экспромпты” ¹²⁵).

Не смотря на то, что Измайловъ осмѣивалъ стиходѣевъ, у самого его была великая страсть и къ риemosлагательству и къ чтенію своихъ стиховъ.

„Люблю писать стихи и отдавать въ печать!
Не потаю грѣха: люблю ихъ и читать,

не только друзьямъ сердечнымъ, но встрѣчнымъ и поперечнымъ”.— сказалъ онъ однажды, соединяя стихи съ прозой. Признать за собой тотъ недостатокъ, который осмѣиваешь въ другомъ—есть свойство лишь вполнѣ искреннихъ людей. И Измайловъ былъ въ высокой степени искренний человѣкъ. Осмѣявъ въ сказкѣ: „Встрѣча двухъ подругъ” страсть стиходѣевъ къ чтенію собственныхъ стиховъ, онъ заканчиваетъ эту сказку слѣдующими строками:

Я самъ, къ несчастью, сочинитель;
Писать стихи люблю,
И ужъ никакъ не утерплю,
Чтобъ не читать друзьямъ свои стихотворенья;
А бѣдная моя жена—
Пошли ей, Господи, терпѣнья!—
Хотя не想要, но должна
Сидѣть и слушать, какъ читаю басни, сказки—
Молчить, голубушка, и только щурить глазки.
Ахъ, знаю по себѣ, что всякий метроманъ
Жены своей тиранъ.

Вследствіе страсти къ стихамъ, Измайловъ очутился авторомъ не только басенъ и сказокъ, но и такихъ модныхъ въ его время стихотвореній, какъ шарады, экспромпты, стихи въ альбомы, пѣсни, надписи, мадригали, эпиграммы, эпиграфы и посланія. Нерѣдко онъ писалъ стихами даже разныя замѣтки. Такъ, напримѣръ, читая книжку: „Распознаваніе и лѣченіе гемороя”, онъ, по поводу даваемаго въ ней совета воздерживаться отъ горячихъ напитковъ, пишетъ замѣтку:

И даже отъ вина!...
Да лучше пусть болитъ спина!

Представивъ отчетъ о раздачѣ денегъ 20-ти бѣднымъ, въ числѣ которыхъ было 12 дамъ, онъ заключаетъ:

И въ томъ числѣ двѣнадцати вдовамъ—
А говорятъ, что я писатель не для дамъ.

Относительно словъ, напечатанныхъ тутъ курсивомъ, надо замѣтить, что Измайловъ, „заходившій“, какъ говоритъ Кубасовъ, „въ своихъ изображеніяхъ порой за границы требуемой отъ печатнаго произведенія благопристойности“, имѣлъ слабость считать себя „писателемъ для дамъ“. Слышавшіе это не соглашались и утверждали противное.

Въ 1826 г. Измайловъ долженъ былъ оставить Петербургъ, такъ какъ былъ назначенъ вице-губернаторомъ въ Тверь. Журналъ пришлось прекратить, да и вообще нельзя уже было отдавать много времени литературѣ, потому что явилось много дѣлъ по службѣ. Въ тверскомъ обществѣ Измайловъ скучалъ. Причина понятна, если мы обратимъ внимание на слѣдующую сдѣланную имъ характеристику этого общества:

Не любять здѣсь литературы;
Здѣсь всѣ почти—карикатуры...
(Скажу я по секрету вамъ)
Особенно изъ старыхъ дамъ.—
Клянусь, здѣсь многія дворянки
Не стоять, право, и крестьянки:
Играютъ въ карты день и ночь
И сплетничаютъ во всю мочь,...

На тверскихъ-то дамъ и написаны сказки-сатиры: „Дворянка-буйня“ и „Бабушка и внучка“. Послѣдняя, говорятъ, задѣвъ какое-то лицо, имѣвшее связи, была причиной перевода автора на ту же должность въ Архангельскъ.

Измайловъ былъ, конечно, въ высшей степени честнымъ чиновникомъ, чemu свидѣтельствъ много, и между прочимъ его замѣчательное стихотвореніе: „Инструкція женѣ моей, тверской вице-губернаторшѣ“, гдѣ въ главѣ третьей говоритъ:

Изъ сплетницъ ежели составишь штать себѣ,
Которая придутъ къ тебѣ
Съ улыбкой цѣловать тебя не въ щечки—
И станутъ говорить тебѣ на счетъ другихъ
Нарочно злые рѣчи,
Чтобъ попросила ты меня, о чѣмъ для нихъ.
Дать мужу, напримѣръ, чинокъ иль награжденіе,
Племянничка опредѣлить,
Для кума покривить душой въ опредѣленіи,
Иль какъ-нибудь кого на службѣ притѣснить,—
То не прогнѣвайся: взбѣшуся,
На старости съ тобою разведуся.
Серьезно говорю.—
А сплетницъ кофеемъ горячимъ обварю;
Пусть жалуются хоть царю.



Человѣкъ съ такими правилами не могъ ужиться и въ Архангельскѣ, куда онъ пріѣхалъ въ 1828 г. Тамъ онъ увидѣлъ множество упущеній въ палатѣ, взяточничество, злоупотребленіе властью и недобросовѣстное отношеніе къ дѣлу самого губернатора—С. И. Миницкаго. Измайловъ началъ борьбу, но Миницкій, явившись въ Петербургъ, оклеветалъ Александра Ефимовича, и послѣдній былъ лишенъ должности. Горько было, конечно, переносить такую несправедливость, но Измайловъ утѣшалъ себя слѣдующею замѣчательною по отношенію къ тому времени мыслью, выраженною имъ въ письмѣ къ одному лицу отъ 2-го марта 1829 года: „Если бы Спаситель сошелъ опять на землю и опредѣлился въ Россійскую службу по гражданской части не въ столицѣ, а въ провинціи... не прослужить бы ему и мѣсяца въ одной губерніи: тотчасъ бы перевели въ другую, а изъ другой—въ третью, и т. д.“¹²⁶⁾

Въ началѣ 1830 г. дѣло Измайлова съ Миницкимъ все-таки было обстоятельно разобрано: губернаторъ былъ уволенъ отъ службы, а Измайловъ, жившій уже въ Петербургѣ, оправданъ; его причислили къ министерству финансовъ и дали 3000 въ годъ жалованья, хотя скоро онъ, по болѣзни, совсѣмъ вышелъ въ отставку съ пенсіей въ 2000 р. Но время между потерей вицегубернаторскаго мѣста и причисленіемъ къ министерству провелъ онъ не только въ крайности, но даже въ нищетѣ, и потому очень обрадовался, когда ему предложили давать уроки словесности въ Пажескомъ корпусѣ, где онъ скоро „снискалъ къ себѣ самое искреннее расположеніе и теплую любовь со стороны воспитанниковъ“¹²⁷⁾. Уроки эти Измайловъ давалъ до самой смерти, послѣдовавшей 16 января 1831 г. Похороненъ онъ на Смоленскомъ кладбищѣ.

Измайловъ,—говорить о немъ его біографъ,—„былъ истинно русскій добрый человѣкъ, и, знакомясь съ его личностью, мы знакомимся съ однимъ изъ честнѣйшихъ и добрѣйшихъ людей старого времени, где и среди мрака грубости и невѣжества были все же люди, память о которыхъ достойна самаго глубокаго уваженія“¹²⁸⁾. Подобнымъ же образомъ отзывается о немъ и Галаховъ. „Скажемъ откровенно“,—говорить онъ:—„есть особенное удовольствіе познакомиться съ этою личностью, по преимуществу доброю, откровенною, простодушною, чистосердечною, правдивою“¹²⁹⁾.

Памятникомъ того непріятнаго времени, когда Измайловъ не

могъ ужиться съ провинціальными взяточниками, остались стихи его: „Молитва благонамѣреннаго“:

Спаси нась, Господи, отъ злыхъ,
Избави отъ людей лукавыхъ,
Зашитникомъ будь противъ нихъ
Въ дѣлахъ и начинаняхъ правыхъ.

Когда нась не оставиша Ты,
Мы ничего не убоимся:
Ни зависти ни клеветы,
И къ правдѣ смѣло устремимся.

За правду пострадаль Ты Самъ,
Пріяль и казнь и поруганье.
За правду обѣщаешь намъ
Здѣсь—тѣжкій крестъ, тамъ—воз-
даяніе.

Ты съ кротостію поучаль
Людей незлобивыхъ, смиренныхъ;
Но лицемѣровъ обличаль,
Мздоимцевъ не щадиль надменныхъ.

И въ путь, проложенный Тобой,
Спаситель, устремимся смѣло:
Пожертвуемъ Тебѣ собой
За правое, святое дѣло.

Но рано ль, поздно ль совѣсть въ
злыхъ,
Змѣѣ подобно, пробудится
И сердце изосетъ у нихъ—
И родъ лукавыхъ истребится.

Вотъ и другое стихотвореніе, въ видѣ письма къ женѣ изъ Архангельска 1829 года:

Игуменъ образокъ мнѣ этотъ подарилъ,
И Ангелъ нась Хранитель сохранилъ
Въ Архангельскѣ, Шенкурскѣ и Мезени.
Вотъ даръ тебѣ въ день твоего рожденія:
Ни жалованья здѣсь ни взяточъ не беру;
Чѣмъ подарить другимъ?—Зато, когда умру,
Не попаду къ бѣсамъ въ подземныя селенья;
Не дѣлалъ никому по службѣ притѣсненія,
А защищалъ крестьянъ, сколь могъ, отъ разоренія.

За правду хоть теперь терплю,
А все ее такъ, какъ тебя люблю:
Амеросій *) запретилъ мнѣ ревновать лукавымъ
И беззаконникамъ. — Изсохнутъ, какъ трава,
Прощаясь, мнѣ сказалъ.—Ахъ, что за голова!
Быть лучше бѣднымъ, лишь бы правымъ.
Архіерея я ослушаться не могъ.
За правду же заплатитъ Богъ.

Главный характеръ Измайлова, какъ писателя, выяснился уже самъ собой. Прежде всего онъ замѣчательнъ, какъ авторъ первого у насъ реального романа и именно романа обличительного. Обличителемъ является онъ и въ своихъ басняхъ и сказкахъ. Какъ обличительныя, произведения его имѣютъ историческое значеніе: по нимъ можно судить о нравахъ того времени.

*) Архіепископъ тверской, съ которымъ, живучи въ Твери, Измайлова любилъ бесѣдоватъ.

Въ ходѣ развитія реальнаго направлениія въ нашей литературѣ Измайловъ играетъ роль соединительнаго звена между литературой Екатерининскаго времени и литературой позднѣйшей. Какъ писатель переходной эпохи, онъ, сравнительно съ позднѣйшими писателями-художниками, имѣть недостатки: онъ плохой психологъ, форма его произведеній грубовата.—Какъ журналистъ, Измайловъ тоже былъ въ значительной степени сатирикомъ: онъ налагалъ узду на "ретивыхъ стиходѣевъ и плохихъ подражателей Жуковскаго. Насмѣшки „Благонамѣреннаго“ надъ крайностями сентиментализма, пожалуй, не имѣютъ большого значенія, такъ какъ сентиментализмъ тогда уже исчезалъ самъ собою. Къ темнымъ сторонамъ издателя „Благонамѣреннаго“ относятся главнымъ образомъ его нападки на Пушкина и его не-расположеніе къ философіи. Послѣдній грѣхъ былъ особенно тяжелъ: обществу нашему могла бы быть очень полезна работа надъ серьезными мыслями: Измайловъ не поощрялъ, а скорѣе старался оттолкнуть умы отъ философіи.

Но, для большей полноты оцѣнки дѣятельности Измайлова, надо прибавить еще слѣдующее. Если соприкосновеніе души читателя съ честною личностью автора полезно вообще,— то къ свѣтлымъ сторонамъ Измайлова придется присоединить еще одну: онъ, не смотря на цинизмъ изображенія, могъ дѣйствовать на читателя освѣжающимъ образомъ: онъ не рисуетъ идеальное, но всегда заставляетъ помнить о немъ¹⁸⁰).

V. Нарѣжный (1780—1825).

Дѣтство и воспитаніе Нарѣжнаго.—Его первые литературные опыты.—Служба на Кавказѣ и романъ: „Черный годъ, или горскіе князья“.

Вслѣдъ за Измайловымъ выступилъ другой нашъ романистъ—Нарѣжный.

Василій Трофимовичъ Нарѣжный родился въ 1780 г. въ мѣстечкѣ Устивицы, находящемся въ нынѣшнемъ Миргородскомъ уѣздѣ Полтавской губерніи. Предки его были бѣдными польскими шляхтичами, принявшими на себя со временемъ казацкое званіе. Отецъ Нарѣжнаго уже числился дворяниномъ и нѣкоторое время служилъ въ русской военной службѣ. Н. А. Бѣлозерская, которой принадлежитъ прекрасное изслѣдованіе о Нарѣжномъ¹⁸¹), утверждаетъ, что будущій писатель въ дѣтствѣ своемъ могъ еще видѣть малороссійскихъ казаковъ, расхаживавшихъ въ черкескахъ и барабаныхъ шапкахъ, съ подбритымъ чубомъ и турецкою саблею,

привѣщеною къ персидскому поясу, а женъ и дочерей ихъ—въ старинной одеждѣ предковъ, и потому Нарѣжный не имѣлъ на-
добности, какъ впослѣдствіи Гоголь, собирать для своихъ произ-
веденій свѣдѣнія о старыхъ обычаяхъ и выписывать образцы на-
родныхъ одеждъ. „Онъ видѣлъ и зналъ ихъ съ дѣтства, видѣлъ
старинныя казацкія хаты съ ихъ тогдашимъ убранствомъ, широкіе
рѣшетчатые дворы сотниковъ и дома ихъ, раздѣленные на двое,
съ сквозными сѣнями и просторнымъ покоемъ, гдѣ въ старину
производился судъ и устраивались пиры. Еще живы были внуки
и правнуки участниковъ войнъ Хмельницкаго. Разсказы ихъ о
казацкихъ подвигахъ и послѣднихъ гетманахъ, слышанные въ
дѣтствѣ должны были глубоко врѣзаться въ памяти Нарѣжнаго и
не могли быть забыты имъ подъ вліяніемъ новыхъ впечатлѣній,
ни даже продолжительной чиновничьей службы на далекомъ сѣ-
верѣ. Онъ самъ видѣлъ мѣста повѣстуемыхъ событій, и въ его
воображеніи создались готовыя картины; ему оставалось только
группировать ихъ. Этому обстоятельству Нарѣжный обязанъ осно-
вательнымъ знакомствомъ съ историческою и бытовою Малорос-
сіею, о которомъ свидѣтельствуютъ его произведенія“ ¹⁸²⁾.

Въ 1792 г. Нарѣжный былъ отданъ въ дворянскую гимназію
при Московскому университетѣ. Но гдѣ онъ учился раньше? Бѣ-
лозерская предполагаетъ, что въ бурсѣ. „Въ тѣ времена“—гово-
рить она—„въ Малороссіи только богатые держали дома учителей;
остальные воспитывали своихъ дѣтей въ первоначальныхъ шко-
лахъ, учрежденныхъ при монастыряхъ и церквяхъ, а затѣмъ въ
семинаряхъ. При послѣднихъ «на вклады щедрыхъ обывателей»,
устроены были для бѣдныхъ иногородныхъ учениковъ просторныя
хаты, называвшіяся «бурсами», съ печью и широкими скамьями
по стѣнамъ. Жизнь и нравы тогдашихъ малороссійскихъ бурсаковъ
такъ живо и наглядно изображены въ извѣстномъ романѣ Нарѣжнаго: «Бурсакъ», что этому разсказу необходимо придать
автобіографическое значеніе“ ¹⁸³⁾. На основаніи нѣкоторыхъ дан-
ныхъ Бѣлозерская даже думаетъ, что бурса, въ которой учился
маленький Нарѣжный, была не иная, какъ черниговская.

Какъ бы то ни было, въ указанномъ выше году Нарѣжный
поступилъ въ гимназію, которая главною цѣлью имѣла подготов-
леніе будущихъ студентовъ университета. Кромѣ обычныхъ пред-
метовъ, тамъ изучали языки классические и новые. Въ гимназіи
Нарѣжный учился шесть лѣтъ, оказалъ средніе успѣхи, и былъ
„произведенъ въ студенты“. Въ университѣтѣ онъ пробылъ два
года, слушая курсъ наукъ словесныхъ и отчасти философскихъ.

Кто и какъ изъ воспитателей вліялъ на Нарѣжнаго, какъ на будущаго писателя,—сказать съ точностью трудно: можетъ быть, болѣе другихъ имѣль вліяніе П. А. Сохацкій, поклонникъ классицизма, бывшій вмѣстѣ и профессоромъ университета и инспекторомъ гимназіи. По крайней мѣрѣ первые литературные опыты Нарѣжнаго, относящіеся къ его гимназическимъ еще годамъ, принадлежать къ разряду ложноклассическихъ. Таковы, напримѣръ, его поэмы: „Брега Алты“, где героемъ является Святополкъ, и „Освобожденная Москва“—освобожденная отъ нашествія Тамерлана. Вотъ нѣсколько строкъ изъ послѣдней:

Насталь день рокъ: Тамерланъ,
Россійской кровью окропленный,
Взошедъ въ татарскій черный станъ,
Вѣщалъ: „Агаряне, внемлите!
Насталь геройскій часъ; Москва
Не хощеть быть вольна; спѣшите,
Да въ прахъ падеть градовъ глава!
Мы стѣны разоримъ, чертоги
Наполнимъ кровью; огнь и дымъ
Пошлемъ, где обитають боги,
И кто мы—всюду возвѣстимъ.
Толпѣ волковъ, за мной идущей,
Я трупы россии предаю;
Россійской кровью, здѣсь текущей,
Я хищныхъ врановъ упою;
И слава наша надъ звѣздами
Заутра воспарить крылами“...

Обѣ поэмы были напечатаны въ 1798 г. въ журнале: „Пріятное и полезное препровожденіе времени“, однимъ изъ редакторовъ которого былъ именно Сохацкій.

Въ студенческіе годы юный поэтъ сталъ пробовать свои силы въ трагедіи: въ 1800 г. онъ написалъ, между прочимъ, слабую трагедію: „Дмитрій Самозванецъ“, въ которой подражалъ „Разбойникамъ“ Шиллера.

Первая мысль приняться за романъ, который и былъ истиннымъ призваніемъ Нарѣжнаго, явилась у него лишь на Кавказѣ.

Оставя университетъ осенью 1801 года, слѣдовательно, не окончивъ въ немъ полнаго курса (неизвѣстно, по какой причинѣ), Нарѣжный поступилъ на службу „у письменныхъ дѣлъ“ къ правителью Грузіи—Коваленскому. Грузія тогда только что перешла въ подданство русскаго государя. Состояніе страны было ужасное: при послѣдніхъ царяхъ своихъ она дошла до полнаго внутренняго разложенія и анархіи; царевичи въ своихъ удѣлахъ, а дво-

ряне въ своихъ владѣніяхъ своеольничали; крестьяне были разорены; малочисленное войско, нерѣдко вооруженное лишь однѣми дубинами, не могло служить поддержкою царской власти, не могло и защитить страну отъ безпрестанныхъ набѣговъ сосѣднихъ горцевъ. Къ тому же Грузіи предстояла постоянная опасность и со стороны Персіи и Турціи. Ослабленной, стѣсненной и разоренной, ей не оставалось ничего иного, какъ искать спасенія въ силѣ русского государя.—12 сентября 1801 г. подписанъ былъ манифестъ, по которому уничтожалось Грузинское царство и учреждалось такъ называемое „Верховное грузинское правительство“. Главнокомандующимъ въ Грузіи и вообще на кавказской линіи былъ назначенъ генералъ Кноррингъ, а гражданскимъ правителемъ д. с. с. Коваленскій. Императоръ Александръ, конечно, желалъ присоединенной странѣ всякаго блага—и упомянутымъ лицамъ поручилъ „устроить на прочномъ основаніи благоустройство Грузіи и во всемъ сообразоваться съ нравами, обычаями и умонарчествомъ грузинского народа“. Между тѣмъ и Кноррингъ и Коваленскій, во-первыхъ, медлили своимъ прѣѣздомъ, а во-вторыхъ, и по прѣѣздѣ дѣйствовали несоответственно волѣ государя. Безпорядки, злоупотребленія, произволъ продолжались, пока наконецъ правящія лица не замѣнены были другими.

Нарѣжный прѣѣхалъ въ Тифлісъ за нѣсколько мѣсяцевъ до открытия „Верховного правительства“, послѣдовавшаго лишь въ маѣ 1802 г., и оставался на службѣ при Коваленскомъ до 14-го мая 1803 г. Такимъ образомъ онъ могъ видѣть Грузію не только во время дѣйствія „Верховного правительства“, но и въ послѣдніе дни ея самоуправленія. Результатомъ наблюдений Нарѣжнаго и появился романъ его: „Черный годъ, или горскіе князья“, напечатанный въ 1829 г., но написанный, конечно, несравненно раньше, подъ свѣжими впечатлѣніями видѣннаго.

Романъ этотъ есть главнымъ образомъ сатира на крайне безпорядочное состояніе Грузіи, на дикіе азіатскіе порядки времени ея самоуправленія, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ есть злая сатира и на порядки при управлѣніи Коваленскаго и Кнорринга. Однако желаніе осмѣять эти лица и ихъ управлѣніе, видимо, боролось съ чувствомъ страха предъ сильными чиновниками, и авторъ постарался сатиризу свою какъ можно болѣе замаскировать, и даже до того, что мѣстомъ дѣйствія является у него не Грузія и Тифлісъ, а уголокъ въ Осетіи, Кабарда и Астрахань. И при всемъ томъ авторъ все-таки не могъ рѣшиться напечатать свой романъ: онъ вышелъ уже по смерти его. Что же касается до литературной

формы, то Нарѣжный въ этомъ отношеніи подражалъ тѣмъ многочисленнымъ иностраннымъ романамъ, которые извѣстны подъ названіемъ „романовъ съ приключеніями“ (*romans d'aventures*). Подражая имъ, Нарѣжный ввелъ въ разсказъ множество лицъ, множество самыхъ причудливыхъ и часто даже неправдоподобныхъ приключений, ввелъ очень запутанную любовную завязку, и всѣмъ этимъ придалъ своему роману въ значительной степени видъ очень замысловатой восточной сказки, чтеніе которой, говоря вообще, теперь сопровождается уже чувствомъ немалаго утомленія. Но все же тѣ мѣста, въ которыхъ можно видѣть болѣе или менѣе прозрачные намеки на современность, пробуждаютъ нѣкоторый интересъ.

Суть романа заключается въ слѣдующемъ. Кайтукъ, слабый и ничтожный князекъ одного осетинского уголка, мнитъ себя чуть не Великимъ Моголомъ. „Если вѣсить достоинство моего происхожденія на вѣсахъ истины“,—говоритъ онъ,—„то въ семъ отношеніи не уступлю я ни самому Моголу Великому, не говоря уже о мелкихъ азіатскихъ владѣльцахъ, о коихъ послѣ довольно наслышался. Родитель мой былъ одинъ изъ важнѣйшихъ князей, владѣвшихъ на крутизнахъ горъ Кавказскихъ... Обширное владѣніе отца моего простидалось по крайней мѣрѣ на двадцать стадій въ окружности, а подданныхъ было не менѣе ста домовъ. Кто-нибудь скажетъ: это весьма не много! Но развѣ не все равно, если бы ихъ было и нѣсколько тысячъ? Быть владѣтелемъ одного или сотни подобныхъ себѣ существъ, кажется, не составляетъ большой разности. У него были два верблюда, которыхъ называлъ онъ горбатыми слонами, до ста горскихъ лошадей и довольноное число быковъ и коровъ; а овецъ, барановъ, козловъ и козъ—тъма тѣмущая“ ¹⁸⁴⁾.

Невѣжественный, но гордый Кайтукъ, отъ лица которого и ведется разсказъ въ романѣ, устраиваетъ свой дворъ на подобіе дворовъ большихъ азіатскихъ государствъ: одного изъ приближенныхъ нарекъ онъ визиремъ, другого—сардаромъ (главнокомандующимъ), третьяго—назиромъ (казнохранителемъ). Но такъ какъ княжеская казна была въ достаточной мѣрѣ пуста, то для пополненія ея визирь Шамагулъ, великий политикъ, придумалъ учредить орденъ нагайки и сочинилъ его уставъ. Самыми важными статьями устава были 10-я и 11-я: онъ гласили, что всякий пожалованный новымъ орденомъ обязанъ „съ благоговѣніемъ подставить спину свою для принятія дюжины полновѣсныхъ ударовъ нагайкою“, а затѣмъ, по полученіи самаго ордена, т.-е. того орудія, которое только что

производило знаки на его спинѣ, а потомъ втыкалось ему за поясъ для постояннаго ношения, обязанъ онъ уплатить въ княжескую казну десять юзлуковъ (т.-е. 10 золотыхъ персидскихъ монетъ).

Когда Шамагулъ прочелъ Кайтуку эти статьи, тотъ вскричалъ съ восторгомъ: „Превосходно! Статья десятая и одиннадцатая достойны быть написаны золотыми буквами. Онѣ возвеличивають славу нашу и утучняютъ государственную мошну. А чтобы дѣло это было еще полнѣе, то поставь двѣнадцатую статью, что князь властенъ жаловать одного и того же человѣка кавалеромъ столько разъ, сколько государственная польза того потребуетъ“.

Кто не хотѣлъ „добровольно имѣть честь быть кавалеромъ“ изобрѣтенного ордена, того жаловали имъ насильно, но въ такомъ случаѣ жалуемый, вмѣсто положенной по уставу одной дюжинѣ ударовъ, получалъ ихъ дюжинъ до десяти.

Само собою разумѣется, что подданные такими порядками не весьма были довольны, тѣмъ болѣе, что уставъ ордена нагайки дозволялъ кавалерамъ всякаго рода безчинства и насилия. Къ тому же и самъ Кайтукъ не отличался большимъ уваженiemъ къ стариннымъ обычаямъ своего народа.

Къ недовольству внутри присоединилось и недовольство извнѣ: желая вступить въ бракъ съ прекрасною Сафирой, Кайтукъ нашелъ себѣ соперника въ Кубашѣ, сынѣ состѣдняго князя Кунака, и чтобы отдеяться отъ него, онъ заманилъ его въ ловушку, поймалъ и засадилъ въ землянку. Кунакъ объявилъ Кайтуку войну. Войско Кунака было вооружено исправно, а воины Кайтука по большей части лишь однѣми дубинами да орденскими нагайками. Кайтукъ сраженіе проигралъ и долженъ былъ бѣжать. Отсюда начинается повѣствованіе о длинномъ рядѣ бывшихъ съ нимъ приключеній, послѣ которыхъ онъ, благодаря хитроумному своему визирю Шамагулу, снова становится княземъ своего народа, женится на Сафирѣ, и дѣлается государемъ добрымъ и мудрымъ. Мѣстомъ приключеній Кайтука являются главнѣйшимъ образомъ Моздокъ, Кизляръ и Астрахань.

Въ очеркѣ Кайтукова княжества есть, безъ сомнѣнія, намекъ на тогдашнее печальное состояніе Грузіи, но вмѣстѣ съ тѣмъ въ чертахъ самого Кайтука и его визиря Шамагула можно узнать отчасти и черты Коваленскаго, который тоже позволялъ себѣ разнаго рода злоупотребленія и неуважительно относился къ обычаямъ той страны, которою управлялъ. Къ нему-то и надо относить нѣ-

которая замѣчанія автора, высказываемыя то отъ того, то отъ другого лица романа, замѣчанія въ родѣ слѣдующихъ:

„Положимъ, что власть законная должна обуздывать стремленіе буйства, какъ мы обуздываемъ дѣкаго коня: но тутъ всегда должны быть присутственны кротость и строгая, разсмотрительная справедливость, а не одно слѣпое киченіе и насилиство“ (ч. I, 148—149). Коваленскій именно и отличался высокомѣриемъ, и строгая справедливость при немъ вовсе не была „присутственна“.

„Всякія новизны, вводимыя владѣтелемъ въ своемъ народѣ, могутъ вводимы быть только исподволь, непримѣтно, и такимъ владѣтелемъ, который пріобрѣлъ къ себѣ довѣренность, любовь и почтеніе своею мудростью, опытностью въ правлѣніи“ (I, 172—173). Коваленскій не только круто вводилъ новые порядки, но вводилъ ихъ такъ, что возбуждалъ сильное неудовольствіе въ странѣ и даже волненія.

Черты личности Кнорринга, жившаго то въ Кизлярѣ, то въ Моздокѣ, и имѣвшаго право контролировать дѣйствія Коваленскаго, но относившагося къ дѣламъ въ Грузіи съ какимъ-то равнодушіемъ, черты этого главнаго начальника можно замѣтить въ астраханскомъ ханѣ Самсутдинѣ, который относится къ управлению апатично, слѣпо довѣряетъ своимъ любимцамъ и всего болѣе дорожить покоемъ и вкуснымъ обѣдомъ.

Впрочемъ многія мѣста романа таковы, что ихъ одинаково можно относить какъ къ порядкамъ чисто грузинскимъ, такъ и къ порядкамъ управления лицъ, посланныхъ императоромъ Александромъ. Таково, напримѣръ, слѣдующее мѣсто. Кайтукъ засѣдаетъ въ Совѣтѣ. Стражъ, караулившій землянку Кубаша, уже провѣдалъ о намѣреніи Кунака начать войну съ Кайтукомъ, и, встревоженный, вѣгаетъ въ Совѣтъ. „Мы всѣ“—разсказываетъ Кайтукъ—„единогласно ахнули, и на вопросъ: что это значитъ? получили въ отвѣтъ: «О князь! о вы, мудрые совѣтники! выслушайте общую опасность».—Говори, сказалъ я. И едва воинъ разинулъ ротъ пошире, дабы вѣщать явственнѣе, какъ одинъ изъ придворныхъ служителей вѣжалъ еще проворнѣе, и объявилъ, что если мы будемъ мѣшкать въ своемъ Совѣтѣ, то весь обѣдъ простишь и—хоть брось!—Совѣтники уважили такое представление, замѣтивъ, что слушать обѣ опасностяхъ, угрожающихъ отечеству, никогда не поздно; а если прозѣвать обѣдъ, такъ надо будетъ ждать ужина! Замѣчаніе сіе мнѣ понравилось; я пригласилъ важнѣйшихъ особъ къ своему обѣду, а воину вѣгѣль

дожидать на дворцовомъ крыльцѣ, пока позванъ не будетъ” (I, 106—107).

Тутъ авторъ зло посмѣялся вообще надъ тѣми правителями, русскими или грузинскими, которые свои личные интересы, и при томъ часто низменные, ставили выше долга.

Дальнѣйшія біографическія свѣдѣнія о Нарѣжномъ.—Его „Славенскіе вечера“.—Вліяніе на нихъ произведеній западно-европейской литературы и памятниковъ русской старины.—Отсюда—пестрый ихъ характеръ.—Субъективный элементъ въ нихъ, опредѣляющій чувства, мысли и идеалы автора.

Оставивъ въ 1803 г. службу на Кавказѣ, Нарѣжный прѣѣхалъ изъ Тифлиса въ Петербургъ, гдѣ и получилъ очень незначительное мѣсто въ Экспедиціи государственного хозяйства (по министерству внутреннихъ дѣлъ). „При отсутствіи данныхъ“,—говорить біографъ Нарѣжнаго,—„трудно рѣшить, какими путями Василій Трофимовичъ получилъ мѣсто въ Петербургѣ, чуждомъ для него городѣ, такъ какъ, повидимому, не обладалъ искусствомъ заводить полезныя знакомства и находить сильныхъ покровителей“.—Можетъ быть, онъ обязанъ былъ въ этомъ отношеніи своему университетскому образованію,—предполагаетъ біографъ,—а можетъ быть, и рекомендательнымъ письмамъ¹⁸⁵). Какъ бы то ни было, но служба въ означенной Экспедиціи отнимала у Нарѣжнаго очень много времени, ибо графъ Кочубей, обративъ внимание на государственное хозяйство, вводилъ преобразованіе за преобразованіемъ—и чиновники были заняты усиленной работой. Этимъ и объясняется, почему въ литературной дѣятельности Нарѣжнаго произошла значительная остановка. Только съ переходомъ на службу въ Горную экспедицію, въ 1807 г., явилось у него больше свободнаго времени, и въ 1809 г. онъ напечаталъ свои „Славенскіе вечера“.

„Славенскіе вечера“—это рядъ небольшихъ повѣстей. Всѣхъ ихъ 11, но въ 1809 г. вышло только 8, а остальные были прибавлены позднѣе. Нѣкоторое понятіе объ этихъ повѣстяхъ даетъ уже слѣдующее маленькое къ нимъ вступленіе.

„На величественныхъ берегахъ моря Варяжскаго, тамъ, гдѣ вѣчно-юныя сосны смотрятся въ струи Невы кроткія, въ отдаленіи отъ пышнаго града Петрова и вѣчнаго грохота, по стогнамъ его звучащаго,—при склонѣ солнца багрянаго съ неба свѣтлаго въ волны румяныя, часто люблю я наслаждаться красотой земли и неба великолѣпіемъ, склоняясь подъ тѣнь деревъ высокихъ, и обращая въ мысляхъ времена протекшія“.

„Тамо иногда сонмъ друзей моихъ и прелестныхъ дѣвъ земли Русскія окружаетъ меня. Кроткое пѣніе ихъ разливается по берегу, и, журча вдали среди кустовъ зеленыхъ, теряется въ пространствѣ воздуха.“

„Иногда берутъ они звонкія орудія, и свѣтлыми звуками ихъ прославляютъ величіе добродѣтели и вѣрныхъ друзей ея. Потомъ—гласы ихъ смягчаются, звоны орудій едва примѣтны. Они поютъ любовь невинную и ея пріятности.“

„Въ кроткомъ упоеніи души я вѣщалъ имъ:

«Видѣлъ я страны чуждыя и красоты земель отдаленныхъ; видѣлъ весну цвѣтнѣе, видѣлъ лѣто блистательнѣе, видѣлъ осень обильнѣе благословеніями полей и вертоградовъ, нежели въ странѣ нашей; но нигдѣ не видаль я старцевъ почтеннѣе, мужей величественнѣе, юношей любезнѣе и дѣвъ прекраснѣе, какъ въ землѣ Славеновой».

«Воспой намъ», вѣщали они мнѣ: «воспой намъ пѣсни о доблестяхъ витязей и прелестяхъ дѣвъ земли Русскія во времена давно-протекшія!»

«Исполню желанія ваши», отвѣтствовалъ я. «При закатѣ солнца лѣтняго въ воды тихія, приходите сюда внимать моему пѣнію. Повѣдаю вамъ о подвигахъ ратныхъ предковъ нашихъ и любезности дѣвъ земли Славеновой»¹⁸⁶.

Затѣмъ слѣдуютъ самыя повѣстіи:

1) Кій и Дулебъ, 2) Славенъ, 3) Рогдай, 4) Велесиль, 5) Громобой, 6) Ирена, 7) Мирославъ, 8) Михаиль (князь черниговскій, замученный въ Ордѣ Батыемъ), 9) Любославъ, 10) Игорь (мужъ Ольги). Всѣ сюжеты взяты изъ древне-русской жизни, и только послѣдняя повѣсть—„Александръ“—относится къ событиямъ, современнымъ автору. Сперва мы будемъ говорить только о первыхъ десяти повѣстяхъ.

По содержанію своему, повѣстіи „Славенскихъ вечеровъ“ представляютъ смѣсь отчасти лѣтописныхъ и былинныхъ разсказовъ, отчасти мотивовъ, заимствованныхъ изъ западно-европейской литературы, а отчасти и плодовъ собственной фантазіи автора. Вотъ, напримѣръ, какъ составлена повѣсть: „Михаиль“. Князь черниговскій находится въ плѣну въ Золотой Ордѣ. Въ него влюбляется дочь Батыя—Зюлима, прекрасная, какъ Афродита, „когда она впервые явилась въ сословіе боговъ“, или какъ „юная Лада, дщерь Свѣтовида и Царицы земли, когда она впервые, на берегахъ Буга, при восклицаніяхъ цѣлой природы, открыла прекрасное лицо свое“. Зюлима просить у отца согласія на бракъ

съ Михаиломъ. Батый ставить условіемъ, чтобы Михаилъ поклонился Магомету. „Какъ скоро началъ я чувствовать себя, поклялся быть вѣрнымъ Богу и отечеству, и съ симъ чувствомъ сиду въ гробъ“—быль отвѣтъ князя Михаилъ принимаетъ мучническую смерть, а Зюлима закалываетъ себя кинжаломъ.—Авторъ, конечно, пользовался сказаніями о Михаилѣ Черниговскомъ, вѣрно изобразилъ его характеръ, какъ мужественнаго человѣка, какъ твердаго христіанина, умирающаго за вѣру, но внесъ въ повѣсть, какъ плодъ своей фантазіи, романіческій элементъ.

Еще болѣе дано мѣста фантазіи въ другихъ повѣстяхъ. Многія изъ нихъ писались подъ очевиднымъ вліяніемъ рыцарскихъ романовъ. Это вліяніе болѣе всего сказалось въ повѣсти „Громобой“.

Громобой, „оруженосецъ“ Добрыни, служилъ до того оруженосцемъ у косожскаго князя, въ дочь котораго и влюбился. Княжна платила ему взаимностью. Но такъ какъ руки ея искали многіе, то участъ соперниковъ должна была рѣшиться при помоши состязанія оружіемъ, т.-е. чѣмъ-то въ родѣ турнира. Громобой оказался побѣдителемъ, но тутъ новое препятствіе: князь не хочетъ выдать дочь за простого оруженосца. Громобой покидаетъ косожскую землю и поступаетъ на службу къ Добрынѣ. Добрыня, узнавъ о горѣ Громобоя, везетъ его къ князю Владимиру, и тотъ „опоясалъ оруженосца мечомъ витязя и возложилъ на грудь его гривну княжескую“. Между тѣмъ на косожскаго князя напали враги; Громобой и Добрыня спасаютъ его, и „великій служитель Лады совокупилъ чету прелестную“.

Нельзя также не замѣтить вліянія и пѣсенъ Оссіана, переводъ которыхъ на русскій языкъ вышелъ еще въ 1792 г. Нарѣжный усвоилъ торжественный тонъ этихъ пѣсенъ и форму обращенія къ природѣ, напримѣръ, къ солнцу, мѣсяцу, звѣздамъ, вѣтру и проч. Такъ, напримѣръ, повѣсть: „Михаилъ“ начинается такимъ обращеніемъ къ солнцу: „Ты склоняешься уже, солнце небесное, отъ взоровъ нашихъ! Въ послѣдній разъ сего вечера златиши ты жемчужныя крылія облака легкаго, на коемъ нѣкогда, во дни давнопротекшіе, безплотные духи витязей любили покойтесь и въ послѣдній разъ упиваться вечернимъ свѣтомъ твоимъ. Посли же, солнце небесное, посли къ намъ звѣзду вечернюю и мѣсяцъ серебряный; я хочу пѣть о любви къ отечеству, священной любви, достойной мужа великаго, но и еще священнѣйшей—любви къ вѣрѣ отцовъ своихъ“.

— 150 —

Усвоена Нарѣжнымъ и Оссіановская манера изображать мрачные и грозные картины природы. Такъ, напримѣръ, повѣсть: „Кій и Дулебъ“, въ которой повелитель дикихъ племенъ Дулебъ убиваетъ себя изъ-за того, что не хочетъ быть рабомъ Кія, заканчивается слѣдующимъ образомъ. Дулебъ убилъ себя собственюю стрѣлою; Кій, изъ уваженія къ его храбрости „въ дни битвъ кровавыхъ“, велѣль надъ тѣломъ князя насыпать высокій курганъ такъ, чтобы растущіе кедры и сосны осѣняли его подножіе. И разсказавъ объ этомъ, авторъ прибавляеть: „Часто, въ бурную ночь, когда вѣтры потрясали въ корнѣ древа сіи вѣчно-зеленые; когда молніи, разсѣяная небо, и громы, рыкая на вершинахъ горъ, приводили въ трепетъ неустрашимыхъ странниковъ; когда мѣсяцъ, едва мерцая сквозь тучи свинцовые, блѣдно посребрѣяль крылья ихъ быстротекущія,—часто ловцы звѣрей и странные витязи видѣли, какъ духъ Дулебовъ, въ видѣ столба огненнаго, грозно носился надъ вмѣстилищемъ праха своего, опершись на облака громовыя“.

Въ духѣ Оссіана написано и начало повѣсти: „Славенъ“. „Мрачна душа моя, подобно дню осеннему“,—говорить о себѣ авторъ:—„мысли мои разсѣяны, какъ легкія струи тумана, вѣтромъ развѣваемаго; хладны чувства мои, какъ снѣга, покрывающіе берега озера Ильменя, когда бѣлая зима одѣнетъ ихъ мрачною ризой. Много великихъ и сильныхъ склонили тамъ главы свои,—но гдѣ имена ихъ?—Процвѣтали грады и веси многолюдные,—но гдѣ мѣста ихъ существованія? Увы! Се ли награда доблести? Се ли утѣшеніе въ трудахъ, коими приобрѣтается слава міра сего?—приобрѣтается имя Великаго? Двадесять шестую весну жизни моей встрѣчаю я на каменистомъ берегу семъ, въ который ударяются свирѣпѣющія волны моря Варяжскаго. Дико воетъ вѣтеръ въ ущелья кремнистые,—и душа моя не находитъ мира и радости въ обновляющейся природѣ. Съ тѣхъ поръ, какъ впервые взглянуль я на страну подлунную, и первый вопль мой означеновалъ участъ жизни, до сихъ минутъ сколько пало царей съ ихъ престолами! Сколько областей вольныхъ преклонили главы подъ цѣпями буйства и насилия! сколько мужей славныхъ и великихъ сокрыты въ могилахъ или осуждены не видать страны отеческой, не дышать воздухомъ привычнымъ, не зреТЬ солнца надъ гробами отцовъ своихъ. Участъ, ужаснѣйшая смерти!“

Но вліяніе произведеній западно-европейской литературы на „Славенскіе вечера“ было во всякомъ случаѣ, такъ сказать, привходящимъ; главнымъ же побудителемъ къ составленію этихъ по-

вѣстей, въ которыхъ прежде всего брасается въ глаза обращеніе Нарѣжнаго къ русской старинѣ, былъ, конечно, начавшій распространяться у насъ интересъ къ изученію нашей древности. Правда, интересъ этотъ не захватывалъ еще большого круга людей: общество жило главнымъ образомъ тѣмъ, что шло изъ Франціи, галломанія доходила до огромныхъ размѣровъ,—но все же былъ кружокъ людей, хотя и весьма ограниченный, который обратилъ свое вниманіе на русскую старину. Еще въ концѣ XVIII в. стали издаваться наши старинные исторические памятники; въ 1800 г. появилось изданное Мусинымъ-Пушкинымъ „Слово о полку Игоревѣ“; въ 1804 г. вышло собраніе былинъ, сдѣланное Киршемъ Даниловымъ. Это движеніе въ сторону, противоположную французскому теченію, коснулось, очевидно, и Нарѣжнаго—и онъ захотѣлъ „повѣдѣть“ своимъ современникамъ „о подвигахъ ратныхъ предковъ нашихъ и любезности дѣвъ земли Славеновой“.

Но авторъ не умѣлъ еще выдержать колорита русской старины, не умѣлъ остатися вѣрнымъ исторической правдѣ, и повѣсти его явились смѣсью и русскаго съ нерусскимъ и историческаго съ вымысломъ. Вслѣдствіе этого характеръ повѣстей представляется именно какимъ-то пестрымъ. Пестрымъ же характеромъ отличается и самый слогъ ихъ. Отчасти это—языкъ Карамзинскій, отчасти—такой, который могъ бы понравиться и любителю стариннаго слога—Шишкову. Болѣе всего архаизмовъ, какъ справедливо замѣтила Бѣлозерская, встрѣчается въ повѣсти: „Любославъ“. Вотъ образчикъ:

„Любославъ восклонился на руку, поднялъ очи свои и воззвалъ къ небу, звѣздами цвѣтущему: «Почто, мѣсяцъ любезный, такъ кротко помаваешь ты жемчужными власами... Покрай, о мѣсяцъ, кристальное чело свое тучею непроницаемой; отклоните, звѣзды, яркіе взоры свои отъ князя несчастнаго! Для духа моего способнѣе, вожделѣннѣе блуждать въ дубравахъ мрачныхъ, подъ наметомъ пасмурнаго неба, озаряемымъ златою молніею»... Возсталъ и пошелъ... Нощь прошла въ пѣшешествіи“ и проч.

Однако, сколько бы ни было погрѣшностей въ „Славенскихъ вечерахъ“, все же они были обращеніемъ къ нашей старинѣ—и уже это одно очень важно. Первые попытки воспроизвести нашу старину, каковы, напримѣръ, повѣсти Карамзина и „Славенскіе вечера“ Нарѣжнаго, и не могли быть вполнѣ удачными, но важно уже то, что ими положено начало обработкѣ русскаго историческаго романа.

Г. Бѣлозерская, остановясь довольно долго на „Славенскихъ вечерахъ“, ничего однако не сказала объ отразившейся въ нихъ личности самого автора, а между тѣмъ этотъ субъективный элементъ въ разсматриваемыхъ повѣстяхъ Нарѣжнаго нельзя не считать очень важнымъ: имъ опредѣляются мысли и чувства автора и его идеалы. „Славенскіе вечера“—это тоже своего рода проповѣдь гуманности, при чёмъ авторъ ясно обнаруживаетъ свою мысль, направленную къ той истинной, культурности, которая дѣлаетъ человѣка человѣкомъ.

Уже первая повѣсть: „Кій и Дулебъ“ занята проповѣдью человѣчности. „Дикія толпы, скитавшіяся среди горъ Днѣпровскихъ, познали благо общежитія и покорили умы свои Кію, мудрому князю полянскому. Онъ далъ имъ миръ и судъ, поучалъ народы свои познавать боговъ и чтить ихъ велѣнія“. Противоположность Кію представляла „покрытый кожею медвѣдя, окруженный тысячами дикихъ своихъ послушниковъ, лютый Дулебъ. Онъ упивался кровью плѣнныхъ, и дикий, неистовый вопль радости его народа мѣшался съ ревомъ звѣрей пустынныхъ“. Этотъ-то Дулебъ задумалъ однажды посвататься за дочь Кія—Лебеду. Кій поставилъ условіемъ, чтобы Дулебъ со своимъ народомъ оставилъ суровый образъ жизни и покорился человѣчнымъ „законамъ Кіевымъ“. Дулебъ не согласился—и объявилъ Кію войну. Оба войска уже стоять другъ противъ друга. Изъ среды кіевлянъ выдѣляется старецъ, напоминающій Оссіановыхъ бардовъ, и поетъ:

„Хвала и честь мужамъ мудрости! Гибель и поношеніе сына мъ гордости и неразумія!“

„Куда стремитесь вы, обитатели горъ и вертеповъ? чого ищете вы, бурныя дѣти страстей своихъ?“

„Веселіе питаетъ душу земного странника; но веселіе кровопролитіемъ не обрѣтается!—Радость свойственна душамъ нашимъ; но радость не обитаетъ въ долинахъ, устланныхъ трупами!—Необходимо для духа великаго искать блага; но кто обрѣтеть его въ насилии?“

„Куда жъ стремитесь вы, обитатели горъ и вертеповъ? Чего ищете вы, бурныя дѣти страстей своихъ?“

Пѣсня произвела впечатлѣніе на воиновъ Дулеба, они опустили булавы и, опершись на нихъ, въ изумленіи внимали словамъ старца, который продолжалъ:

„Что есть настоящая радость ваша?—Она есть веселый вопль звѣря пустыннаго, терзающаго въ когтяхъ своихъ добычу робкую!—Но радость таковая не есть удѣлъ человѣчества“.

«Что есть слава ваша?—Слава духа Чернаго, утѣшающагося бѣдствиемъ и преступлениемъ человѣковъ!—Но не таковая слава опредѣлена благороднѣйшему изъ созданий».

«Что есть вся жизнь ваша?—Она есть мракъ дубравной пещеры, въ которой вѣютъ вѣтры буйные, раздается стонъ—и звѣри дикие съ ужасомъ уклоняются.—Но таковая ли жизнь назначена наперснику небесъ?»...

«Вы возвращаетесь съ полей битвы, пораженные. И пустынныя супруги ваши не прольютъ слезъ сожалѣнія! Вы не дали имъ познать радостей жизни и прелестей свободы!»

«Вы возвращаетесь побѣдителями. И робкія подруги жизни вашей, и юные плоды любви вашей не встрѣчаютъ васъ улыбкою! Они привыкли взирать на васъ побѣдителей, какъ на буйныхъ властелиновъ, прихотливыхъ рабовъ гордости и жестокостей!»

«Что же вся жизнь ваша, когда солнце радости не озлащаетъ днѣй вашихъ; когда мѣсяцъ, протекая нощное небо ваше, изливаетъ лучи свои на страну хладнаго унынія?»

Дулебяне еще больше поддались вліянію пѣсни, „мракъ и звѣрство улетѣли съ ланитъ ихъ“. А старецъ между тѣмъ пѣлъ далѣе:

„Обратитесь же, сыны мрака и горести, на путь жизни истинной—и вы будете мгновенно друзья и братья племени полянскому, вы учинитесь дѣти свѣта и веселія. Улыбка возсіяеть на лицахъ вашихъ, и въ дому вашемъ водворится цѣль жизни нашея, награда величія, утѣшеніе во дни мрака душевнаго, отрада во всякое время, водворится любовь со всѣми своими прелестями“.

Старецъ побѣдилъ дулебянъ: они захотѣли „познать счастіе жизни“, и „оба воинства заключили другъ друга въ братскія объятія“. Только самъ Дулебъ не согласился подчиниться „законамъ Кія“: гордость и злоба волновали его грудь—и онъ вонзилъ въ нее свою собственную стрѣлу.

Проповѣдуя гуманность, авторъ „Славенскихъ вечеровъ“ вмѣстѣ съ тѣмъ горько жалуется на людскую неправду и развращенность. Эту жалобу свою онъ влагаетъ въ уста Любослава, когда заставляетъ его обратиться къ иноку Іоилу съ слѣдующими словами: „Святый обитатель дубравы! я пришелъ къ тебѣ повѣдать скорбь души моей и просить совѣта: могу ли я еще на землѣ сей обрѣсти счастіе? или оно уже не существуетъ для меня въ мірѣ семъ, исполненномъ неправды и разврата?“ ¹⁸⁷⁾ Иногда мысль о людской неправдѣ погружаетъ автора въ глубокую скорбь, находящую себѣ утѣшеніе только въ мысли о небесномъ Право-

судіи. „Благословляю Тебя, существо непостижимое, но великое и благодѣтельное!“—говорить онъ устами старца Мирослава.— „Познаю вину истинную, почто Богъ любви и милосердія ополчается гнѣвомъ великимъ, разрушаетъ жизнь, прежде дарованную,—и приводить въ трепетъ міры съ ихъ обитателями!—И теперь, когда гремиши Ты въ превыспреннихъ... когда риза Твоя горитъ огнями поражающими,—и теперь есть убійцы и хищники, есть клятвопреступники и обольстители.—Что же было бы на землѣ несчастливой, когда бы злобныя обитатели ея безпрерывно зрели вѣчную благость Твою, никакими злодѣйствами неизмѣняему?“¹³⁸⁾).

Скорбный тонъ автора слышится и во многихъ другихъ мѣстахъ „Славенскихъ вечеровъ“, напр.: „Богъ создалъ людей и оградилъ ихъ крѣпостю мышцъ не для того, дабы они, подобно звѣрямъ хищнымъ, ловили другъ друга въ добычу своему неистовству“,— говоритъ у него Феодоръ, бывшій въ Ордѣ съ Михаиломъ¹³⁹⁾.

Замѣчательно слѣдующее мѣсто въ началѣ повѣсти: „Громобой“: „Спокойствіе въ Россіи воцарилось... Но есть страны иныя, есть люди не русскіе, есть области цѣлья, гдѣ невинность угнетается, гдѣ доблѣсть не получаетъ награды должныя, гдѣ великие исполнены лжи и жестокости, и князья на тронахъ беззѣйствуютъ; гдѣ льются слезы кровавыя, и болѣзnenные стоны къ небу возлетаютъ!“¹⁴⁰⁾ Въ этомъ мѣстѣ можно видѣть, пожалуй, отчасти еще грузинскія воспоминанія, но можно видѣть и намекъ на Наполеоновскія войны. Кого же, какъ не Наполеона разумѣеть авторъ подъ „жестокимъ честолюбцемъ“ (въ пов. „Любославъ“) и подъ „гордыми властелинами сего времени, забывшими права правды и человѣчества?“ (въ пов. „Славенъ“) Къ этому „жестокому честолюбцу“ авторъ и обращаетъ свою рѣчь, вложенную имъ въ уста старца Іоила: „Державный повелитель... Ты жаждаль славы. Похвально было стремленіе души твоей. Но развѣ слава пріобрѣтается хищеніемъ и убийствами? Не для того мечъ данъ мужу сильному, чтобы поражать слабыхъ и невинныхъ; но да обороняетъ ихъ отъ неправедныхъ! Что есть князь славы? Онъ есть благодѣтель своихъ подданныхъ. Кто жестокихъ честолюбцевъ называлъ славными? Нашлось ли хотя одно сердце, которое во внутренности своей благословляло бы неистового Нерона, безумнаго Калигулу, свирѣпаго Тамерлана и безчеловѣчнаго Аттилу! Съ ужасомъ и достойнымъ проклятиемъ произносятся имена сихъ изверговъ рода человѣческаго, и небесное проклятие опочиетъ на костяхъ ихъ до скончанія вѣковъ!—Неужели плавающее въ крови человѣчество воздвигнетъ алтари чудовищъ?“¹⁴¹⁾.

И въ той же повѣсти: „Любославъ“ читаемъ слѣдующее назиданіе правителямъ, изъ котораго видно, каковъ бытъ у Нарѣжнаго идеалъ монарха. „Не въ побѣдахъ бранныхъ, не въ торжествахъ кровавыхъ, не въ имени завоевателя—пріобрѣтается счастіе владыкъ земли! Пройдутъ мѣсяцы и годы, пройдутъ вѣки цѣлые; мѣдъ и мраморъ сокрушатся, истлѣютъ кости и въ прахъ обратятся; все исчезнетъ, кромѣ воспоминанія добродѣтели или злодѣйства. Отдаленѣйшее потомство или прославитъ, или прѣдастъ проклятию души наши.—Блаженъ, стократно блаженъ тотъ, кто цѣлыми племенами, по разрушеніи земного бытія своего, отъ безпристрастнаго потомства нареченъ будеть добродѣтельнымъ! Истинный, великий Судя міра не отринетъ его отъ отеческихъ взоровъ своихъ“ ¹⁴²⁾.

Если Наполеонъ былъ въ глазахъ Нарѣжнаго полнымъ противорѣчіемъ его идеалу монарха, то зато императоръ Александръ своимъ отношеніемъ къ побѣжденному врагу удовлетворялъ его вполнѣ, и Нарѣжный выразилъ свои чувства въ напечатанной въ 1819 г. повѣсти, озаглавленной именемъ побѣдителя.

Александръ съ своими войсками стоитъ подъ Парижемъ. Онъ задумался, а потомъ говоритъ своему сподвижнику: „Воззри на древнюю Лютецю... Сколько прошло вѣковъ отъ ея рожденія! Сколько роды родовъ въ стѣнахъ ея благоденствовали!... Но настанетъ утро—и по манію перста моего раздадутся новые громы, падутъ твердыя стѣны, раздастся плачъ и вопль—и сего града не станетъ!... Вопросить потомство отдаленное: кто произвель гибель сю, сіе опустошеніе ужасное?—Александръ!—будетъ отвѣтъ исторіи.—О! какъ ужасаюсь я мысли, столь для другихъ обольстительной мысли, если присовокупятъ къ тому: сей повелитель Сѣвера предалъ на жертву мечу и пламени тысячи тысячъ мужей, женъ и младенцевъ, дабы удивленные и устрашенные народы къ прочимъ титламъ его придали и титло Великаго!“—Сказалъ—и „свѣтлая слеза заблистала въ небесныхъ очахъ его“.

„Знаю обязанность сана моего къ моему отечеству“,—говорить далѣе Александръ:—„знаю все право свое, по коему ополчился я браню противу дерзкаго нарушителя обѣтовъ царскихъ, хищника спокойствія земли Русской!... Такъ, величіе сана, облекающаго меня по волѣ Провидѣнія, велитъ мнѣ любить россіянъ, какъ дѣтей своихъ... Но почему жъ семейство мое осудить меня, если я хочу, для его же пользы и славы, усыновить еще постороннихъ, только бы они были того достойны? Любовь моя хощетъ, жаждетъ принять въ объятія свои всѣ племена и народы

земные, благословить ихъ родительскимъ благословенiemъ и воззвать къ нимъ: дѣти! никогда не уклоняйтесь отъ закона правды—и вы благополучны!"

Александръ и поступилъ согласно влечению своего сердца, и могъ сказать о себѣ: „Душа моя во всей полнотѣ чувствуетъ благо быть владыкою—благотворителемъ народовъ".

Повѣсть заканчивается слѣдующимъ образомъ. Александръ „опустилъ въ ножны мечъ свой и, простря лесницу къ старѣйшинѣ галловъ, вѣщалъ: «Несчетны жертвы вашего безумія; но чей взоръ проникнетъ завѣсу судебъ Вышняго? и вы познали во чреду свою, колико несчастенъ дѣлающій другихъ несчастными! Возстаньте! течемъ во градъ осиротѣлый, и тамъ, во храмахъ, принесемъ благодарственныя мольбы Богу кротости и милосердія»... Вѣщалъ—и пошелъ ко граду. Галлы и россіяне, забывшіе купно и мрачное недовѣріе и вопль мщенія, ему послѣдовали. Кроткое умиленіе озлащало взоры каждого. Судьба нѣсколькихъ народовъ опочила тихо на устахъ Александровыхъ. Съ воплями радостными приняли граждане гостей своихъ въ стѣны парижскія, и тамъ, гдѣ нѣкогда пролилась святая кровь Людовика, тамъ, по мановенію Александра державнаго, воздвигся алтарь священный,—и примиренные имъ народы совокупно простерли къ небу мольбы благодарности".

Очень можетъ быть, что на такую проповѣдь человѣчности, какова въ „Славенскихъ вecheraхъ“, и вообще на подобная проповѣди въ нашей литературѣ, начиная съ Карамзинского времени, станутъ у насъ смотрѣть серьезнѣе, чѣмъ это дѣлается теперь, и очень можетъ быть, что мысль Халанского о томъ, что проповѣдь эта есть выдающееся явленіе въ нашей литературѣ XIX вѣка, обратить на себя должное вниманіе.

Еще двѣ повѣсти изъ древне-русской жизни. — Скудость біографическихъ свѣдѣній о Нарѣжномъ.—Его романъ: „Россійскій Жилблазъ“.—Его повѣсти: „Аристіонъ“, „Марія“ и „Запорожецъ“.

Есть у Нарѣжнаго еще двѣ повѣсти изъ древне-русской жизни, которые не вошли въ составъ „Славенскихъ вechеровъ“, а были напечатаны въ „Цвѣтникѣ“ 1810 г. Одна изъ нихъ называется: „Георгій и Елена“, другая—„Анастасія“. По характеру своему онъ однако вполнѣ примыкаютъ къ повѣстямъ, изданнымъ годомъ раньше. Сюжетъ первой повѣсти заимствованъ авторомъ изъ преданія

объ основаніи тверского Отрочь-монастыря въ XIII в. Георгій, витязь черниговскаго князя Изяслава, выбралъ себѣ невѣсту, красавицу Елену. Чета стоитъ уже въ церкви и ждеть вѣнчаль-наго обряда. Въ церковь же входитъ и Изяславъ. Пораженный красотою Елены, онъ подходитъ къ ней и спрашиваетъ, желаетъ ли она раздѣлить съ нимъ тронъ и власть великаго княженія.— „Богъ и повелитель управляютъ участю рабовъ своихъ!“—отвѣ-чаетъ Елена и протягиваетъ руку къ Изяславу. Князь становится на мѣсто Георгія. Послѣдній же постригается въ монахи и кла-деть основаніе „обители великой“. Сюжетъ второй повѣсти осно-ванъ на соперничествѣ двухъ братьевъ, Симеона и Ioanna, сыновей туровскаго князя, изъ-за красавицы Анастасіи питомицы ихъ отца. Князь предоставилъ Анастасіи выборъ, и кого изъ сыновей его она выберетъ, тотъ и будетъ не только ея мужемъ, но и наслѣдникомъ княжескаго престола. Анастасія выбираетъ млад-шаго—Ioanna. Симеонъ послѣ этого скрылся. Но когда насталъ день брака, онъ является въ видѣ таинственнаго рыцаря и вы-зываетъ Ioanna на поединокъ. Счастье было на сторонѣ Ioanna.— „Кто ты, дерзкій незнакомецъ?“—спрашиваетъ онъ у лежащаго уже на землѣ Симеона.— „Не желай знать имени моего, ежели не хочешь вѣчно страдать и раскаиваться“,—отвѣчаетъ побѣж-денный, и закалываетъ себя кинжаломъ. Ioannъ женится на Ана-стасіи.

Въ этой повѣсти вліяніе рыцарскихъ романовъ отразилось съ особенной силой.

Біографіческія свѣдѣнія о Нарѣжномъ, скучныя вообще, ста-новятся еще скучнѣе относительно послѣдней трети его жизни. Бѣлозерская, не смотря на всѣ старанія, почти ничего не при-бавила къ тому, что уже давно сообщено Галаховомъ¹⁴³), отъ котораго мы узнаемъ, что Нарѣжный въ 1813 г. вышелъ въ от-ставку и женился; что черезъ 2 года послѣ этого онъ снова по-ступилъ на службу въ Инспекторскій департаментъ Главнаго штаба; что утро онъ посвящалъ службѣ, а вечера исключительно литературѣ. Далѣе узнаемъ, что „сидячая жизнь при напряжен-номъ труде“ оказала гибельное вліяніе на его здоровье и сокра-тила его жизнь“. Онъ умеръ на сорокъ пятомъ году (21-го іюня 1825 г.), и погребенъ на Большеохтенскомъ кладбищѣ. Къ этому остается еще прибавить переданную Галаховымъ же слѣдующую краткую характеристику личности Нарѣжнаго: „Отличительными его свойствами были простота, непринужденное обращеніе со

всѣми, веселый и шутливый нравъ. Онъ чрезвычайно любилъ дружескія бесѣды, которыя оживлялъ чтенiemъ собственныхъ произведеній или юмористическими рассказами“.

Впрочемъ недостатокъ біографическихъ свѣдѣній о Нарѣжномъ пополняется въ извѣстной степени его сочиненіями. Такъ, напримѣръ, уже разсмотрѣнныя нами произведенія его указываютъ на отношеніе автора къ неправдѣ Коваленскаго, къ бездѣятельности Кнорринга, указываютъ на отношеніе его къ Наполеону, къ императору Александру, указываютъ на его высокія гуманныя чувства и воззрѣнія—и все это въ извѣстной мѣрѣ обрисовываетъ намъ личность Нарѣжнаго. Есть не мало указаній на личность этого писателя и въ другихъ его сочиненіяхъ, къ которымъ мы теперь и обратимся.

Въ промежутокъ времени между 1809 и 1824 г.г. Нарѣжный, кромѣ уже упомянутыхъ повѣстей, написалъ еще большой романъ: „Россійскій Жилблазъ, или похожденія князя Гаврилы Симоновича Чистякова“ и повѣсти: „Аристонъ, или перевоспитаніе“, „Марія“ и „Запорожецъ“. Каждое изъ этихъ произведеній, разсматриваемое, какъ цѣлое, заключаетъ въ себѣ слабыя стороны; но зато въ каждомъ изъ нихъ есть отдельныя мѣста, не лишенныя интереса и значенія.

„Россійскій Жилблазъ“—большой романъ въ шести частяхъ, и мысль о немъ, конечно, навѣяна извѣстнымъ романомъ Лесажа: „Histoire de Gil Blas de Santillane“. Романъ Лесажа, въ которомъ мѣстомъ дѣйствія, благодаря тогдашимъ условіямъ французской цензуры, выбрана не Франція, а Испанія, появился въ первой половинѣ XVIII в., *) и впослѣдствіи вызвалъ многочисленныя подражанія не только въ другихъ странахъ, но и во Франціи. На русскій языкъ впервые переведенъ онъ былъ Василіемъ Тепловымъ въ 1754 г. Этотъ-то романъ Нарѣжный и взялъ за образецъ для своего „Россійскаго Жилблаза“, о чмъ и заявилъ въ предисловіи къ нему.

„Превосходное твореніе Лесажа“, — говоритъ Нарѣжный, — „принесло и продолжаетъ приносить сколько удовольствія и пользы читающимъ, столько чести и удивленія дарованіямъ издателя“.

„Франція и иѣмецкія земли имѣютъ также своихъ героевъ,

*) Первые два тома „Histoire de Gil Blas“ были изданы въ Парижѣ въ 1715 г., третій въ 1724, четвертый въ 1735.

коихъ похожденія извѣстны подъ названіями: Французскій Жилблазъ, Нѣмецкій Жилблазъ. А потому-то рѣшился и я, слѣдя за примѣру, сіе новое произведеніе мое выдать подъ столько извѣстнымъ именемъ, и тѣмъ облегчить трудъ тѣхъ, кои стали бы изыскивать, съ кѣмъ сравнивать меня въ семъ сочиненіи".

Понятное дѣло, что „российскій“ Жилблазъ долженъ быть и пріуроченъ къ русской жизни. Нарѣжный и обѣ этомъ заявляетъ въ своемъ предисловіи и вмѣстѣ съ тѣмъ выражаетъ удовольствіе, что онъ пишетъ свой романъ при счастливыхъ цензурныхъ условіяхъ. „Я вывелъ на показъ русскимъ людямъ“ — говоритъ онъ — „русскаго же человѣка, считая, что гораздо сходнѣе принимать участіе въ дѣлахъ земляка, нежели иноземца. — Почему Лесажъ не могъ того сдѣлать, всякий догадается. За нѣсколько десятковъ лѣтъ и у насъ нельзя было отважиться описывать безпристрастно наши нравы“.

Радость Нарѣжнаго была однако преждевременна: три части „Россійскаго Жилблаза“ вышли въ 1814 г., и по выходѣ третьей романъ былъ запрещенъ, такъ что остальные три части остаются и до сихъ поръ не напечатанными. Рукопись ихъ хранилась сперва у сына автора, а теперь она составляетъ собственность редакціи журнала: „Русская Старина“. Причиной запрета тогдашній министръ народнаго просвѣщенія гр. Разумовскій выставилъ „предосудительныя и соблазнительныя“ мѣста въ третьей части, которыя „могутъ быть почитаемы противными нравственности“, и при этомъ прибавилъ слѣдующее: „Часто бываетъ, что авторы романовъ, хотя, повидимому, и вооружаются противъ пороковъ, но изображаютъ ихъ такими красками или описываютъ съ такою подробностью, что тѣмъ самимъ увлекаютъ молодыхъ людей въ пороки, о которыхъ полезнѣе было бы вовсе не упоминать“ ¹⁴⁴⁾. Больше всего министру могли броситься въ глаза далеко не скромныя мѣста въ третьей части, въ описаніи масоновъ.

Такъ какъ намъ не удалось прочесть рукописныхъ частей романа, и мы знакомы только съ частями, напечатанными въ 1814 г. (по экземпляру Импер. Публ. Бібл.), а г. Бѣлозерская читала весь романъ и даже сравнивала его съ сочиненіемъ Лесажа, — то мы, не имѣя полнаго впечатлѣнія отъ этого произведенія Нарѣжнаго, приводимъ здѣсь то, что говоритъ о немъ упомянутая писательница.

„Хотя Нарѣжный, видимо, придерживается французскаго образца со стороны виѣшнихъ приемовъ и формы“, — пишетъ Бѣлозерская, — „тѣмъ не менѣе «Россійскій Жилблазъ» вполнѣ заслу-

живаетъ название *русскаго* романа; здѣсь вездѣ главными дѣйствующими лицами являются русскіе люди и изображены русскіе нравы. Авторъ болѣе или менѣе подробно касается явлений общественной русской жизни того времени: чрезмѣрнаго пристрастія къ славянскому языку послѣдователей Шишковской школы, масонства, положенія крестьянъ у хорошихъ и дурныхъ помѣщиковъ, злоупотребленій близко знакомаго ему чиновничества, неразвитія и бѣдности интересовъ уѣзднаго общества и пр. “

„Нарѣжный, такъ же какъ и Лесажъ, ставитъ себѣ широкую задачу изобразить людей самаго разнообразнаго типа, всякаго званія и общественнаго положенія; и его «Россійскій Жилблазъ», по богатству содерянія, могъ бы представить достаточно сюжетовъ для нѣсколькихъ романовъ, хотя, съ другой стороны, это чрезмѣрное богатство содерянія въ значительной степени нарушаетъ цѣльность общаго впечатлѣнія. Если романъ Лесажа требуетъ особыннаго вниманія при чтеніи, въ виду множества дѣйствующихъ лицъ, вставныхъ эпизодовъ, біографій и всякихъ приключеній, то «Россійскій Жилблазъ» въ этомъ отношеніи является еще болѣе сложнымъ. Здѣсь выступаетъ еще большее число лицъ, и количество приключеній и вставокъ, въ видѣ біографій, отдѣльныхъ эпизодовъ и разсказовъ, несравненно значительнѣе. Между прочимъ черезъ весь романъ проходятъ три отдѣльныя повѣсти или, вѣрнѣе, романа, которые то тѣсно сплетены, то принимаютъ самостоятельный характеръ, а именно: *исторія жизни князя Гаврилы Симоновича Чистякова* (Россійскаго Жилблаза), *его сына Никандра и семейная исторія помѣщика Простакова*. Вследствіе того, чтеніе «Россійскаго Жилблаза», не смотря на его несомнѣнныя достоинства, талантливыя описанія и глубоко прочувствованныя сцены, становится утомительнымъ, и нить разсказа тѣмъ неуловимѣе, что Нарѣжный не сумѣлъ создать органической связи между отдѣльными частями. Вдобавокъ, въ угоду тогдашней русской публикѣ, онъ старался, по возможности, запутать завязку и придать таинственность разсказу” ¹⁴⁵⁾.

Впрочемъ впечатлѣніе, вынесенные г. Бѣлозерской изъ чтенія всего романа, выносится уже и изъ чтенія первыхъ только трехъ частей его: съ самаго же начала чувствуется, что романъ этотъ—*русскій*,—хотя и не безъ погрѣшностей противъ русскихъ нравовъ,—а необыкновенная сложность его содерянія обнаруживается уже послѣ второй части. Романъ начинается съ исторіи семьи Простакова, съ исторіи, которая, какъ говорить Бѣлозерская, проходитъ черезъ всѣ шесть частей „Россійскаго Жилблаза“.

Живетъ эта семья въ деревнѣ, стоящей „на рубежѣ между Орловской и Курской губерній“. Скоро въ домѣ Простаковыхъ неожиданно появляется князь Чистяковъ, становится ихъ другомъ, и начинается, съ назидательной цѣлью, длинный разсказъ о своихъ похожденіяхъ. Разсказываетъ онъ о нихъ не вдругъ, а съ паузами, длящимися иногда недѣли и даже мѣсяцы, и во время этихъ паузъ авторъ имѣетъ возможность возвращаться къ очерку жизни семьи Простаковыхъ, какъ типичной представительницы старинной помѣщичьей среды. Далѣе, во второй части, въ романѣ вносится „Повѣсть Никандрова“, т.-е. разсказъ Никандра о своихъ приключеніяхъ, и занимаетъ она главы III—XII, отъ страницы 28-й до 147-й. Въ „Повѣсть Никандрову“, въ свою очередь, вставленъ довольно большой разсказъ о метафизикѣ Трисмегалосѣ. Кроме того, во второй части есть еще вставочная восточная повѣсть объ индійскомъ Великомъ Моголѣ (стр. 5—12). Такъ усложнялъ свой романъ Нарѣжный.

Главною частью содержанія романа остается все-таки разсказъ Чистякова о своихъ похожденіяхъ, или иначе—его автобіографія. Сущность ея состоитъ въ слѣдующемъ.

Князь Гаврила Симоновичъ Чистяковъ—уроженецъ села Фалалеевки Курской губерніи. „Она славна“—говорить автобіографъ—„своимъ хлѣбродіемъ, но странный недостатокъ есть тотъ, что тамъ столько князей, сколько въ Малороссіи дворянъ, а въ Шотландіи графовъ“. Далѣе слѣдуетъ интересное сопоставленіе захудалыхъ иностранныхъ графовъ съ такими же русскими князьями. „Надобно отдать справедливость, что наши князья гораздо умнѣе иностранныхъ графовъ. Тамъ, какъ слыхалъ я нерѣдко, графъ-отецъ, вставая съ войлочной постели, говорить сыну: Что, графъ, чисты ли мои сапоги?—«Какъ же, ваше сіятельство: вотъ у меня и руки еще въ ваксѣ».—А графиня-мать, чистя на поварнѣ кастрюлю, говорить своей дочери: Что, графиня, доила ли ты корову?—«Какъ же, ваше сіятельство: у меня еще и теперь ноги въ навозѣ»... Наши русскіе князья сто разъ умнѣе. Они занимаются хлѣбопашествомъ, хозяйствомъ, пашутъ, жнутъ, продаютъ хлѣбъ, и живутъ мирно и братски съ крестьянами, своими и чужими, и только въ большие праздники, собравшись въ шинки, объявляютъ о княжествѣ своемъ“.

„Изъ такихъ князей“—продолжаетъ автобіографъ—„былъ почтенный родитель мой, князь Симонъ Гавриловичъ Чистяковъ. При кончинѣ своей онъ сказалъ мнѣ: «Оставляю тебя, любезный сынъ, не совсѣмъ безсчастнымъ: у тебя довольно поля, есть не-

большой сънокосъ, огородъ, садикъ и, сверхъ того, крестьяне: Иванъ и мать его Марья".

Оставшись, по смерти отца, владѣтелемъ его слишкомъ небольшого имущества, князь Гаврила женится на Оеклушѣ, дочери другого такого же фалалеевскаго князя. Супруги живутъ въ любви и согласіи, но въ такой бѣдности, что когда у нихъ родился сынъ, они „не только не имѣли ничего, чтобы какъ-нибудь встрѣтить новаго въ мірѣ гостя, но сами, и то по милости крестьянки своей Мары, только что не умирали съ голоду". Наконецъ является неожиданная помощь: богатый купецъ покупаетъ доставшіяся Чистякову по наслѣдству старинныя книги и даетъ за нихъ полтораста рублей. Молодые супруги живутъ уже въ нѣкоторомъ довольствѣ, какъ вдругъ Оеклуша уѣгаєтъ съ свѣтскимъ молодымъ человѣкомъ—Святозаровымъ, а вскорѣ затѣмъ пропадаетъ безъ вѣсти и сына, Никандръ, похищенный неизвѣстными людьми. Съ Никандромъ Чистяковъ встрѣчается лишь много лѣтъ спустя, въ домѣ Простаковыхъ, и узнаетъ въ немъ сына, когда тотъ рассказалъ ему свою біографію („Повѣсть Никандрову").

Лишившись жены и сына, Чистяковъ, удрученный горемъ, покидаетъ Фалалеевку и отправляется въ Москву, гдѣ получаетъ мѣсто приказчика у погребщика, но скоро теряетъ его вслѣдствіе небрежнаго отношенія къ занятіямъ въ погребѣ, которыя онъ считаетъ несоответствующими его княжескому происхожденію. Затѣмъ получаетъ другія мѣста и тоже теряетъ ихъ, и наконецъ дѣлается усерднымъ посѣтителемъ театра. На одномъ изъ представлений, въ пріѣзжей красавицѣ актрисѣ онъ узнаетъ свою Оеклушу, хотя она имѣть уже манеры знатной дамы. „Любовь, ненависть, сожалѣніе, гнѣвъ, мщеніе поперемѣнно овладѣваютъ его сердцемъ", но Оеклуша послѣ спектакля уѣзжаетъ съ княземъ Латрономъ въ богатой его каретѣ. Далѣе Чистяковъ попадаетъ въ масонское общество и тамъ опять встрѣчается съ Оеклушей, красавицей подъ именемъ Лавиніи, но уже съ негодованіемъ отталкиваетъ ее отъ себя.

Этимъ заканчивается третья часть романа. Слѣдующія части, по отзыву г. Бѣлозерской, гораздо слабѣе первыхъ. Авторъ уводитъ своего героя въ Варшаву и задается цѣлью описать тамошнее чиновничество и „большой свѣтъ"; но такъ какъ варшавская жизнь была знакома ему лишь по наслышкѣ, то и разсказъ его является „безпочвеннымъ" ¹⁴⁶⁾. О самомъ концѣ романа г. Бѣлозерская говоритъ: „Однако, не смотря на всѣ превратности судьбы,

которая постигаютъ героя романа и другихъ дѣйствующихъ лицъ, все должно кончиться общимъ благополучиемъ, какъ показываетъ начало развязки, хотя она неожиданно прерывается, вслѣдствіе нѣсколькихъ недостающихъ страницъ, быть можетъ, недописанныхъ авторомъ, въ виду запрѣщенія «Россійскаго Жилблаза»¹⁴⁷⁾.

Итакъ романъ Нарѣжнаго, какъ цѣлое, имѣть слабыя стороны. Къ указаннымъ уже можно причислить еще и непонятное превращеніе Феклуши изъ еле умѣвшей читать и писать дере венской красавицы, которая сама работала въ огородѣ, въ блестящую актрису, съ манерами знатной дамы, въ увлекательную Лавинію масонскихъ оргій. Тутъ, вмѣсто правдиваго типа захудалой княгини, какимъ является Фекла Сидоровна въ началѣ романа, получился у Нарѣжнаго сколокъ съ тѣхъ актрисъ, которыя описаны у Лесажа. Къ слабымъ сторонамъ романа надо отнести и то, что простолюдины говорятъ въ немъ не своимъ языкомъ, а литературнымъ. Есть нѣчто странное и въ исторіи похищенія Никандра.

Но съ другой стороны, по широкому замыслу романа, по желанію автора „вывести на показъ русскимъ людямъ русскаго же человѣка“ и коснуться разнообразныхъ типовъ и „нравовъ въ различныхъ состояніяхъ и отношеніяхъ“¹⁴⁸⁾,—романъ Нарѣжнаго уже напоминаетъ „Мертвыя души“ Гоголя. Дарованія обоихъ писателей не равны, конечно,—но и въ „Жилблазѣ“ есть много такого, что заставляетъ признать его автора талантливымъ романистомъ, какимъ его и признаютъ, напримѣръ, Бѣлинскій, Ив. Ал. Гончаровъ и др. Къ лучшимъ мѣстамъ романа слѣдуетъ отнести описание жизни Простаковыхъ, описание первыхъ двухъ лѣтъ жизни молодыхъ супруговъ—Чистякова и Феклуши, и многія юмористическая и сатирическая мѣста.

Юмористическимъ и сатирическимъ характеромъ отличаются въ особенности тѣ мѣста романа, гдѣ авторъ касается смѣшныхъ сторонъ увлеченія метафизикою, славянскимъ языкомъ и, какъ онъ выражается, всякою чужеземиціою. Смѣшные стороны увлеченія всѣмъ этимъ обратили на себя его вниманіе настолько, что онъ даже занесъ въ свое предисловіе слѣдующія строки:

„Да не прогнѣваются на меня изступленные любители метафизики, славенскаго языка и всего, что есть нѣмецкаго, что я не всегда съ должною почтительностью обѣихъ отзывался. Это отнюдь не значитъ, чтобы считать я метафизику наукой вздорною, славенскій языкъ варварскимъ, и все то, что выдумано нѣмецкою головою, глупою выдумкою. Сохрани отъ того, Боже! Но

мнѣ всегда казалось, что перейти должные предѣлы въ чѣмъ бы то ни было—есть крайнее неразуміе. Метафизика, безъ сомнѣнія, есть наука высокая и утончаетъ разумъ человѣка, однакожъ не до такой степени, чтобы могъ онъ опредѣлить, чѣмъ занималось Высочайшее Существо до созданія міра и чѣмъ заниматься будетъ по разрушеніи онаго. А есть такие храбрые ученые, которые на то пускаются. Славенскій языкъ, безспорно, высокъ, точъ, обиленъ; однакожъ тотъ изъ насть, который, стоя передъ красавицею, будетъ нѣжить слухъ ея названіями: «лѣпообразная дѣво! голубице, краснѣйшая рая!» едва ли не долженъ быть поченъ за сумасброда. А такие витязи и до сихъ поръ у насть находятся и не безъ послѣдователей. Что касается до нѣмчизны, подъ которымъ названіемъ, слѣдуя выраженію нашихъ прадѣловъ, разумѣю я всякую чужеземчину, то весьма недовольнымъ почту себя, если кто-нибудь назоветъ меня порицателемъ всего того, что не наше. Это была бы излишняя склонность ко всему своему, что также никуда не годится».

Этими строками Нарѣжный хотѣлъ указать читателю на свое отношеніе съ одной стороны — къ предмету, а съ другой — къ смѣшному увлеченію имъ.

Смѣшныя стороны увлеченія метафизикой и славянскимъ языкомъ осмѣяны въ романѣ на тѣхъ страницахъ, гдѣ выведенъ Трисмегалось, провинціальный философъ-учитель: онъ и изступленный любитель метафизики, онъ же и страстный славянофиль. Къ нему является Никандръ съ рекомендательнымъ письмомъ отъ „благопріятеля“ этого философа. Философъ и его гость, Горланіусъ, пьютъ чай.

— Чесо ишѣши эдѣ, чадо? — спрашиваетъ Трисмегалось Никандра, и, прочитавъ поданное письмо, говоритъ:

— Благо ти, чадо, аще тако хитръ еси въ наукахъ, яко же вѣщаешь почтенный благопріятель, мой! Добрѣ ли вѣси правописаніе?

„Я“—разсказываетъ Никандръ — „отвѣчалъ со смиреніемъ: мню, честнѣйшій господине мой, яко добрѣ вѣмъ; ни чимъ же мнѣ великоученѣйшихъ мужей“.

„Трисмегалось“—продолжаетъ Никандръ—„пораженъ быль ужасомъ. Онъ вскочилъ, выпялилъ глаза и осматривалъ меня съ благоговѣніемъ. Зато пріятель его поднялъ такой жестокій смѣхъ, что стаканъ изъ рукъ его выпалъ. Трисмегалось сказалъ ему:

«Что смѣшился, о Горланіе! Не есть ли во времена наши, егда погибло все изящное на земли, и нравы развратишася,—не

есть ли, глаголю, чудо зрести юношу сего въ толикомъ благомыслии, вѣщающаго языкомъ мудрѣйшимъ и доброгласнѣйшимъ?»

Трисмегалось любить метафизику, славянскій языкъ и пуншъ (II ч. 107), и, кромѣ того, племянницу Горланіуса—Анисью. Онъ доказываетъ ей, что душа наша находится во лбу, между глазами; но когда на другой день она говоритъ ему: „Теперь хочу, чтобы доказано было, что душа наша въ затылкѣ“, — Трисмегалось, чувствуя, что любовь къ Анисьѣ превозмогла его любовь къ метафизикѣ, „покушается на злодѣйство, равняющееся отцеубийству“ (какъ онъ самъ называетъ свой поступокъ)—и пишетъ на 170 листахъ съ половиною трактать, „гдѣ ясно и неоспоримо доказано, что душа человѣческая имѣеть пребываніе въ затылкѣ, съ тѣмъ, однако, что она властна перейти въ чело“ (II, 108—109).

Въ лицѣ Трисмегалоса задѣть, конечно, Шишковъ съ его объясненіемъ упадка нравственности вслѣдствіе пренебреженія къ славянскому языку; но вмѣстѣ съ тѣмъ въ разсказѣ объ этомъ философѣ-учителѣ можно видѣть насыщку надъ сколастиками тогдашихъ духовныхъ учебныхъ заведеній и надъ діалектическими ихъ упражненіями.

Здѣсь кстати замѣтить, что Нарѣжный, осуждая крайности увлеченія метафизикою, не только считалъ эту науку, какъ онъ говоритъ въ предисловіи, высокою, но и желалъ, какъ то показываетъ его повѣсть: „Аристіонъ“, чтобы она входила въ программу образованія дворянъ.

Противъ излишняго увлеченія чужеземціей авторъ больше всего вооружается въ томъ мѣстѣ романа, гдѣ заставляетъ помѣщика Простакова произносить горячую рѣчъ противъ иностраннаго воспитанія русскихъ дѣтей.

Быть у насъ (да и теперь еще есть) типъ иностраннаго выходца, который возбуждалъ негодованіе Нарѣжнаго. Типъ этотъ выведенъ въ лицѣ гордаго „достоинствомъ нѣмца“ и презирающаго русскихъ господина фонъ-Фольфъ-Кальбъ-Гаузовъ, о которомъ авторъ устами Чистякова говоритъ слѣдующее: „многіе изъ сихъ спесивыхъ безумцевъ, не находя на родинѣ куска хлѣба, приходятъ въ Россію, нерѣдко съ котомкою за плечами и въ лохмотьяхъ, и скоро съ помощью такихъ же выходцевъ, какъ и они, ласкательствами и всѣми низкими средствами, достаютъ себѣ выгодныя мѣста, и послѣ съ гордостю и безстыдствомъ презираютъ и тѣснятъ природныхъ русскихъ... Мы въ гражданской образованности еще весьма далеки отъ другихъ на-

ций, потому что такихъ примѣровъ нигдѣ не найдешьъ, кромѣ какъ у насъ”.

По поводу словъ: „гордый достоинствомъ нѣмца“, нельзя не вспомнить другое лицо, выведенное Нарѣжнымъ въ его пьесѣ: „Невѣста подъ замкомъ“: тамъ ювелиръ Рупертъ говоритъ своей племянницѣ: „Будь тебѣ извѣстно, что болѣе 30 лѣтъ назадъ, какъ началъ я каждый воскресный день, бывая въ киркѣ, приносить Господу Богу благодарственные молитвы за то, что Онъ сотворилъ меня нѣмцемъ“.

Наконецъ Нарѣжный въ своемъ „Жилблазѣ“ касается и масоновъ. Въ напечатанной части его романа описанію ихъ отведено мѣсто въ концѣ третьяго томика.

Масонство XVIII вѣка, являясь противодѣйствіемъ материалистическимъ ученіямъ, стремилось къ нравственному самоусовершенствованію, къ добродѣтели—и въ этомъ смыслѣ оно получило название культурнаго элемента своего вѣка. Масоны распространяли идею религіозной терпимости, идею гуманнаго отношенія къ людямъ, проповѣдывали братство между людьми различныхъ сословій и занимались благотворительностью. Пріютившійся въ масонской средѣ мистицизмъ также имѣлъ, какъ знаемъ ¹⁴⁹), свою свѣтлую сторону: онъ былъ реакцией той религіозности, которая ограничивалась лишь выполнениемъ вѣнчанийъ обрядовъ. Но какъ и во всякомъ человѣческомъ обществѣ не всѣ члены стоять на одинаковомъ уровнѣ, такъ это было и въ масонскихъ ложахъ, и еще Новиковъ жаловался, что иногда „въ собраніяхъ играли масонствомъ, какъ игрушкою, ужинали и веселились“ ¹⁵⁰). На нѣкоторыхъ собраніяхъ эти ужины стали, наконецъ, заканчиваться ночными оргіями, въ которыхъ принимали участіе и мужчины и женщины. Собранія съ такими оргіями бывали уже и въ Екатерининское время, напримѣръ, въ Москвѣ, въ „Еввиномъ клубѣ“, закрытомъ императрицею въ 1793 г. Г. Бѣлозерская, на основаніи нѣкоторыхъ фактovъ, полагаетъ, что Нарѣжный и описываетъ оргіи именно этого клуба ¹⁵¹).

Масонство обставило себя большою символическою обрядностью, таинственными церемоніями, мистическими выдумками—и это было его смѣшною стороною. Нарѣжный описываетъ и эту сторону масонства. Въ общемъ описание это слѣдующее:

Когда съ меня,—рассказываетъ Чистяковъ,—привезенаго въ собраніе съ завязанными глазами, сняли повязку, я „увидѣлъ обширную комнату, обитую чернымъ сукномъ... Посрединѣ комнаты стоялъ большой столъ, уставленный свѣчами, за которымъ

сидѣли, потупя головы, въ молчаніи, около пятидесяти человѣкъ въ черныхъ мантіяхъ, на коихъ изображены были, пламенными красками, таинственные знаки, какъ-то: созвѣздія, планеты, духи парящіе, добрые и злые. Первенствующій изъ нихъ всталъ, взошелъ на каѳедру, поклонился собранію весьма низко три раза, а потомъ говорилъ: «Почтенные, высокопочтенные, просвѣщенные и высокопросвѣщенные братія! позволено ли будетъ говорить мнѣ о принятіи въ общество наше достойнаго сочлена?» Тутъ всѣ встали, также низко поклонились ему три раза и сказали: «Говори, высокопросвѣщеннѣйшій наставникъ нашъ и братъ!» Онъ началъ громко и размахивая руками; говорилъ такъ высоко-парно, такъ замысловато, что я не могъ понять ни одного слова. Куды! Онъ упоминаль о небесной гармоніи, о брачномъ сочетаніи звѣздъ, о выспреннемъ планѣ Еговы, начертанномъ для создания человѣка».

Чистякова приняли, и первенствующій громко возгласилъ: „Козерогъ будетъ имя ищущему просвѣщенія младенцу!“ Затѣмъ всѣ, „возвыся гласы“, запѣли слѣдующую масонскую пѣснь:

Ликуйте, братья, путь свершаша
И музикѣйскій гласъ внимая;
Грядите, мудрость гдѣ живетъ!
Чтобъ не имѣть въ пути препоны,
Се истины святой законы
Намъ Геометрія даетъ.
Строитель мудрый всей вселенной,
Во братски души впечатлѣнной,
Введетъ насъ въ радостный Эдемъ.
Чтобъ жизнь тамъ въ благѣ провождати,
Онъ Самъ благоволилъ намъ дати
Блистающу звѣзду вождемъ.

По окончаніи „сей сладостной пѣсни“ всѣ усѣлись по диванамъ передъ столомъ, установленнымъ яствами и напитками. Ужинъ сопровождался веселыми разговорами, и „радость забли- стала въ глазахъ каждого“. Когда всѣ пресытились отъ благъ земныхъ, первенствующій три раза ударилъ по столу молоткомъ, и глубокое молчаніе настало... „Раздалась невидимая огромная гармонія; быстро отворяются потаенные двери зала, вылетаетъ хоръ юныхъ нимфъ, одѣтыхъ въ греческомъ вкусѣ, въ бѣлыхъ легкихъ одѣданахъ... Плѣнительныя нимфы начали пляску“. За пляской слѣдовалъ еще одинъ номеръ увеселительной программы, при погашенныхъ свѣчахъ, — и тутъ-то кн. Чистяковъ по голосу узналъ свою Феклушу и съ негодованіемъ оттолкнулъ ее отъ себя.

Въ своемъ романѣ Нарѣжный касается и положенія крѣпостныхъ крестьянъ и приводитъ факты помѣщичьей несправедливости и жестокости. Таковъ, напримѣръ, разсказъ о помѣщикѣ Головорѣзовѣ, жестоко поступившемъ съ крѣпостнымъ кузнецомъ за то, что тотъ ревниво охранялъ свою жену отъ „некромныхъ шутокъ“ барина (III, 125—126).

Разнаго рода выраженія, характеризующія Нарѣжнаго, какъ писателя, стоявшаго за гуманность и за воспитаніе отзывчиваго сердца, встрѣчаются и въ „Жилблазѣ“, напримѣръ: „И величайший преступникъ имѣеть право на сожалѣніе“ (I, 14).

„Чувствительность есть истинное благородство человѣка. Оно ставитъ его на высокую степень творенія“ (I, 15).

Повѣсть: „Аристіонъ“, названная такъ по имени ея героя, появилась въ печати въ 1822 г. Въ самомъ началѣ повѣсти авторъ знакомитъ читателя съ отцомъ героя—отставнымъ бригадиромъ, которому имя Валеріанъ. Это былъ человѣкъ „довольно ученый, весьма честный, миролюбивый и всегда удаленный отъ видовъ честолюбія. Въ молодости онъ учился въ Кенигсбергскомъ университетѣ, затѣмъ служилъ въ военной службѣ, и наконецъ поселился на отдыхъ въ своеѣ богатомъ украинскомъ помѣстіи. У него былъ единственный сынъ—Аристіонъ, который „на шестомъ году возраста отправленъ въ Сѣверную столицу, гдѣ блистательнымъ дѣдомъ помѣщенъ въ славнѣйшемъ тогда пансионѣ, содер-жимомъ знаменитымъ иностранцемъ“ ¹⁸²). Далѣе авторъ останавливается на той же темѣ, которая занимала и Измайлова въ его романѣ: „Евгений“, т.-е. на дурномъ воспитаніи и его послѣдствіяхъ. „Ходъ ученія Аристіонова“—говорить авторъ—, былъ обыкновенный. Довольно сказать, что по десятилѣтнемъ пребываніи въ семъ храмѣ мудрости, на двухъ употребительнѣйшихъ иностранныхъ языкахъ говорилъ онъ, какъ на природномъ; изъ географіи зналъ, что Вѣна стоитъ на рѣкѣ Дунаѣ, а Парижъ на Сенѣ; изъ исторіи, что были Александръ Македонскій, Цезарь римскій и Петръ россійскій. Математика также не чужда была для его разума, и онъ весьма рѣзко могъ доказать различіе между линіею и поверхностью, между четвероугольникомъ и кругомъ.— Можетъ быть, таковыя познанія инымъ, пасмурнаго нрава людямъ, покажутся недостаточными для богатаго свѣтскаго человѣка: такъ мы къ чести его скажемъ, что онъ не худо рисовалъ, хорошо игралъ на скрипкѣ, превосходно танцевалъ, и того превосходнѣе бился на рапирахъ. Послѣднія два достоинства и одни достаточны сдѣ-

лать его значительнымъ человѣкомъ въ большомъ свѣтѣ". Въ дополненіе къ этому авторъ на 123-й страницѣ своей повѣсти еще заявляетъ, что Аристіонъ въ этомъ пансионѣ "не былъ выученъ ни одной молитвѣ".

Мы видимъ, что къ даваемому нерѣдко въ тѣ времена поверхностному воспитанію Нарѣжный относится съ такой же ироніей, съ какой относился къ нему и авторъ романа: "Евгений".

По окончаніи ученія Аристіонъ избралъ военную службу и, "насвистывая любовную арію, простился съ Петрополемъ" и отправился съ нашими войсками въ итальянскій походъ. Походная жизнь не давала мѣста скучѣ, но по возвращеніи въ столицу,— однако въ чинѣ капитана, полученному за военные заслуги,— Аристіонъ, "скоро почувствовалъ въ сердцѣ пустоту, въ душѣ утомленіе—и разсѣяніе представилось ему необходимымъ. Доброхотные пріятели подоспѣли съ помощью. Онъ введенъ во многіе блестательные дома, гдѣ вкусъ, изобиліе, игры и смѣхи изъ края въ край роились. Хотя, правда, такія веселости влекли за собой не маловажные расходы: но какъ любезный родитель за верхъ удовольствія считалъ дождить золотомъ на милаго, достойнаго сына, о коемъ время отъ времени получалъ лестныяувѣдомленія, то онъ и не думалъ въ чемъ-либо себя ограничивать; а хотя старый Макаръ, дядька его и управитель, при каждомъ необыкновенномъ случаѣ увѣщевалъ жить поскромнѣе, чтобы долѣе жить получше, но Аристіонъ, по обыкновенію молодыхъ людей, не обращалъ на пустыя рѣчи никакого вниманія".

Долѣе авторъ такъ продолжаетъ свой разсказъ о столичной жизни Аристіона.

"Не смотря однажды на самую разсѣянную жизнь, Аристіонъ опять узналъ скучу, и какъ можно, чтобы добрые друзья отка-зали ему въ пособіи прогнать эту язву душевную?—Ему предложены карты и полные бокалы... Но какъ все имѣетъ свое время, то Аристіону и эти увеселенія опротивѣли, и онъ съ меньшимъ уже удовольствіемъ проигрывалъ свое золото и опорожнивалъ бокалы.—Тутъ молодой графъ Кронидъ, его товарищъ во всѣхъ веселостяхъ, открылъ ему за тайну, что есть еще одно лѣкарство отъ скучи, самое вѣрное, самое пріятное.—Какое жъ?—«Я введу тебя»—говорилъ графъ съ видомъ многоопытнаго Улисса— «въ такое общество, въ какихъ ты не бывалъ еще. Ты доселѣ блуждалъ по тягостнымъ пескамъ Ливіи и кремнистымъ утесамъ Кавказа: такъ называю тѣ собранія, въ коихъ ты отличался по сіе времена. Теперь я хочу ввести тебя въ пещеру Калипы, гдѣ

найдешь все, что можетъ родить улыбку и на устахъ угрюмаго Катона. Просто сказать: я познакомлю тебя съ прекрасною Фионю, первою пѣвицею на здѣшнемъ театрѣ».

Знакомство съ этой Фионой кончилось тѣмъ, что Аристіонъ запутался въ долгахъ и вдобавокъ исключенъ былъ изъ службы, такъ какъ, увлекшись вовсе не любившой, а только обиравшей его женщиной, онъ „полгода не былъ у должности“.

Нѣть сомнѣнія, что исторія воспитанія и столичной жизни Аристіона занимаетъ, такъ сказать, среднее мѣсто между подобными же исторіями съ одной стороны—Евгенія Негодяева, а съ другой—Евгенія Онѣгина. Сравненіе Аристіона съ послѣднимъ—тема весьма интересная, но ею мы займемся, когда будемъ говорить о Пушкинѣ; теперь же сдѣлаемъ лишь бѣглое сопоставленіе героя Нарѣжнаго съ героемъ Измайлова. Оба они—плодъ дурного воспитанія, у обоихъ ихъ много общаго, но душа Аристіона далеко не загрязнена такъ, какъ загрязнена она у Негодяева, и Нарѣжный оставляетъ еще въ своемъ героѣ ту Божью искру, которая даетъ ему возможность переродиться.

Но если исторія воспитанія и столичной жизни Аристіона является реальной и вполнѣ правдоподобной частью повѣсти, то зато исторія перевоспитанія ея героя обставлена чрезвычайно фантастично.

Макаръ, въ которомъ, пожалуй, можно видѣть прототипъ Савельича, увѣдомляетъ Валеріана о поведеніи его сына, и Валеріанъ затѣваетъ такую педагогическую продѣлку: прежде всего онъ хочетъ поразить Аристіона вѣстью о смерти его родителей отъ горя, причиненного поведеніемъ сына и связаннымъ съ нимъ разореніемъ; съ этою цѣлью онъ приказываетъ всѣмъ своимъ крестьянамъ и упрашиваетъ всѣхъ сосѣднихъ дворянъ считать Валеріана и жену его умершими, „пока не заблагоразсудится имъ обоимъ воскреснуть“; жену онъ поселяетъ на одномъ изъ своихъ хуторовъ и велитъ выдавать ее за его добруюсосѣдку, а самого себя—за Валеріанова друга—Горгонія, который будто за то, что уплатилъ всѣ долги Валеріана, получилъ отъ него его имѣнья, и будто покойный еще при жизни закрѣпилъ его за другомъ судебнымъ порядкомъ. Затѣмъ въ заговорѣ посвящается и Макаръ, и ему дается приказаніе, чтобы онъ, словно ничего не зная, уговорилъ барина Ѣхать на родину. Аристіонъ, запутанный въ долгахъ, охотно Ѣдетъ, но, по совѣту Макара, не является прямо къ родителямъ, а останавливается переночевать на постояломъ дворѣ, верстахъ въ двухъ отъ родного дома,—и тутъ только

узнаеть объ ужасномъ своемъ положеніи, узнаеть, что у него нѣтъ ни крова ни пристанища. Съ этого момента и начинается нравственное возрожденіе Аристіона. „Какъ ни горестно мое положеніе“,—говорить онъ Макару,—„но я еще весьма далекъ отъ того, чтобы всѣ горести жизни, всѣ удары рока проглотить съ пулею. Нѣтъ, я послѣду твоимъ же совѣтамъ, и посмотрю, что можетъ сдѣлать честность и трудолюбие... Я омочу слезами раскаянія, горькаго, истиннаго раскаянія, гробы отца моего и матери, и пущусь по первой дорогѣ, буду брести до первого полка, и запишу въ солдаты. Развѣ не было примѣровъ, что простого ратника храбрость, благоразуміе, любовь къ Богу, отечеству и добродѣтели возводили на высокую степень полководца?“ Въ отвѣтъ на это Макаръ совѣтуетъ Аристіону оставить мысль о солдатствѣ, а лучше обратиться къ Горгонію: человѣкъ онъ добрый, и навѣрное уступить сыну своего друга хоть десятую часть имѣнія. Макаръ даже беретъ на себя роль посредника и отправляется къ Горгонію. Горгоній, конечно, соглашается принять къ себѣ молодого человѣка, но съ условіемъ, чтобы онъ вельжизнь „по его правиламъ“. Аристіонъ поселяется у своего благодѣтеля—и начинается его перевоспитаніе. За нимъ наблюдаетъ живущій у Горгонія другъ его—Кассіанъ, который и стремится „образовать умъ и сердце“ своего воспитанника. Цѣль достигается, и черезъ годъ съ небольшимъ Горгоній и жена его открываютъ Аристіону, который обнимаетъ въ нихъ отца своего Валеріана и мать Софию.

Въ этой повѣсти, кромѣ фантастичности въ исторіи перевоспитанія героя, котораго, не смотря на его двадцатипятилѣтній возрастъ, держать, какъ малаго школьнаго, запрещаютъ входить къ Горгонію, пока тогъ не позоветъ его, приглашаютъ къ нему учителей изъ города, заставляютъ читать книги, ведутъ съ нимъ назидательныя бесѣды, причемъ онъ и не подозрѣваетъ окружающей его мистификаціи,—въ этой повѣсти, кромѣ всего этого, есть еще и нѣкоторыя недоразумѣнія, и болѣе всего загадочной является личность Валеріана-Горгонія. Этотъ человѣкъ 10 лѣтъ учился въ Кенигсбергскомъ университетѣ, и все-таки не умѣлъ воспитать своего сына, „дождилъ на него золотомъ“,—и вдругъ откуда-то взялись у него такие педагогические взгляды и пріемы, такая необычайная настойчивость въ достижениіи цѣли. Невольно кажется, что переродился не только сынъ, но еще раньше переродился и самъ отецъ, какъ воспитатель. Ясно, что Нарѣжный, подобно многимъ нашимъ писателямъ, не мало думалъ надъ вопросомъ

о воспитанії. Съ недостатками современаго ему воспитанія онъ былъ знакомъ хорошо, и потому могъ изобразить ихъ вѣрно и реально; но когда ему захотѣлось указать еще и идеалъ воспитанія и даже возможность перевоспитанія, онъ увлекся въ сторону фантазіи и изобразилъ, если не нѣчто совершенно неправдоподобное, то во всякомъ случаѣ нѣчто весьма исключительное, анекдотическое. А еще Галаховъ замѣтилъ, что „не все анекдотическое можетъ служить предметомъ поэтическаго повѣствованія“ ¹⁵⁸⁾.

Впрочемъ изъ исторіи перевоспитанія Аристіона все же можно извлечь нѣкоторыя любопытныя черты того воспитанія, которое Нарѣжный считалъ идеальнымъ. Ужъ не говоря о требованіи, чтобы дворянинъ былъ вполнѣ благороденъ сердцемъ и не воспитывался въ такихъ пансионахъ, гдѣ не выучиваются ни одной молитвѣ, авторъ требуетъ, чтобы онъ былъ и образованнымъ человѣкомъ, для чего ему необходимо знакомство съ логикой, метафизикой, физикой, этикой и политикой. Далѣе авторъ считаетъ весьма полезнымъ знаніе исторіи, и устами Горгонія излагаетъ свой взглядъ на преподаваніе ея. „Знаніе исторіи“ — говоритъ Горгоній — „тогда только можетъ быть полезно, когда мы будемъ знать болѣе, нежели дни рожденія и смерти державныхъ особъ, полководцевъ и законодателей, и притомъ нѣкоторые подвиги каждого. Я ни мало не сдѣлаюсь ни умнѣе ни добрѣе, а потому ни счастливѣе, если бы и дѣйствительно былъ увѣренъ, что слово Москва происходитъ отъ Мосоха, внука Ноева; что славянскій языкъ получилъ начало при смыщленіи языковъ у столба Вавилонскаго, и что Рюрикъ былъ близкій родственникъ кесарю Августу. Нѣтъ, я этимъ не доволенъ. Мнеъ надобно знать, почему за одно и то же дѣйствіе, произведенное въ одномъ и томъ же народѣ, но въ разныя времена, имя одного возносятъ, а другого проклятіями низвергаютъ до ада. Вы скажете, что такія перемѣны умовъ человѣческихъ зависятъ отъ степени народнаго просвѣщенія; отчего же это самое просвѣщеніе, сдѣлавшись всеобщимъ, увеличиваетъ бѣдствія и заставляетъ добрѣтель самой себя стыдиться и даже бояться? — Такое познаніе исторіи о дѣйствіяхъ народовъ, конечно, будетъ полезно“. — Очевидно, что эта рѣчь есть вмѣстѣ и протестъ Нарѣжнаго противъ того преподаванія исторіи, которое еще встрѣчалось въ нашихъ школахъ начала XIX вѣка.

Однако и въ той части повѣсти, которая занята перевоспитаніемъ Аристіона, какъ ни фантастична она въ цѣломъ, есть

мъста, свидѣтельствующія о недюжинномъ таланѣ Нарѣжнаго, умѣвшаго проявлять его тамъ, гдѣ онъ оставался на чисто реальной почвѣ, т.е. гдѣ писалъ съ натуры: это тѣ страницы, гдѣ описываются сосѣдніе помѣщики, съ которыми Кассіанъ знакомитъ Аристіона съ назидательной цѣлью. Одинъ изъ нихъ—панъ Сильвестръ, страстный охотникъ, совершенно забросившій свое хозяйство, человѣкъ крайне грубый, жестокій и давно уже не бравшій въ руки ни одной книги; таковъ же и сынъ его. Показавъ ихъ Аристіону, Кассіанъ высказываетъ мысль, очевидно, принадлежащую самому автору: „оны оба показываютъ, что значитъ дворянинъ безъ приличнаго образованія. Это дикий звѣрь, который готовъ терзать себѣ подобныхъ, если ихъ сильнѣе; помочь же имъ въ чемъ-нибудь онъ и не умѣеть и не хочетъ, и есть истинное бремя на земномъ шарѣ, есть гнусный вефедъ, заражающій все общественное тѣло, есть ядовитое животное, оскверняющее все, къ чему ни прикоснется“.—Другой сосѣдъ—панъ Парамонъ, весельчакъ, то проводящій время за карточной игрой съ своими гостями, сопровождаемой постояннымъ прихлебываніемъ варенухи, то увеселяющій ихъ своимъ доморощеннымъ балетомъ, составленнымъ изъ крѣпостныхъ плясуновъ и плясуній. Кассіанъ называетъ его „тунеядцемъ, развратникомъ, губящимъ себя, свое семейство, всѣхъ его окружающихъ, и готовящимъ себѣ проклятія отъ всѣхъ, коихъ благосостояніе ввѣрено его власти“.—Третій сосѣдъ—панъ Тарахъ, прототипъ Плюшкина. Этотъ старикъ питается яшной кашицей, въ которую по каплямъ наливаєтъ льняное масло; будучи больнымъ, отказываетъ себѣ въ похлебкѣ изъ курицы и въ печеномъ яблокѣ, не платить за визиты доктору и за лѣкарство, и даже посыаетъ продать того зайца, котораго принесли ему въ подарокъ. А между тѣмъ этотъ „скаредъ едва ли не богаче каждого изъ своихъ сосѣдей“.—„Если бы можно было изъ десяти скрягъ слѣпить одного, то выщелъ бы истинный панъ Тарахъ,—супруга его и того лучше,“—заявляется одинъ изъ его крестьянъ. — „Не говоря о всѣхъ угнетеніяхъ, обидахъ всякаго рода, коими они придавили насть къ землѣ, такъ что и людьми назваться не смѣмъ,—они подъ конецъ изобрѣли хитрости, противъ коихъ и самъ сатана не остережется. Челядинцы ихъ состоятъ изъ парней, у коихъ, кромѣ лохмотьевъ на тѣлѣ и отваги на душѣ, ничего не осталось, и дѣвокъ такого жъ покроя. Посредствомъ этихъ слугъ демонскихъ приманиваются они нашихъ быковъ, коровъ, овецъ, куръ, гусей и проч. какъ-нибудь отвѣдать корма господскаго, а тутъ-то они и пиши: прошли. Сверхъ такого случайнаго побору, установлено, чтобы вся-

кій крестьянинъ, крестьянка, мальчикъ, дѣвочка, буде въ праздничный день захотять помолиться Богу въ церкви, въ ближнемъ селѣ, то должны прежде прийти на господскій дворъ и принести въ даръ—кто курицу, кто утку, кто десятокъ яицъ, мѣрку меду, масла, сыру, словомъ—что на кого возложено панами. По приведеніи всего принесенного въ порядокъ и по надлежащей оцѣнкѣ, очередной крестьянинъ на своей телѣгѣ долженъ эту добычу везти въ ближайшій городъ, въ 20-ти верстахъ отсюда, на продажу. Если ему не удастся продать по той цѣнѣ, какая назначена, то долженъ пополнить собственными деньгами, а буде заупрямится, то челядинцы придутъ на его дворъ и возьмутъ на господина то, что, по мнѣнію ихъ, вознаградить недоимку".

Конечно, панъ Тарахъ обрисованъ не съ такой художественностью, съ какой изображенъ Плюшкинъ, но оба они другъ другу родня, и Галаховъ назвалъ обоихъ ихъ русскими Гарпагонами: одного малорусскимъ, а другого великорусскимъ¹⁶⁴⁾.

Сравнительно небольшая повѣсть: „Марія“ появилась въ 1824 г. Она заключаетъ въ себѣ исторію любви молодого графскаго сына—Аскалона, и Маріи, дочери дворового, котораго отецъ Аскалона, за долгую и вѣрную службу, отпустилъ на волю. Въ этой повѣсти тоже много подражательного и придуманного (преимущественно во второй ея части), но много и реальнаго, взятаго изъ русской жизни (преимущественно въ первой части).

Завязка происходитъ въ домѣ живущаго въ своемъ имѣніи отца Аскалона, графа С. Графъ этотъ „отъ природы былъ кроткаго, миролюбиваго нрава, никогда не наказывалъ тѣлесно, и, въ случаѣ какого-либо проступка со стороны слуги или служанки, одинъ гнѣвный взоръ его былъ великимъ наказаніемъ; зато и служители берегли спокойствіе его болѣе собственнаго“. Иного характера была графиня, его жена. Она „была хотя и не совсѣмъ дурнаго нрава, но такъ высокомѣрна, такъ напыщена своимъ сіяніемъ, что рѣдко кого-либо изъ подвластныхъ ей людей удостоивала ласковымъ взглядомъ. Она считала ихъ за настыкомъ, которыхъ могла душить и топтать по произволу“. Сынъ ихъ Аскалонъ „былъ истинное подобіе добродушнаго отца своего“. Кромѣ сына, была у нихъ еще дочь—Евгения.

Когда Аскалону было 11 лѣтъ, а Евгению 6, графиня приставила къ дочери, для услугъ ей, пятилѣтнюю Марію, дѣвочку кроткую и впечатлительную. Въ домѣ были учителя и учительницы, а главнымъ руководителемъ воспитанія былъ швейцарецъ Бертолльдъ. Евгения полюбила Марію, какъ сестру, и просила,

чтобы имъ было дозволено не разлучаться и во время уроковъ. „Бертолдъ, какъ республиканецъ, похвалилъ такое благородное желаніе Евгениі“; родители дали согласіе—и Марія въ теченіе цѣлыхъ десяти лѣтъ училаась и воспитывалась вмѣстѣ съ графской дочерью. Понятно, что при такихъ условіяхъ дворовая дѣвочка превратилась въ барышню, подобную Евгениі, и въ глазахъ всякаго посторонняго Марія казалась тоже сестрой Аскалона. Прошло еще два года, и рѣшено было отправить Аскалона путешествовать по иностраннымъ землямъ для довершенія его образования. Тогда только узнали о взаимной любви Маріи и молодого графа, узнали, что послѣдній поклялся, что Марія рано или поздно будетъ его женою. „Недостойный!“ сказала графиня сыну: „какъ дерзнуль ты употребить такую клятву, которая никогда не исполнится, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока твои родители еще не въ могилѣ! Безумецъ! развѣ забылъ ты, чья кровь обращается въ жилахъ твоихъ, и какое имя носить назначило тебѣ Провидѣніе?“ И графиня, не обращая вниманія на заявленія республиканца Бертолъда, что у всѣхъ людей одна и та же природа, тутъ же рѣшила выдать Марію за своего камердинера. Но добродушный графъ не допустилъ супругу до такого насилия. Онъ распорядился такъ, чтобы „не оскорбить человѣчества и не раздражить вкорененного породою самолюбія“: сына онъ отправилъ за границу, а отца Маріи назначилъ управителемъ самаго дальняго своего помѣстья въ Украинѣ, куда онъ долженъ былъ немедленноѣхать вмѣстѣ съ дочерью и держать ее при себѣ неотлучно.

Все это вполнѣ правдоподобно, какъ по отношенію къ нравамъ знатныхъ баръ того времени, такъ и по отношенію къ истории любви молодого графа и Маріи; но въ дальнѣйшемъ представляется уже главнымъ образомъ или преувеличеніе, или что-то очень исключительное, или даже и вовсе невѣроятное. Марія по отъездѣ Аскалона totчасъ же сходитъ съ ума и черезъ три года умираетъ. „Уже хладная могила была ископана; уже вокругъ гроба Маріи почтенные священнослужители возносили мольбы къ милосердному Отцу всего сущаго, испрашивая новопочившей вѣчнаго мира въ горихъ селеніяхъ; уже вопли и стоны собравшагося народа наполняли воздухъ, какъ вдругъ услышали на дворѣ стукъ быстро вѣзжающей кареты. Подобно вихрю выскочилъ изъ нея молодой человѣкъ, и въ нѣсколько мгновеній очутился уже въ погребальной храминѣ“. Это былъ Аскалонъ. Узнавъ о смерти Маріи, онъ лишился чувствъ, и обморокъ его былъ такъ продолжителенъ, что покойницу успѣли похоронить и даже поставить надъ нею деревянный крестъ. Когда же Аска-

лонъ очнулся, „блѣдно было лицо его, взоры съ дикостью обращались; беспорядокъ души виденъ былъ изъ каждого движения“. Нѣсколько успокоившись, онъ приказываетъ приготовить два богатыхъ гроба, въ одинъ изъ нихъ велитъ положить вырытый прахъ Маріи, а другой предназначаетъ для себя, ставить ихъ пока въ деревянной бесѣдкѣ въ саду; затѣмъ строить каменную церковь и переносить туда оба гроба. Совершивъ все это, Аскalonъ рѣшился навсегда остатся жить возлѣ праха Маріи—и жить уединенно. Отецъ Маріи, разсказавъ о его жизни, посвященной благотворительности, прибавилъ: „Всѣ благословляютъ его,—одинъ онъ носитъ въ груди своей корень злополучія, который, примѣтно снѣдая всѣ жизненные силы, болѣе и болѣе утверждается, и, по видимому, не прежде изсохнетъ, какъ во взорахъ страдальца потухнетъ послѣдняя искра жизни“.

Однако, если отбросить вторую часть повѣсти, написанную, очевидно, подъ вліяніемъ сентиментальныхъ произведеній, то остается далеко не лишенная интереса картишка изъ барской жизни того времени, картишка, въ которой многія черты схвачены очень вѣрно и переданы живо. Высокомѣрная, напыщенная и despoticеская графиня и рядомъ съ ней республиканецъ Бертолъдъ—это живыя лица. Вѣрно указаны и черты тогдашняго воспитанія, даваемаго дѣтямъ въ аристократическихъ домахъ. Интересно при этомъ и отношеніе автора къ нерусскому направленію въ этомъ воспитаніи. Въ повѣсти критикуетъ его не самъ авторъ, а отецъ Маріи—Хрисанфъ, подобно тому, какъ въ „Капитанской дочкѣ“ критикуетъ его Савельичъ; но разница та, что критика Савельича есть именно его собственная критика, тогда какъ рѣчи Хрисанфа, очевидно, суть рѣчи автора. „Главное воспитаніе“—говорить Хрисанфъ—„предоставлено руководству славнаго аббата Бертолъда, который воспитывалъ графскаго сына на швейцарскій образецъ, ибо онъ, къ несчастію, думалъ, что изъ россіянина ничего путнаго не выйдетъ, пока онъ предварительно въ нѣдрахъ своего отечества не сдѣлается чужестранцемъ“. И далѣе: „Слѣдуя вдохновенію всемогущей моды, Аскalonъ долженъ быть готовиться къ путешествію по иностраннымъ владѣніямъ, не для того, чтобы, все хорошее и все дурное чужеземное слича съ хорошимъ и дурнымъ отечественнымъ, найти способы истребить послѣднее, придержаться первого, а такъ: т.-е. мода требовала, чтобы молодой, знатный, богатый человѣкъ путешествовалъ въ отечества“ ¹⁵⁶).

Нельзя не замѣтить, что взглядъ Нарѣжнаго на то, что должно было бы быть результатомъ нашего сближенія съ Европою, былъ самымъ разумнымъ.

Повѣсть: „Запорожецъ“, напечатанная тоже въ 1824 г., замѣтательна тѣмъ, что Нарѣжный явился въ ней предшественникомъ Гоголя въ описаніи Запорожской Сѣчи. Описаніе у Нарѣжнаго, конечно, гораздо блѣднѣе, чѣмъ у Гоголя, но во всякомъ случаѣ представляеть собою вѣрную картину изъ запорожскаго прошлаго, картину, какихъ авторъ не давалъ еще въ своихъ „Славенскихъ вечерахъ“. Но слогъ въ описаніи Сѣчи еще напоминаетъ слогъ этихъ послѣднихъ, гдѣ особенно бросаются въ глаза Карамзинскіе заключительные дактили.

„Едва взошло осенне солнце надъ необозримыми равнинами моря Чернаго, вся Запорожская Сѣчь зашумѣла. Безчисленное множество народа толпилось на обширной площади, предъ храмомъ угодника Николая. Громкій звонъ колоколовъ потрясалъ воздухъ. Звукъ трубъ и литавровъ далеко разстился по ровному полю и гладкой поверхности моря. Радостный говоръ народа изъявлялъ всеобщее восхищеніе“.

„Что жъ было виною сего торжества всеобщаго?—Еще на зарѣ утренней прискакалъ гонецъ съ радостнымъ извѣстіемъ, что войсковой атаманъ, Авениръ Булатъ, по веснѣ отправившійся, съ отборною дружиною, для усмиренія хищныхъ закубанцевъ, возвращается во-свояси съ полною побѣдой и богатой добычей. Онъ просилъ духовенство не начинать литургіи, пока не вступить въ Сѣчь, дабы воины, столь долго лишавшіеся счастія слышать слово Божіе, при самомъ появлѣніи въ предѣлы мѣста драгоцѣннаго, могли сего сподобиться, облобызать крестъ Господень и окропиться водою священною“ ¹⁵⁶⁾.

Народъ съ духовенствомъ ждетъ—и вотъ наконецъ поднимается высокая пыль, и скоро всѣ видятъ развѣвающуюся въ воздухѣ хоругвь запорожскую. Передъ нею ёдетъ на конѣ атаманъ, тяжко йзраненный, и потому поддерживаемый съ каждой стороны казаками. Съ нимъ троє юныхъ сыновей его. Положеніе атамана омрачаетъ общую радость, колокола и трубы замолкаютъ. Замѣтивъ уныніе, Авениръ произносить слѣдующую рѣчъ:

„Почтенные отцы духовные и вы, дѣти мои, казаки запорожскіе! Неужели послѣднимъ подвигомъ не заслужилъ я, чтобы встрѣтили меня съ веселіемъ, какъ всегда встрѣчали доселѣ возвращающагося изъ походовъ? Неужели раны, атаманомъ вашимъ полученные, могутъ пристыдить васъ при свиданіи съ родными вамъ малороссіянами или безбожными агарянами? Или дорогою цѣною купилъ я побѣду и пріобрѣль корысти? Обозрите все, сочтите—и будьте веселы! Двадцать храбрыхъ казаковъ пали на мѣстѣ битвы, до сорока ранены. Зато получили мы,—если не

навсегда, по крайней мѣрѣ на долгое время,—спокойствіе; въ плѣнъ взято около тысячи мѣжей, женъ и дѣтей обоего пола; отбито пятьсотъ коней, триста воловъ, безчисленное множество овецъ, нѣсколько дюжинъ ружей, пистолетовъ, сабель, дорогихъ ковровъ и связокъ шелковыхъ и бумажныхъ тканей. Посредствомъ торга съ сосѣдними турками и татарами, обратите вы добычу въ серебро и золото. Десятая часть по установленію нашему, да посвятится на украшеніе храма угодника Божія“.

Затѣмъ атаманъ велитъ положить себя у церковныхъ дверей, чтобы услышать — можетъ быть въ послѣдній разъ — слово Божіе и помолиться обѣ отпущеніи грѣховъ своихъ.

„Въ ту жъ минуту исполнено было желаніе Авенира. Одѣя поставленъ на мѣстѣ назначенія и покрытъ ковромъ драгоценнымъ. Съ величайшою осторожностью сняли его съ коня и усадили на семь ложѣ. Въ головахъ стала знаменоносецъ; все воинство, бывшее съ нимъ въ походѣ, стало въ полукружіи... По окончаніи литургіи, духовенство вышло на крыльцо церковное, гдѣ во-первыхъ отправлена панихида о успокоеніи душъ воиновъ, во браны убиенныхъ, потомъ пропѣто многолѣтіе царю московскому, а наконецъ совершено водоосвященіе, и всѣ распущены по куренямъ. Знамя запорожское торжественно внесено въ церковь, а одѣя съ атаманомъ подняты и отнесены въ домъ его, стоявшій близъ самаго храма. Тамъ уже дожидалъ его славный врачъ Сатиръ (славный потому, что былъ одинъ во всемъ Запорожье, гдѣ каждый больной лѣчится, какъ знаетъ), польскій уроженецъ, проживавшій съ семействомъ на хуторѣ. По осмотрѣ ранъ и промытіи оныхъ, Сатиръ сказалъ окружавшимъ постель атамана: «Если бы раны были свѣжі, то я сейчасъ сказалъ бы, чего надѣяться можно. Но какъ онъ довольно долго оставались безъ всякаго врачеванія, то будьте терпѣливы до завтрашняго полудня. Мази мои спасительны, и составлены по рецептамъ знаменитѣйшихъ врачей, которые тѣхъ только не принимались пользовать, у коихъ головы были уже отрублены».

Однако, послѣ перевязки, Авениръ къ вечеру чувствуетъ уже облегченіе и зоветъ къ себѣ сыновей своихъ. Но этимъ и оканчивается лучшая часть повѣсти, занимающая всего лишь 8 страницъ: далѣе слѣдуетъ нѣчто совершенно иное, не имѣющее ни малѣйшаго отношенія ни къ Запорожью, ни къ русской жизни вообще и представляющее собою скорѣе всего переводъ какого-нибудь иностранного романа съ приключеніями.—Авениръ зоветъ къ себѣ сыновей для того, чтобы разсказать имъ свое прошлое и открыть имъ, кто онъ и кто они, такъ какъ юноши до сихъ

поръ еще не знаютъ, что Авениръ — ихъ отецъ. Начинается длинный разсказъ, изъ котораго видно, что Авениръ — сынъ богатѣйшаго помѣщика въ Лангедокѣ, маркиза де Газара; судьба послала ему на долю множество приключений; жилье онъ сперва то въ Лангедокскомъ замкѣ своего отца, то въ Парижѣ, потомъ въ Испаніи, потомъ въ Италии; былъ три раза женатъ, и всѣ три жены его скоро умирали самымъ необыкновеннымъ образомъ, оставляя ему по сыну. Разсказъ обо всемъ этомъ обнимаетъ цѣлыхъ 102 страницы и представляетъ собою настоящій roman d'aventures изъ французской, испанской и итальянской жизни, со всѣми свойственными ему необычайностями.

На остальныхъ 42 страницахъ повѣсти авторъ отчасти возвращается къ Запорожской Сѣчи, отчасти заставляетъ маркиза продолжать разсказъ о своихъ приключеніяхъ. Маркизъ убиль на дуэли итальянского графа, имѣвшаго большія связи, и, чтобы избѣжать наказанія, ему надо скрыться. Куда же? Слуга его Клодій указываетъ ему на Запорожскую Сѣчь и тутъ же дѣлаетъ сжатый очеркъ ея истории и нравовъ. Этотъ очеркъ, страннымъ образомъ вложенный въ уста слуги заграничнаго маркиза, есть тѣмъ не менѣе продолженіе первыхъ, лучшихъ, страницъ повѣсти, на которыхъ Нарѣжный и является предшественникомъ Гоголя.

„Милостивый государь!“ — говоритъ Клодій, — я знаю одно-
мѣсто въ юго-восточномъ краѣ Европы, гдѣ можетъ найти въ-
ное убѣжище всякий, такого ищущій. Это мѣсто называется
Запорожская Сѣчь, и лежитъ недалеко отъ пороговъ Днѣпра,
гдѣ вливаются воды его въ Черное море. Первоначально посе-
лились тамъ разнаго званія малороссіяне, не находившие въ отчи-
знѣ своей ни крова ни пищи. Чтобы предохранить себя отъ ссоръ,
непорядковъ и раздоровъ, могущихъ небольшую республику эту
нисправергнуть, храбрые люди эти положили непремѣннымъ за-
кономъ не имѣть при себѣ не только женъ, но даже чтобы ни
одна женщина не переходила воротъ ихъ города. Но какъ и са-
мые небольшія общества имѣютъ нужду въ ремеслахъ, руко-
дѣльяхъ и искусствахъ разнаго рода, а посвятившие себя един-
ственно военному дѣлу люди неудобно и неохотно могутъ зани-
маться чѣмъ-нибудь другимъ, кромѣ оружія, — то запорожскіе
казаки дозволяютъ и казакамъ жениться и заниматься куплею и
продажею нужныхъ вещей, но съ тѣмъ, чтобы такие промы-
шленники жили въ города Сѣчи, въ предмѣстіи и на хуторахъ,
вмѣстѣ съ женами и дѣтьми. Тамъ дозволяется жить и торговаться
христіанамъ всѣхъ исповѣданій, магометанамъ разныхъ поколѣній,
жидамъ и язычникамъ. Въ приемѣ въ казаки, старшина совсѣмъ

не заботится, кто изъ желающихъ сдѣлаться запорожцами—какой вѣры, какой земли, званія, поведенія; равнымъ образомъ не выспрашиваетъ, что принуждаетъ кого, оставя отчизну, искать у нихъ убѣжища. Тамъ суть англійские лорды, испанскіе доны, французскіе графы, маркизы и проч. и проч. Но при вступлениі въ это особеннаго рода общество, подобно какъ при посвященіи въ монашество, надо оставить всѣ прежнія титла и знаки отличія; тамъ всѣ равны: сегодня кошевой атаманъ или судья, а завтра простой казакъ; при принятіи новаго собрата, ему даютъ прозваніе, какое вздумается, бреютъ голову, оставляя одинъ оселедецъ, и этотъ профанъ въ короткое время становится посвященнымъ въ таинствахъ запорожскихъ".

Маркизъ послѣдовалъ совѣту Клодія, отправилъ сыновей своихъ съ вѣрными слугами въ Сѣчь, а самъ пробылъ еще нѣкоторое время въ Стамбулѣ, гдѣ опять съ нимъ были разнаго рода приключенія. Наконецъ, присоединяясь къ греческой церкви подъ именемъ Авенира, онъ прибылъ къ запорожцамъ, быть принятъ въ ихъ общество и получилъ прозвище: Булатъ. Впослѣдствіи онъ за свои подвиги былъ избранъ атаманомъ.

Юноши, выслушавъ разсказъ, узнали, кто они и кто Авениръ, „пали на колѣна у одра недужнаго“ и „съ пролитiemъ горькихъ слезъ облобызали руки его“.

Послѣднія 5 страницъ повѣсти посвящены разсказу о томъ, какъ поправившійся Авениръ слагаетъ съ себя достоинство атамана, прощается съ казаками и уѣзжаетъ вмѣстѣ съ сыновьями въ московское царство: самъ онъ будетъ тамъ жить въ купленномъ имъ помѣстѣ, а сыновей своихъ онъ хочетъ видѣть на службѣ „при дворѣ царя благовѣрнаго“.

Такъ писались въ прежнее время наши историческія повѣсти, такъ смиѳшивалось въ нихъ русское съ нерусскимъ. Но все же въ „Запорожцѣ“ Нарѣжный уже близко подошелъ къ вѣрному пониманію истинныхъ требованій отъ этого рода произведеній: выкиньте изъ его повѣсти разсказъ Авенира о своихъ приключеніяхъ—и вы получите замѣчательную для того времени картину изъ нашего историческаго прошлаго, картину, въ которой авторъ стоять къ дѣйствительности гораздо ближе, чѣмъ Карамзинъ въ „Натальѣ“ и „Марѣѣ Посадницѣ“.

Романъ: „Бурсакъ“ и повѣсть: „Два Ивана, или страсть къ тяжбамъ“.— Неоконченный романъ: „Гаркуша, малороссійскій разбойникъ“.— Общий взглядъ на произведенія Нарѣжнаго.

„Бурсакъ“, появившійся тоже въ 1824 г., отличается, подобно „Россійскому Жилблазу“, сложнымъ содержаніемъ: это рассказы о диковинныхъ приключеніяхъ разныхъ лицъ, которыхъ однако, въ какихъ бы затруднительныхъ обстоятельствахъ ни очутились, выпутываются изъ нихъ самыемъ счастливымъ образомъ, и въ концѣ концовъ все устраивается къ ихъ благополучію. Романъ даже заканчивается такими словами: „Всѣ прославляли Бога, дѣлали добро другимъ по мѣрѣ возможности, и были счастливы“. Отсюда и общее впечатлѣніе отъ „Бурсака“ такое же, какое получается и отъ всякаго произведенія, гдѣ описаны через-чуръ ужъ романическія похожденія, т.-е. похожденія мало правдоподобныя или по крайней мѣрѣ весьма необыкновенныя, исключительныя. Но Нарѣжный, какъ видимъ, любилъ рассказывать именно о такихъ необыкновенныхъ похожденіяхъ, что объясняется большимъ вліяніемъ на него бывшихъ когда-то въ модѣ *romans d'aventures*.

Мѣстомъ дѣйствія въ „Бурсакѣ“ является Украина XVII-го столѣтія. Основой романа избранъ слѣдующій фактъ.

„Никодимъ и Калестинъ, два первые полковника въ малороссійскомъ войскѣ, славились повсюду знатностью породы, воинскими подвигами, богатствомъ и неразрывнымъ дружествомъ, связывавшимъ ихъ съ самаго юношества. Калестинъ имѣлъ единственнаго сына Леонида, а Никодимъ единственную дочь Евгению... Никодимъ и Калестинъ, предна�ѣрясь увѣковѣчить дружбу свою соединеніемъ по времени дѣтей узами брака, не пропускали ни одного случая знакомить ихъ между собою, и намѣреніе это простили до того, что Калестинъ приказалъ семнадцатилѣтнему Леониду быть учителемъ десятилѣтней Евгени... Леонидъ проводилъ съ нею половину каждого утра, а преподавая также уроки на бандурѣ, провождалъ въ домъ Никодима почти цѣлый вечеръ. Такъ прошло довольно времени, и Леониду исполнилось двадцать два года, а Евгениѣ пятнадцать. Юные любовники, зная намѣреніе о себѣ родителей, и не думали скрывать взаимной привязанности... Но опытные родители знали, что можетъ въ двухъ пламенѣющихъ сердцахъ произвести случай, посему они, предположивъ не раньше соединить дѣтей, какъ по совершенніи одному двадцати пяти, а другой осьмнадцати лѣтъ, рѣшились разлучить ихъ на нѣсколько времени... Наилучшимъ къ сему средствомъ признано отправ-

ление Леонида въ Киевскую академію, для прослушанія тамъ курса философії". Между тѣмъ, пока Леонидъ слушалъ философию, нѣвѣста его уже была назначена другому. Дѣло въ томъ, что Никодима выбрали гетманомъ, и онъ, по политическимъ расчетамъ, хочетъ отдать свою дочь за сына виленского воеводы. Пріѣзжаетъ Леонидъ, узнаетъ о намѣреніи гетмана и, при помощи хитрости придворного шута Куфія, выкрадываетъ изъ дворца свою Евгению. Разгнѣванный гетманъ посылаетъ на поиски и грозить мѣщаніемъ и дочери и ея похитителю. Молодымъ людямъ, конечно, не остается ничего иного, какъ скрываться.

Задуманная основа уже сама по себѣ даетъ автору возможность заставить своихъ героевъ испытать много разныхъ приключений. И дѣйствительно, они переодѣваются въ крестьянское платье, вѣнчаются въ деревенской церкви, живутъ нѣкоторое время покойно, затѣмъ, такъ, какъ поиски гетмана возобновились, они ведутъ кочевую жизнь, и наконецъ находятъ себѣ пріютъ на берегу Днѣпра, вблизи Запорожской Сѣчи; но тутъ, во время отсутствія Леонида, слуги гетмана увозятъ Евгению и заключаютъ ее въ монастырь въ Переяславль, где она томится два года; Леонидъ узнаетъ случайно о мѣстѣ ея заточенія, наряжается дьяволомъ, пугаетъ сторожившихъ его жену монахинь, освобождаетъ ее, и они поселяются на уединенномъ хуторѣ подъ именами Мемнона и Евлаліи.

Но всѣ эти похожденія составляютъ только побочную нить разсказа; главная же беретъ свое начало изъ слѣдующаго обстоятельства. У Леонида и Евгении родился сынъ — Неонъ, еще до кочевой ихъ жизни. Спасаясь отъ поисковъ гетмана, они сдали младенца на руки знакомой вдовѣ и снабдили ее кошелькомъ съ червонцами. Вдова „не могши противиться искушенію сатанинскому“, золото оставила себѣ, а малютку, положивъ въ корзину, вынесла на большую дорогу, ведущую отъ Переяславля къ Пирятину, и тамъ оставила. Изъ этого обстоятельства авторъ и развиваетъ длинную нить приключеній Неона, который и есть „бурсакъ“, главный герой романа.

Ребенка, объ исчезновеніи которого родители узнаютъ лишь вспослѣдствіи и горюютъ, нашелъ дьячокъ изъ села Хлопоты — Варухъ, оставилъ его у себя, воспитывалъ, какъ сына, потомъ отдалъ въ Переяславскую бурсу, и, умирая, разсказалъ ему о томъ, какъ нашелъ его на дорогѣ, и завѣщалъ непремѣнно отыскать своихъ родителей. „Начальные буквы именъ, на кольцахъ вырѣзанныя“, — прибавилъ Варухъ, — „и записка о твоемъ кре-

щеніи подаютъ въ этомъ нѣкоторое облегченіе. Тамъ подъ образами лежитъ маленькая сумка, въ которой хранятся кольца и записка. Возьми ее и повѣсь на шею на томъ самомъ снуркѣ, на коемъ висѣли кольца, когда я нашелъ тебя". Неонъ исполнилъ приказаніе умирающаго. „На одномъ кольцѣ стояло: L—d 1679, а на другомъ: Е—а и тотъ же годъ. Въ запискѣ на латинскомъ языкѣ сказано: въ маѣ 1671 крещенъ по правиламъ грекороссійской церкви законный сынъ дворянина L—d и дворянской дочери Е—а, при чёмъ нареченъ Неономъ" ¹⁵⁷⁾.

Варухъ умеръ, когда Неонъ Хлопотинскій (такую фамилію дали ему въ семинаріи) еще не окончилъ семинарскаго курса. Но благодѣтель у него нашелся: это былъ его дядя, двоюродный братъ Леонида — Діомидъ, по прозванию Король, также принимавшій дѣятельное участіе въ похищенні Евгеніи изъ дворца гетмана, и потому подвергшійся его опалѣ и скромно проживавшій въ Переяславлѣ въ видѣ изгнанника изъ гетманской столицы — Батурина. Съ этимъ-то Королемъ судьба и связала Неона, и съ этихъ поръ они почти неразлучны. Далѣе авторъ разсказываетъ о томъ, какъ Король вводить Неона въ домъ богатаго малороссійскаго пана Истукарія, въ качествѣ учителя его сына; какъ завязывается романъ между бурсакомъ и дочерью Истукарія — Неониллой; какъ панъ Истукарій оскорбляется тѣмъ, что сойтись съ его дочерью осмѣлился безродный бурсакъ, и затѣвается ужасную месть. Король, пользуясь тѣмъ, что у казаковъ поднимается война съ поляками, увозитъ Неона въ Батуринь; но Неониллѣ спастись не удается: она отправлена отцомъ на дальний хуторъ и живетъ тамъ подъ строжайшимъ присмотромъ. Дорогою Неонъ и Король попадаютъ къ разбойникамъ, но спасаются; затѣмъ Неонъ самымъ необыкновеннымъ образомъ освобождается Неониллу, которая, переодѣвшись въ мужское платье, присоединяется къ двумъ героямъ, и послѣ этого они вмѣстѣ снова два раза натыкаются на разбойниковъ и снова оба раза остаются цѣлыми. Наконецъ Неонъ, дорогой же, женится на Неониллѣ — и всѣ трое прибывають въ Батуринь.

Въ Батуринѣ Неонъ поступаетъ въ полкъ самого гетмана, и за ревностную службу скоро производится въ есаулы. Затѣмъ, когда весною началась у казаковъ война съ поляками, онъ отличается, спасаетъ гетмана изъ плѣна, награждается званіемъ воинского старшины — и тогда только Король открываетъ гетману, что Неонъ — внукъ его, а послѣ разсказываетъ племяннику исторію его родителей — Леонида и Евгеніи. Оканчивается романъ примиреніемъ Никодима со своими дѣтьми; панъ же Истукарій

простила свою дочь еще раньше, какъ только узналъ, что Неонъ не безродный бурсакъ, а внукъ гетмана.

Сверхъ всего этого, содержаніе романа усложняется еще внесеніемъ въ него разныхъ разсказовъ, каковы, напримѣръ: разсказъ Евгениі о своей узнической жизни въ монастырѣ, разсказъ Неониллы о своей жизни до знакомства ея съ Неономъ, и длинный разсказъ о своихъ похожденіяхъ бывшаго Неонова товарища—Сарвила, который изъ выгнаннаго изъ бурсы семинариста очутился атаманомъ разбойничьей шайки, а потомъ оставилъ жизнь „столь опасную и презрѣнную“ и отправился въ Запорожье.

Авторъ романа, повидимому, имѣлъ нравоучительную цѣль: остеречь родителей отъ насилия надъ сердцами ихъ дѣтей. Такъ можно предполагать на основаніи слѣдующаго. Злоключенія Леонида и Евгениі, а въ зависимости отъ нихъ и судьба Неона, какъ бѣднаго бурсака и пріемыша, вытекли изъ того обстоятельства, что гетманъ учинилъ насилие надъ сердцемъ дочери. Страданія Неониллы, о которыхъ она разсказываетъ въ своей повѣсти, также обусловлены были тѣмъ, что она шестнадцатилѣтней дѣвушкой была выдана замужъ за человѣка, котораго она особенно не любила и отъ котораго избавилась только благодаря тому, что онъ скоро убить былъ на дуэли. Затѣмъ панъ Истукарій хотѣлъ ее снова выдать замужъ — и тоже насилино. По его взгляду, выбрать дочери мужа — дѣло отца, а дѣло дочери — за него выйти не разсуждая¹⁵⁸⁾. Съ этими фактами надо сопоставить слѣдующія слова, вложенные авторомъ въ уста Короля: „дѣти подлежать неограниченной власти своихъ родителей, пока ихъ слабость и неопытность того требуютъ. Но ежели я, старый, дряхлый скряга, дочери своей, цвѣтущей юностью и здоровьемъ, слѣдовательно отъ самого небеснаго Раздавателя благъ земныхъ одаренной всѣми способами наслаждаться счастіемъ жизни, предложу въ мужья такого же стараго, дряхлаго скрягу потому только, что онъ еще богаче меня,— неужели я имѣю тогда право носить священное имя родителя? Неужели я сдѣлаюсь угоденъ милосердному Небу за то, что одно изъ Его твореній, возросшее съ надеждой на счастіе, сдѣлаю злополучнѣйшимъ на лицѣ земли?“¹⁵⁹⁾. Въ другомъ мѣстѣ романа авторъ заставляетъ того же Истукарія, но уже просвѣтленнаго, сказать такія слова: „насилие надъ сердцами человѣческими не производить ничего доброго“¹⁶⁰⁾.

Вышеуказанная цѣль автора, конечно, весьма гуманна, но, желая наглядно доказать вредъ насилия надъ сердцемъ, онъ очень ужъ

часто прибѣгаетъ къ сплетенію приключеній самыхъ необыкновенныхъ, чисто романическихъ.

Но въ „Бурсакѣ“ есть много и реального, списанного прямо съ жизни. Это уже не подражательная, а самобытная часть романа, благодаря которой онъ обратилъ на себя вниманіе современниковъ и не забытъ еще и въ наше время: послѣднія изданія его относятся къ 1881 и 1886 г. ¹⁶¹⁾.

Самобытностью отличаются въ особенности первыя главы романа, въ которыхъ описывается старая малороссійская бурса и характеръ тогдашняго семинарскаго воспитанія. Это лучшія страницы романа.

Варуху, бѣдному сельскому дѣячку, завиднымъ представляется діаконское мѣсто — и вотъ онъ, любя своего приемыша, хлопочетъ помѣстить его въ семинарію именно въ томъ расчетѣ, что питомецъ его авось-либо сдѣлается со временемъ въ какомъ-нибудь селѣ діакономъ. „Посуди, какая честь, какая веселая жизнь!“ говорить онъ Неону, ведя его въ Переяславскую бурсу. Хлопоты Варуха увѣнчались успѣхомъ, и Неонъ „получилъ дозволеніе набираться мудрости въ семинаріи и жить въ тамошней бурсѣ“.

Затѣмъ авторъ объясняетъ читателю, что такое бурса. „Есть многіе сельскіе и иногородные отцы, кои, охотно желая видѣть сыновей своихъ учеными, по бѣдности не въ силахъ содер-жать ихъ въ городѣ, гдѣ понадобилось бы платить за квар-тиру и за пищу. Чтобы и таковыи доставить посильные спо-собы къ образованію, то, помошю вкладовъ щедрыхъ обывателей и по распоряженію монастырей, при каждой семинаріи устроены просторныя избы съ печью или и двумя, окруженыя внутри широкими лавками; на счетъ также монастыря снабжаются онѣ отоплениемъ, и болѣе ничѣмъ. Сі-то избы называются бурсами, а проживающіе въ нихъ школьніки — бурсаками. Старшій изъ сту-дентовъ, по волѣ ректора, управляетъ другими, нося величе-ственное имя консула, въ томъ предположеніи, что и начальныи Римъ былъ не что иное, какъ бурса“.

Неона ввели въ сей „вертепъ премудрости“, отрекомендо-вали консула, а чтобы новичокъ „милостивѣ былъ принятъ“, Варухъ вручилъ этому главѣ бурсы полтину денегъ, прося приготовить праздничный ужинъ. Осмотрѣвшись, Неонъ усѣлся въ углу на лавкѣ, на своеи ложѣ. Консулъ, высокій, дородный, смуглый мужчина, съ большими черными усами, лежалъ на лавкѣ на войлокѣ. Бурсаки, которые всеѣ были возрастнѣе Неона, за-няты были различнымъ образомъ: „иной басилъ ужаснымъ голо-сомъ духовную пѣсню; другой брянчалъ на балалайкѣ, подъ звукъ

коей человѣка два-три скакали въ присядку; нѣкоторые боролись или бились на кулачкахъ; словомъ, всякий дѣлалъ, что хотѣлъ, при всемъ томъ одинъ другому не мѣшай".

Далѣе авторъ характеризуетъ семинарское воспитаніе, которое состояло исключительно въ томъ, чтобы пріучить питомцевъ „къ кротости и терпѣнію". Съ этою цѣлью всякому вновь вступившему ученику послѣ первыхъ же часовъ занятій „влѣ-плялось въ каждую ладонь по полудюжинѣ рѣзкихъ ударовъ деревянною лопаткою". Ихъ получилъ и Неонъ, и когда очень удивился этому обстоятельству, товарищъ далъ ему такое разъясненіе: „Другъ мой, ты еще новъ и неопытенъ. Дюжина добрыхъ ударовъ, тобою полученныхъ, совсѣмъ не есть знакъ учительского гнѣва, а напротивъ — доказательство особеннаго благоволенія. Здѣсь теперь такое заведеніе, чтобы всякаго ученика, вступающаго въ сей храмъ мудрости, пріучать къ кротости и терпѣнію. Хотя обыкновеніе сіе почти ни одному новичку не нравится, но къ нему привыкаютъ, а особливо зная, что количество полученныхъ ударовъ приближаетъ каждого къ лестной цѣли — быть скорѣе діакономъ или попомъ".

Указанная воспитательная мѣра примѣнялась къ ученику не только въ первый день его пребыванія въ семинаріи, но практиковалась и послѣ такъ часто и такъ долго, какъ это находилъ нужнымъ воспитатель.

Къ кротости же пріучалъ и консулъ: когда Неонъ, чувствуя сильный аппетитъ, купилъ себѣ булку безъ вѣдома консула, послѣдній приказалъ ликторамъ пребольно высѣчь его крапивою. Неонъ онять удивился, но тотъ же товарищъ разъяснилъ ему значеніе этого факта. „Почтенное сословіе бурсаковъ" — сказалъ онъ Неону — „образуетъ въ маломъ видѣ великолѣпный Римъ, и консулъ управляетъ онымъ вмѣстѣ съ сенатомъ. Въ консулы избирается старшій изъ богослововъ, а прочіе богословы и философы образуютъ сенаторовъ; риторы составляютъ ликторовъ, или исполнителей приговоровъ сенатскихъ; поэты называются целерами, или бѣгунами, которые употребляются на разсылки; прочіе составляютъ плебеянъ, или чернь — простой народъ. Если бы консулъ сдѣлалъ какое позорное дѣло, то сенаторы доносятъ о томъ ректору, и тотъ немедленно снимаетъ съ него сей величественный санъ и, наказавъ, по мѣрѣ вины, палками, розгами, или и батожьемъ, обращаетъ въ званіе сенатора. Зато и консулъ имѣеть свои выгоды и преимущества, именно: если кто провинится изъ насть, но немногого, какъ напримѣръ сегодня ты, то онъ одинъ, своею властію, опредѣляетъ мѣру наказанія; въ случаѣ

же вины важной, онъ созываетъ сенатъ, и съ нимъ вмѣстѣ разсуждаетъ о дѣлѣ и произносить кару. Кромѣ одежды и обуви, у настъ все общее, и хранится въ каморкѣ, пристроенной къ бурскѣ, а ключъ всегда у консула. Главный промыселъ нашъ состоитъ въ пѣніи подъ окнами мірянъ церковныхъ пѣсней или—если кто столько смысленъ—въ проворствѣ рукъ. Мы получаемъ мукою, свинымъ саломъ, птицами, зеленою разнаго рода и отчасти деньгами, которая обыкновенно переходятъ отъ настъ въ руки шинкарки Мистридіи, торгующей вблизи отъ настъ. По симъ основаніямъ самыми злыми преступленіями почитаются у настъ, если кто изобличенъ будетъ въ утайкѣ хотя одной добытой копейки, или попадется въ сѣти на ручномъ промыслѣ“.

Затѣмъ авторъ описываетъ эти „промыслы“ бурсаковъ (заставляя говорить самого Неона).

„Лишь только раздался звонъ колокола на семинарской колокольнѣ, какъ и въ бурскѣ раздался басистый голосъ консула: «Ребята! на работу!» Тотчасъ четыре философа, взявъ на плечи по огромному мѣшку, стали поодаль одинъ отъ другого. Консулъ, стоя противъ нихъ, началъ пальцемъ указывать то на того, то на другого изъ прочей ватаги, и вмигъ къ каждому мѣшкочносцу присоединилось по нѣсколько риторовъ, поэтовъ и инфимовъ. Я попалъ подъ команду Сарвила, философа веселаго, смѣлаго, собою дороднаго и сильнаго, но весьма вспыльчиваго, такъ что, кромѣ сенаторовъ, всѣ въ бурскѣ его трепетали. Отряды сіи двинулись въ молчаніи, и младшіе шли впереди, за ними старшіе, а ходъ заключался философомъ. Какъ скоро прошли мы свой пустырь, то раздѣлились на четыре части, и каждая небольшая шайка сія пошла по особой улицѣ. Мы шли тихо, а философъ, нашъ вождь, мѣрными шагами и съ великою важностію повертывая голову направо и налево. По приказанію его, мы остановились подъ окнами одного виднаго дома, и онъ, подозвавъ меня, сказалъ: «Это домъ зажиточнаго купца; поди спроси!» Опрометью устремился я къ воротамъ, отворилъ калитку и вошелъ на большой дворъ. У самаго входа въ домъ стоялъ большой столъ, за ко. гдѣ сидѣли хозяинъ, жена его и дѣти, и всѣ полдничали“... Узнавъ, что войти дозволяется, „вступили мы на дворъ, и стали полуокругомъ около стола сажени за двѣ. Тутъ раздался ужасный ревъ Сарвила, такъ что всѣ вздрогнули; прочие ему подтянули, и начался духовный концертъ. Я взглянулъ на моего вождя, и ужасъ объялъ меня. Представь себѣ, кто хочетъ, высокаго чернаго мужчину, съ разинутою пастью, выпучившаго страшные глаза

и дерущаго горло, шевеля длинными усами... Концертъ конченъ. Сарвиль подошелъ къ самыи хозяевамъ, протянулъ руку и проговорилъ рѣчъ, которую кончилъ желаніемъ хозяину и хозяйкѣ съ чадами и домочадцами счастія и многолѣтія. Едва замолкъ онъ, какъ вся ватага воскликнула: многая лѣта!—Когда все утихло, ласковый хозяинъ поднесъ философиѣ большую чарку водки и сунулъ въ руку сколько-то денегъ; по приказанію доброй хозяйки въ нашъ мѣшокъ высыпана мѣрка гороху, впущена часть свинины и оставшійся отъ полдника большои кусокъ жаркой говядины”...

„По закатѣ солнечномъ всѣ четыре ватаги наши почти въ одно время возвратились.. Кисы ихъ были довольно наполнены, и когда все осмотрѣно, и деньги вручены консулу, — то онъ отвѣль въ уголь Сарвила и началъ съ нимъ шептаться. По прошествіи малаго времени консулъ громко произнесъ: «Не правда ли, братцы, что для перемѣны въ пищѣ не худо было бы на вѣчеръ сварить кашу тыквенную?» Всѣ одобрили такое предложеніе. Тогда онъ возгласилъ: «Неонъ, Памфиль, Епифанъ и Аверкій залѣзутъ въ ближній огородъ и будутъ рвать тамъ тыквы и что попадется, ибо все устроено на потребу человѣка; а риторы Максимъ и Лукьянъ станутъ у забора съ мѣшками для принятія добычи». Когда смерклось, то будущіе мои товарищи въ семъ ночномъ подвигъ начали приготовляться, т.-е. скинули халаты и засучили рукава... и всѣ отправились на мѣсто атаки. Риторы, яко старшіе, назначили каждому изъ насъ мѣсто, гдѣ должно перелѣзть плетяной заборъ, и мы мигомъ очутились на огородѣ.”

Въ описаніи старой бурсы и семинарскаго воспитанія, главную роль въ которомъ играли розги, служившія и для наказанія и для поощренія, въ описаніи всего этого Нарѣжный тоже былъ предшественникомъ Гоголя, и Бѣлозерская справедливо замѣчаетъ, что, по выходѣ въ свѣтъ романа: „Бурсакъ” въ 1824 году, большинство русской публики впервые получило наглядное представленіе объ этихъ „вертепахъ премудрости”.

Къ реальнай части романа принадлежать и тѣ страницы, гдѣ авторъ мимоходомъ изображаетъ смѣшныя претензіи и чванство тѣхъ малороссійскихъ малоземельныхъ дворянъ, которыхъ сравнительно можно было назвать нищими, и которые все-таки хотѣли казаться вельможными панами.

„Мы поворотили коней съ дороги. Крестьянинъ, который былъ отъ насъ саженяхъ въ двадцати, кинулъ свой плугъ и воловъ, опрометью кинулся къ телѣгѣ и скрылся за нею. Я хотѣлъ спро-

сить у своего спутника, чего сей мужикъ испугался; но онъ усмѣхнувшись сказалъ: «Я догадываюсь, что это шляхтичъ». Минуту спустя, послѣдовало превращеніе. Изъ-за тельги показался и шель прямо на насть мужчина въ синемъ поношенномъ жупанѣ; длинная сабля волоклась за нимъ. Довольно издали онъ снялъ шапку, поклонился съ ласковою улыбкою и вскричалъ: «Добро пожаловать, господа кавалеры! Сердечно жалѣю, что замокъ мой не близко отсюда, а время настаетъ полдничать. Во время полуденного зноя я немного уснуль, а бездѣльники мои подданные воспользовались симъ случаемъ и разбрелись до одного. Впрочемъ, господа, если вы чувствуете позывъ на ъду, то милости просимъ пожаловать къ моей бричкѣ. Тамъ найдете вы свиное сало, мягче и вкуснѣе всякаго масла, довольноное число преизящныхъ луковицъ, величиною съ рослую рѣпу, и хлѣбъ, какого лучше не ъсть и самъ гетманъ». — Король, разспросивъ его о ближней деревнѣ и узнавъ, что онъ не обманывается, опустилъ въ карманъ руку и вынулъ два золотыхъ, сказавъ съ великою важностю: «Господинъ кавалеръ! просимъ извинить, что мы у тебя полдничать не будемъ, ибо спѣшимъ къ мѣсту, гдѣ насть ожидаются; однакожъ ты представь, что мы поѣли твоего хлѣбасоли, и въ знакъ памяти прими эту малость». Тутъ опустилъ онъ свои золотые въ шапку новаго знакомца, а сей, поклонясь учтиво, сказалъ: «Инъ прощайте, господа ковалеры! Деньги же сіи я отдамъ первому прохожему, который пособить мнѣ ѿсть на иноходца. То-то добрый конь! Ни у кого изъ сосѣднихъ дворянъ нѣть подобнаго». Онъ положилъ деньги въ карманъ, и съ великою важностю пошелъ къ своей бричкѣ, а мы далѣе поѣхали».

„Что за оборотень! вскричалъ я, не могши удержаться отъ смѣха. — «Этотъ бѣднякъ» — отвѣчалъ Король — «зараженъ язвою, которая изъ Польши переселилась въ Малороссію, и великое множество крестьянъ лишила разсудка. Обработываніе отеческихъ полей показалось имъ низкимъ занятіемъ. Съ ущербомъ большей части имущества, каждый изъ таковыхъ безумцевъ досталъ себѣ какія-то свидѣтельства на дворянское достоинство — и ходить при саблѣ; но какъ терпѣть голодъ никому не хочется, то они, хотя съ отвращеніемъ, должны обрабатывать свои нивы, не пропуская однакожъ случая выказывать мнимое свое благородство. Пробывъ въ полѣ или въ лѣсу цѣлую недѣлю, занимаясь паханьемъ земли или рубкою дровъ, въ воскресный день такой дворянинъ является въ церкви при саблѣ, съ закрученными

усами; курительная трубка и мѣшокъ съ табакомъ заткнуты за поясъ, и онъ выступаетъ, какъ вельможа»¹⁶².

Далѣе, во второй части романа, Нарѣжный остается реальнымъ въ описаніи многихъ подробностей изъ жизни малороссійскихъ гетмановъ, въ описаніи казацкаго войска, въ разсказѣ о битвахъ ихъ съ поляками, хотя, конечно, тутъ нельзя найти такихъ прекрасныхъ и яркихъ картинъ, какими такъ богатъ „Та-растъ Бульба“ Гоголя. Кромѣ того, въ романѣ Нарѣжнаго то тамъ, то сямъ встречаются разнаго рода мелкія бытовыя сценки—то на базарѣ, то въ корчмѣ, то въ домѣ простолюдина (какъ напр. въ домѣ Ермила, у котораго Неонъ жилъ въ Батурина), то наконецъ сценки съ евреями, съ цыганами.

Этотъ реальный элементъ, не смотря на то, что онъ вплетенъ въ густую сѣть самыхъ романическихъ похожденій, обратилъ на себя вниманіе современниковъ Нарѣжнаго, и въ журналахъ 1824 г. критика отзывалась о „Бурсакѣ“ съ большою похвалою: она главнымъ образомъ отмѣтила, что „Бурсакъ“, при тогдашней бѣдности нашей литературы оригиналыми романами, былъ во всякомъ случаѣ цѣннымъ вкладомъ въ нее. Эта мысль была высказана въ „Благонамѣренномъ“ и въ особенности въ „Сынѣ Отечества“ (часть 97-ая). Въ послѣднемъ говорилось: „У насть почти вовсе нѣть оригиналныхъ романовъ, не только сочиненныхъ на русскомъ языкѣ, но и такихъ, коими изображены наши обычай, которые основаны на преданіяхъ русской старины и представляютъ картины знакомыя и близкія русскому читателю. Всякое подобное произведеніе должно быть принято любителями пріятнаго чтенія съ особеною благодарностью; и «Бурсакъ» принадлежитъ къ сему роду книгъ... Особенаго вниманія заслуживають черты малороссійскаго быта и старинныхъ обычаевъ того края. Сіи оригиналныя черты мало-помалу исчезаютъ подчасъ *шилковкою* общаго просвѣщенія. Желательно, чтобы онѣ, до совершеннаго изглаженія, сохранены были хотя бы въ повѣстяхъ; и вотъ почему можемъ, по всей справедливости, рекомендовать нашей публикѣ новое произведеніе Нарѣжнаго“.

Въ 1825 г. Нарѣжный издалъ повѣсть: „Два Ивана, или страсть къ тяжбамъ“. Въ этой повѣсти реальному элементу дано мѣста даже болѣе, чѣмъ въ „Бурсакѣ“. Главный предметъ ея—издавна развившаяся у малороссіянъ, въ особенности у малороссійскаго „шляхетства“, страсть къ сутяжничеству, къ „позыванію“. Объ этой страсти Галаховъ говоритъ:

— 197 —

„Знаменитый сподвижникъ Екатерины Великой, канцлеръ Безбородко, называлъ Малороссію страною прирожденныхъ по-вытчиковъ и секретарей. Подъ этимъ онъ разумѣлъ не только способность ея жителей къ юридической дѣятельности, но вмѣстѣ и неодолимую ихъ окоту къ сутяжничеству. Нигдѣ, конечно, глаголъ «позвывать» (требовать къ суду) не употреблялся такъ часто, не приводился въ исполненіе такъ настойчиво и не оканчивался такимъ разореніемъ истцовъ и отвѣтчиковъ, какъ въ предѣлахъ благословенной Украины. Малоруссы тягались какъ по необходимости, такъ еще изъ любви къ искусству, въ которомъ они большие мастера. Ихъ процессы изумительны съ одной стороны ничтожностью поводовъ, съ другой — своею долговременностью. Десятилѣтняя ссора Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ изъ-за слова «гусакъ» вовсе не выдумана; можно считать ее даже непреувеличенной. Эта страсть къ тяжбамъ, лежащая въ физиологическихъ особенностяхъ племени, развилась подъ вліяніемъ его исторической судьбы. Малоруссы отличаются стойкимъ упорствомъ. Выраженіе: «упрямъ, какъ хохоль» сдѣлалось почти пословицей. Въ этомъ свойствѣ есть и хорошая сторона: чувство самостоятельности, требованіе законной охраны и своему лицу и своей собственности. То и другое, личность и имущество, приходилось въ теченіе многихъ лѣтъ защищать отъ польской справы иногда оружіемъ, а иногда гражданскимъ судомъ. Отъ давней привычки быть всегда насторожѣ, отстаивать свое добро, «утѣхѣдилась въ Малороссіи страсть къ тяжбамъ, это истинное порожденіе ада», какъ говоритъ Нарѣжный, «сама породила тамъ чадъ и внучатъ и не выродится до дня Страшнаго суда»¹⁶³⁾.

Если ссора могла возникнуть изъ-за слова „гусакъ“, то тѣмъ болѣе могли дать къ ней поводъ застрѣленные кролики. Изъ-за нихъ-то и поднялась слѣдующая исторія.

Уже послѣ присоединенія Малой Россіи къ Великой жили-были два шляхтича: Иванъ Зубарь и Иванъ Хмара, или, какъ звали ихъ, Иванъ старшій и Иванъ младшій. Они были друзьями съ отроческихъ лѣтъ. Иванъ старшій жилъ бокъ-о-бокъ съ такимъ же шляхтичемъ — Харитономъ Занозою. У этого Ивана за-вѣлисъ кролики. Какимъ образомъ послужили они поводомъ къ жестокой враждѣ между обоими Иванами съ одной стороны и паномъ Харитономъ съ другой, и въ чемъ вражда эта выражалась въ теченіе цѣлыхъ десяти лѣтъ — объ этомъ въ повѣсти разсказываетъ Иванъ младшій.

„Звѣрки“—говорить онъ—, начали плодиться, и въ теченіе года съ небольшимъ явилось ихъ маленькое стадо. По прошествіи нѣсколькихъ весеннихъ недѣль, когда оба наши семейства, въ послѣобѣденное время, сидя подъ цвѣтующими вишневыми и сливовыми деревьями, слушали разсказы Ивана старшаго о военныхъ его подвигахъ и на досугѣ высчитывали количество будущихъ плодовъ,—раздавшійся мгновенно ружейный выстрѣлъ привелъ всѣхъ въ содроганіе; однако мы скоро оправились, вскочили и подбѣжали къ плетневому забору, раздѣлявшему оба сада. Тутъ опять послѣдовалъ выстрѣлъ, и мы вскорѣ увидѣли, что прямо къ намъ бѣжитъ куча кроликовъ, одинъ безъ ноги, другой безъ уха, третій безъ зубовъ, всѣ облиты кровью. Братъ мой поднялъ вопль: «Мои кролики!» и тутъ же показался сосѣдъ Ивана, шляхтичъ Харитонъ Заноза, съ ружьемъ въ рукахъ, а за нимъ слѣдовала пятилѣтній сынъ его Власъ, неся въ рукахъ съ полдюжины убитыхъ кроликовъ. Кто опишетъ мѣру нашего негодованія и гнѣва! «Что за храбрость оказалъ ты, панъ Харитонъ!»—вскричалъ другъ мой Иванъ:—«и какъ ты осмѣлился такъ буйнить?» Сосѣдъ, не скидавая колпака,—а надо знать, что мы оба были съ открытыми головами,—подошелъ къ самому забору, сказалъ: «На сегодняшній ужинъ дичины довольно; и я сказываю тебѣ, панъ Иванъ, что если не переведешь сихъ проклятыхъ животныхъ, которыя, подѣлавъ норы изъ твоего убѣжища въ мой садъ, привели въ немъ множество опустошеній молодымъ деревьямъ и растеніямъ, то я въ скорости всѣхъ ихъ доконаю, а сверхъ того стану съ тобою позываться».—«Ахъ ты, невѣжа, бурлакъ! и ты осмѣлился говорить это военному человѣку, не скинувъ колпака!» вскричалъ другъ мой Иванъ, съ быстротой вѣтра выдернулъ коль изъ забора, взмахнулъ—и колпакъ взвился на воздухъ. Но какъ это сдѣлано второпяхъ, то коль какъ-то задѣлъ сосѣда по уху, оттолкъ соскочилъ на високъ, сосѣдъ полетѣлъ на траву, сынъ его поднялъ вопль, и мы съ торжествомъ воротились каждый въ домъ свой».

„Вотъ основа тѣжбы. Начались слѣдствія, переизслѣдованія, и день-ото-дня дѣло наше становилось запутаннѣе. Я, будучи человѣкъ приказный, помогалъ другу моему совѣтами и перомъ; а онъ, не хотя оставаться въ накладѣ, за всякое зло, дѣлаемое паномъ Харитономъ, отплачивалъ настоящею пакостью, и такимъ образомъ во всегдашнемъ ратоборствѣ протекло около десяти лѣтъ. Въ теченіе сего времени съ нашей стороны погублены: цѣлое стадо гусей, утокъ, множество свиней, овецъ, козъ и бара-

новъ; зато и у пана Харитона убыло: три пары рабочихъ воловъ, двѣ лошади и нѣсколько коровъ съ теленками.—Но это мелочи! Харитонъ сожегъ у меня гумно, а мы выжгли у него цѣлое поле съ созрѣвшимъ хлѣбомъ; онъ подкопалъ у насть водяную мельницу, а мы сожгли у него двѣ вѣтряныхъ. Но кто исчислить всѣ убытки, кои одна сторона другой причинила?—Чтобы успѣшнѣе дѣйствовать въ свою пользу, мы переселились въ село Горбыли; и панъ Харитонъ, смекнувъ о напаѣ умыслѣ, тому же послѣдоваль, и живетъ теперь здѣсь на другомъ краю селенія“.

Послѣ каждой „пакости“ враги „позвывались“ — и, разумѣется, несли убытки, а выигрывала только судебная канцелярія, которая постановляла замѣчательные приговоры. Паны Иваны сожгли у Харитона голубятню; Харитонъ отомстилъ сожженіемъ пасѣки у Ивана старшаго. Стали они позываться ~~Послѣдовало такое рѣшеніе Сотенной канцеляріи:~~ б.

„Панъ Харитонъ Заноза жалуется, что паны Иваны, Субарь и Хмара, сожгли у него голубятню и съ голубями, коихъ было болѣе двухсотъ; а паны Иваны доказываютъ, что у старшаго изъ нихъ истреблена пасѣка, въ коей было не менѣе пятидесяти ульевъ“.

„Сотенная канцелярія, по долгу своему, вникнувъ въ сіи обстоятельства, опредѣляетъ:

„1. Предположа, что у пана Харитона при сгорѣніи голубятни погибли всѣ голуби, коихъ было счетомъ болѣе двухсотъ, т.-е. двѣсти одинъ, — то, назнача высшую цѣну за каждого по полуспѣ, выйдетъ убытку на пятьдесятъ копеекъ съ подушкой. Но какъ паны Иваны клятвенно увѣряютъ, что въ пищу употребили только двадцать птицъ, слѣдовательно настоящаго, чистаго убытку принесли на пять копеекъ, прочие же голуби частію разлетѣлись, частію сгорѣли. А какъ никто ни одному голубю не связывалъ и не обрѣзывалъ крыльевъ, то и прочие могли улетѣть: итакъ они изжарились по доброй волѣ“.

„2. У пана Ивана старшаго истреблено пятьдесятъ ульевъ, и по теперешней порѣ наполненныхъ сотами. По справочнымъ цѣнамъ каждый таковой улей стоитъ шестьдесятъ копеекъ: итакъ всего убытку выйдетъ на тридцать рублей. Исключча изъ всей суммы пять копеекъ, папъ Харитонъ причинилъ пану Ивану старшему истиннаго убытку на двадцать девять рублей девяносто пять копеекъ, каковыя деньги въ теченіе трехъ дней и долженъ непремѣнно выдать писцу Анурию. Для необходимыхъ расходовъ Сотенной канцеляріи удержится двадцать восемь руб-

лей девяносто пять копеекъ, затѣмъ остающійся цѣлый рубль имѣеть быть выданъ пану Ивану старшему съ распискою".

Панъ Харитонъ отъ этого рѣшенія, прочитанаго ему въ его домѣ Ануриемъ, пришелъ въ бѣшенство. „Онъ вскочилъ, какъ отчаянныи, подбѣжалъ къ изумленному писцу, выхватилъ роковое опредѣленіе, изорвалъ въ ласкотки и кинулъ въ глаза послу Сотенной канцеляріи... Онъ воніялъ, оборотясь къ писцу: «Зачѣмъ же вы разѣзжали на лошадяхъ моихъ? а? Зачѣмъ орали землю моими волами и засѣвали ее моими сѣменами? а? Зачѣмъ пожирали моихъ овецъ и барановъ, и изъ шкуръ ихъ дѣлали себѣ шубы? а? Зачѣмъ брали у меня деньги, душегубцы, бездѣльники, разбойники? Зачѣмъ выманивали у меня деньги, говорю я, когда не хотѣли держать мою сторону? а?» И панъ Харитонъ послѣ этого „поволокъ пана Анурия за воротъ, вытащилъ на дворъ, схватилъ въ охапку, стукнулъ въ одноколку, подаль вожжи въ руки и, давъ два добрые подзатыльника, схватилъ съ земли березовый сукъ и началъ поражать имъ то лошадь, то Анурия. Бѣдное животное, сколько было въ немъ силы, бросилось со двора на улицу, а панъ Харитонъ, туда же выскоча, кричалъ вслѣдъ писцу: «Скажи дураку сотнику и бездѣльникамъ членамъ Сотенной канцеляріи, что они беззаконники, и что я завтра же ѻду въ Полтаву позываться съ ними въ Полковой канцеляріи»" ^{164).}

Панъ Харитонъ дѣйствительно поѣжалъ въ Полтаву, да по дорогѣ, со злобы, сжегъ еще мельницы, принадлежавшія панамъ Иванамъ. Но, черезъ нѣкоторое время онъ прислалъ своему семейству слѣдующее письмо, которое было прочитано ему дьячкомъ Єомою, ибо въ селѣ Горбыляхъ „ни одна шляхтянка не умѣла ни читать ни писать“.

„Жена Анфиза и дѣти: Влась и Раиса и Лидія! всѣмъ желаю здравствовать“.

„Было бы вамъ извѣстно, что полтавскій полковникъ не умнѣе миргородскаго сотника, а члены Полковой канцеляріи нахальнѣ, злобнѣ, прижимчивѣ, чѣмъ члены Сотенной. Возможно ли? Они присудили, чтобы за безчестіе, причиненное мною при множествѣ свидѣтелей писцу Анурию — (великое подлинно безчестіе для канцелярскаго писца получить нѣсколько ударовъ дубиною въ спину отъ урожденнаго шляхтича!) — заплатилъ я двѣсти злотыхъ! — Да если бы я и до смерти убилъ негодяя Анурия, то нельзѧ требовать больше за это увѣчье, какъ развѣ двадцать или тридцать злотыхъ.—Выслушавъ такое нелѣпое рѣшеніе, я твердо

отрекся отъ исполненія, и бездушники опредѣлили отдать ему въ вѣчное и потомственное владѣніе мой хуторъ съ крестьянами и со всѣми угодьями. Правду сказать, что съ тѣхъ поръ, какъ началь я позываться съ Иванами, Зубаремъ и Хмарою, это имѣніе мнѣ опротивѣло, по близкому сосѣдству съ ихъ имѣніями. Однакожъ, чтобы не ударить себя лицомъ въ грязь, чтобы не устыдить столь почтенного имени, какое пріобрѣль я и отъ самыхъ враговъ своихъ, имени *завзятаго*, то теперь же отправляюсь въ Батурина, гдѣ до послѣдняго издыханія намѣренъ позываться въ Войсковой канцеляріи съ Полковой и Сотенною. Скорѣе соглашусь видѣть васъ въ рубищахъ, босыхъ, протягивающихъ руки для испрошенія куска хлѣба, или даже умирающихъ съ голода, чѣмъ поддамся моимъ злодѣямъ. Когда Ѹома читаетъ вамъ эти строки, то знайте, что я уже въ Батурина. Прощайте. Будьте здоровы!—Харитонъ Заноза“.

Но въ Батурина Заноза проигралъ свое дѣло окончательно, такъ какъ тамъ былъ постановленъ такой приговоръ:

„Войсковая канцелярія, разсмотрѣвъ рѣшенія канцелярій Сотенной миргородской и Полковой полтавской по дѣлу о буйныхъ и законопротивныхъ поступкахъ пана Харитона Занозы, опредѣляетъ: какъ уже писецъ Анурий достаточно удовлетворенъ за данные ему подзатыльники и удары дубиною въ спину присужденiemъ ему въ вѣчное и потомственное владѣніе хутора реченнаго Занозы, то справедливость требуетъ удовлетворить сотника и членовъ Сотенной канцеляріи, сильно обезщенныхъ самыми поносными словами, произнесенными Занозою въ тотъ вечеръ, когда онъ провожалъ дублемъ Анурия со двора своего; посему и слѣдуетъ: у пана Харитона, отобравъ горбылевскій домъ съ принадлежащими ему крестьянами, садами, огородами и полями, отдать во владѣніе сотнику Гордею; а онъ обязанъ въ возмездіе всѣмъ членамъ Сотенной канцеляріи, отъ старшаго до младшаго, выдать изъ казны своей деньгами осмью долю жалованья каждаго; пана же Харитона Занозу, въ страхъ другимъ и въ исправленіе буйнаго нрава его, посадить въ батуриинскую тюрьму на шесть недѣль, содержа на хлѣбѣ и водѣ. Что касается до жены и дѣтей Харитона Занозы, то онѣ, по прибытии въ домъ ихъ сотника Гордея, имѣютъ полное право выйти изъ онаго въ томъ одѣяніи, въ какомъ застигнуты будутъ; если же и онѣ—по неразумію и дерзости—станутъ противиться, тогда вытолкать ихъ на улицу въ шею, и пусть бредутъ, куда знаютъ“.

Паны Иваны не успѣли еще нарадоваться паденію врага,

какъ узнали, что и они не забыты Войсковою канцеляріей: она, „за ихъ буйства, неистовства и зажигательства, предписала отобрать у обоихъ движимое и недвижимое имущество и приписать оное къ сотенному имѣнію“.

Такъ разорились и обратились въ нищихъ всѣ три позывавшіеся пана.

Вотъ совершенно реальная часть повѣсти, изображающая и тогдашнее сутяжничество и тогдашніе суды. И въ этомъ отношеніи повѣсть: „Два Ивана“ была достойной предшественницей повѣсти Гоголя о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ. Г. Бѣлозерская справедливо замѣчаетъ, что приводимыя Нарѣжнымъ опредѣленія канцелярій, по своеобразному изложенію и содержанію, не уступаютъ прошеніямъ Ивановъ Гоголевскихъ.

Но мы передали пока только одну часть повѣсти: „Два Ивана“; другая же ея часть состоить въ разсказѣ о романическихъ похожденіяхъ дѣтей позывавшихъ героевъ. Никаноръ, сынъ Ивана старшаго, влюбился въ дочь Занозы—Раису, а Коронатъ, сынъ Ивана младшаго—въ сестру ея—Лидію. Трагикомическое положеніе молодыхъ людей, вытекающее изъ враждебныхъ отношеній между ихъ отцами, тайныя свиданія, страхъ за будущее—все это очень естественно; притомъ же Нарѣжный и въ этой части своей повѣсти знакомитъ читателя со многими бытовыми чертами тогдашней малороссійской жизни. Но общее впечатлѣніе отъ произведения все же значительно портится, благодаря тому, что авторъ и тутъ не обошелся безъ внесенія столь любимыхъ имъ романическихъ выдумокъ. Въ дѣло вмѣшиваются словно изъ земли выросшій богатый и добродѣтельный родственникъ обоихъ Ивановъ—пань Артамонъ, и все приводить къ благополучному концу. Такъ какъ Раиса и Лидія готовились уже быть матерями, Артамонъ велитъ молодымъ людямъ немедленно обвѣнчаться со своими невѣстами, но тайно; затѣмъ онъ устраиваетъ такую мистификацію: Никаноръ и Коронатъ ѣдутъ въ Батурины въ видѣ запорожскихъ казаковъ, помѣщаются въ тюрьмѣ вмѣстѣ съ Харитономъ, ухаживаются за нимъ, пріобрѣтаютъ его расположеніе, дѣлаются его друзьями; потомъ, когда пришелъ срокъ его освобожденія, приглашаютъ его, какъ человѣка, все потерявшаго, ѣхать съ ними въ Запорожье; по дорогѣ, какъ будто ничего не зная, заѣзжаютъ въ Горбыли. Тамъ оказывается, что имущество Харитона и обоихъ Ивановъ уже выкуплено Артамономъ и приведено въ самый лучшій видъ; затѣмъ начинается под-

— 205 —
готовлениe къ раскрытию мистификаціі—и наконецъ примиреніе Харитона съ Иванами и желанная развязка: Харитонъ въ восторгѣ, что дочери его—жены такихъ молодцовъ, какъ Никаноръ и Коронатъ, и заявляетъ въ концѣ повѣсти, что, „ничто въ свѣтѣ не искоренитъ изъ души его чувства: одни добродѣтельные могутъ быть истинно счастливы“.

Этими-то романическими выдумками и кладется существенное отличіе повѣсти Нарѣжнаго отъ подобной же повѣсти Гоголя.

Г. Бѣлозерская имѣла случай познакомиться еще съ однимъ произведеніемъ Нарѣжнаго: съ его неоконченнымъ и неизданнымъ романомъ: „Гаркуша, малороссійскій разбойникъ“. Рукопись (106 страницы) составляетъ собственность Литературнаго Фонда. По словамъ г. Бѣлозерской, романъ этотъ, какъ и другія произведенія Нарѣжнаго, заключаетъ въ себѣ два элемента: реальный, взятый изъ жизни,—и подражательный. Авторъ выводить тутъ на сцену историческое лицо: южнорусскаго разбойника Горкушу (а не Гаркушу, какъ у Нарѣжнаго), сосланнаго въ 1782 г. въ Нерчинскъ; но къ событиямъ дѣйствительнымъ прибавляеть много заимствованнаго изъ иностранныхъ такъ называемыхъ „разбойничьихъ романовъ“ (Räuberromanen).

Итакъ, въ Нарѣжномъ мы видимъ писателя, который далеко еще не былъ свободенъ отъ подчиненія западнымъ образцамъ: иностранные романы съ приключеніями, романы рыцарскіе, романы разбойничьи—все это имѣло на него огромное вліяніе, и онъ не только подражалъ этимъ романамъ, но иногда, кажется, даже прямо заимствовалъ изъ нихъ. Такъ, напримѣръ,ничѣмъ инымъ, какъ заимствованіемъ, нельзя объяснить появленія въ „Запорожцѣ“ длинной исторіи похожденій маркиза де Газара, превратившагося потомъ въ запорожскаго атамана Авенира. Это желаніе подражать было причиной того, что Нарѣжный наполнялъ свои произведенія романическими выдумками, искусственными эффектами, приключеніями крайне исключительными и даже мало правдоподобными.

Но это только одна сторона поэтической дѣятельности Нарѣжнаго, сторона, разумѣется, отрицательная, указаніемъ на которую характеристика этого писателя еще не можетъ исчерпываться. Уступая укоренившейся привычкѣ подражать западнымъ образцамъ, Нарѣжный въ то же время дѣлаетъ попытки и самобытнаго творчества, и попытки эти настолько удачны, что авторъ

обращаеть на себя вниманіе своихъ современниковъ, а одного изъ нихъ—князя Вяземскаго—онъ заставилъ даже подивиться возможности появленія у настъ романа изъ простонароднаго быта. „На дніахъ прочиталъ я русскій романъ: «Два Ивана, или страсть къ тяжбамъ», сочиненіе Нарѣжнаго“,—писалъ Вяземскій въ 1825 г. въ своемъ «Письмѣ въ Парижъ».—„Нарѣжный побѣдилъ первый, и покамѣстъ одинъ, трудность, которую, признаюсь, почиталъ я до него непобѣдимою. Мнѣ казалось, что нашъ народный бытъ не имѣть или имѣть мало оконечностей живописныхъ, кои могъ бы охватить наблюдатель для составленія русскаго романа“¹⁶⁵). Правда, и въ самобытной части романовъ и повѣстей Нарѣжнаго есть недочеты: мѣстами авторъ утрируетъ (напр. въ главахъ „Мертвѣцъ“ и „Набожные“ въ повѣсти „Два Ивана“), мѣстами грѣшишь противъ правдоподобія (напр. превращая полуграмотную Феклушу въ блестящую актрису съ манерами знатной дамы), заставляетъ крестьянъ говорить такъ, какъ могутъ говорить лишь люди, получившіе образованіе,—но во всякомъ случаѣ талантливость Нарѣжнаго достаточно удостовѣряется уже тѣмъ, что его справедливо считаютъ предшественникомъ Гоголя. А этого уже довольно, чтобы получить право на видное мѣсто въ исторіи нашей литературы, въ частности—въ исторіи развитія нашего самобытнаго романа.

Само собою разумѣется, что, называя Нарѣжнаго предшественникомъ Гоголя, этимъ самымъ отнюдь не уравниваютъ съ произведеніями послѣдняго даже тѣхъ страницъ въ повѣстяхъ и романахъ Нарѣжнаго, которые признаются у него самыми лучшими: Нарѣжный не былъ, подобно Гоголю, тонкимъ художникомъ, не умѣлъ создавать перловъ поэзіи. Тѣмъ не менѣе его картины изъ запорожской жѣзни, изъ жизни бурсаковъ, его типы малороссійскихъ шляхтичей, его обрисовка судебныхъ канцелярій стараго времени, его очеркъ масонскихъ собраній и вообще разнаго рода сценки и типы, взятые изъ реальной жизни—все это было значительнымъ шагомъ впередъ въ развитіи нашего романа и во многомъ подготавляло дорогу Гоголю.

Но все сказанное касается лишь объективной стороны произведеній Нарѣжнаго, а въ нихъ есть еще и субъективная: мысли, чувства и идеалы автора. Въ повѣстяхъ и романахъ Нарѣжнаго ясно видны его любовь къ человѣку, его гуманное чувство, его скорбь о людской неправдѣ, его идеалистическое настроеніе, его призывъ къ сердцу. И притомъ проповѣдь Нарѣжнаго не остается лишь въ сферѣ общей морали: онъ касается и общественныхъ

вопросовъ, въ особенности вопросовъ о воспитаніи и объ отношеніи помѣщиковъ къ своимъ крѣпостнымъ. Авторъ, какъ мы видѣли, требовалъ для дворянъ серьезнаго образованія. Дворянина безъ образованія называлъ онъ „гнуснымъ вередомъ, заражающимъ все общественное тѣло“. Онъ съ негодованіемъ говорилъ о тѣхъ помѣщикахъ, которые „считали своихъ крѣпостныхъ за настѣкомыхъ, которыхъ могли душить и топтать по произволу“.

Наконецъ въ Нарѣжномъ мы видимъ русскаго человѣка, весьма разумно смотрѣвшаго на то, каковы должны быть наши отношенія къ чужеземцамъ. По его словамъ, слѣдуетъ, „все хорошее и все дурное чужеземное слича съ хорошимъ и дурнымъ отечественнымъ, найти способы истребить послѣднее, придержаться первого“.

Гуманное чувство, вѣра въ просвѣщеніе, разумный патріотизмъ, идеалистическое настроеніе—вотъ симпатичныя черты разсмотрѣнаго писателя.



ПРИМѢЧАНІЯ.

¹⁾ Всѣ мѣста изъ „Путешествія въ полуденную Россію“ приводимъ по изданію 1800—1802 г.

²⁾ Выписки изъ „Путешествія въ Малороссію“ приводимъ по московскому изданію 1803 г.

³⁾ „Историко-литературная христоматія“, т. II, стр. 179.

⁴⁾ „Взглядъ на мою жизнь“, стр. 149—150 (изд. 1866 г. Москва).

⁵⁾ Тамъ же, 144.

⁶⁾ Тамъ же, 134.

⁷⁾ По объясненію Лонгинова, это былъ фельдмаршалъ свѣтлѣйшій князь Ник. Ив. Салтыковъ („Взглядъ на мою жизнь“, стр. 295).

⁸⁾ Тамъ же, 200—201.

⁹⁾ Тамъ же, 92.

¹⁰⁾ Тамъ же, 13—14.

¹¹⁾ Тамъ же, 14—15.

¹²⁾ Тамъ же, 15.
¹³⁾ Клодъ Жозефъ Доратъ (1734—1780)—одинъ изъ корифеевъ легкой французской поэзіи XVIII-го вѣка. Полное собрание его сочиненій издано въ 20-ти томахъ въ Парижѣ, 1764—1780 г.

¹⁴⁾ „Взглядъ на мою жизнь“, стр. 36 и 70.

¹⁵⁾ Тамъ же, 16—18.

¹⁶⁾ П. М. Строевъ—впослѣдствіи извѣстный нашъ археологъ.

¹⁷⁾ См. „Взглядъ на мою жизнь“, 33, 34, 65 и 270, примѣчаніе 59-е.

¹⁸⁾ Тамъ же, 52, 53, 238.

¹⁹⁾ Тамъ же, 74—75.

²⁰⁾ Тамъ же, 71.

²¹⁾ Тамъ же, 69.

²²⁾ Тамъ же, 70 и 71.

²³⁾ Тамъ же, 80, 76, 81 и 89.

²⁴⁾ Стихотворенія Дмитріева приводимъ по изд. 1893 г., составляющему приложеніе къ журналу: „Сѣверъ“. Редакція А. А. Флоридова.

²⁵⁾ „Взглядъ на мою жизнь“, 34.

²⁶⁾ Письмо М. П. Погодина къ М. А. Дмитріеву изъ Москвы отъ 19 октября 1837 г.

²⁷⁾ „Взглядъ на мою жизнь“, 20.

²⁸⁾ См. выпускъ 1-й, стр. 11.

²⁹⁾ „Взглядъ на мою жизнь“, 180—181.

³⁰⁾ Тамъ же, 19.

³¹⁾ Тамъ же, 312.

³²⁾ Письмо Погодина къ М. А. Дмитріеву отъ 13 октября 1837 г.

³³⁾ „Взглядъ на мою жизнь“, 248.

³⁴⁾ „Полное собрание сочиненій князя П. А. Вяземскаго“, т. I, стр. 129.

Изд графа С. Д. Шереметева, Спб. 1878 г. Въ этомъ томѣ помѣщена статья. „Извѣстіе о жизни и стихотвореніяхъ И. И. Дмитріева“, написанная кн. Вяземскимъ въ 1823 г.

²⁵⁾ „Историко-литературная христоматія“, т. II, стр. 67.

²⁶⁾ Порфириевъ въ своей „Ист. рус. словесности“, въ статьѣ о Дмитріевѣ.

²⁷⁾ Сочиненія кн. Вяземскаго, т. I, стр. 131.

²⁸⁾ Тамъ же, 129.

²⁹⁾ Тамъ же, 146.

³⁰⁾ Тамъ же.

³¹⁾ Тамъ же, 144—145.

³²⁾ Тамъ же, 146.

³³⁾ „Историко-литературная христоматія“, II, 81.

³⁴⁾ Въ стихотвореніи: „Наслажденіе“ (1792 г.)

³⁵⁾ Сочиненія Вяземскаго, I, 124—125 и 149.

³⁶⁾ Тамъ же, 149.

³⁷⁾ „Взглядъ на мою жизнь“, 91—93.

³⁸⁾ Указаніе на Бухарскаго принадлежитъ Галахову (Истор.-литер. христом., II, 82).

³⁹⁾ Сочиненія Вяземскаго, I, 132.

⁴⁰⁾ „Исторія русской литературы“ А. Н. Пыпина, IV, 258 (изд. 1 899 г. Спб.)

⁵¹⁾ См. выше, стр. 11.

⁵²⁾ См. выше, стр. 9.

⁵³⁾ Сочиненія Вяземскаго, I, 165.

⁵⁴⁾ Тамъ же, 157—158.

⁵⁵⁾ Для примѣра, вотъ буриме Нелединскаго-Мелецкаго (даны риѳмы: *тряпичка, горчица, платокъ, свистокъ* и т. д.):

Бываль я молодецъ: сталь мокрая *тряпичка*.

Что прежде было медъ, теперь мнѣ то *горчица*.

Бывало поясомъ свой сдѣлавши *платокъ*,

Пуститься въ плясуны и въ зубы взять *свистокъ*

Довольно, чтобъ забыть большое *огорченье*;

А нынѣ! грусть пришла... и тщетно все *раченье*.

Ко счастью, человѣкъ ползетъ, какъ будто *ракъ*:

Ему бы все впередъ—онъ пятится, *дуракъ*!

Играеть смолоду, какъ въ чистой рѣчкѣ *щука*,

А съ лѣтами придутъ заботы, грусть и *скука*.

⁵⁶⁾ „Исторія русской литературы“ Пыпина, IV, 259.

⁵⁷⁾ Брошюра эта есть оттискъ статьи, помѣщенной въ Извѣстіяхъ Кіевскаго университета за 1899 годъ.

⁵⁸⁾ Брошюра Владимирова, стр. 4.

⁵⁹⁾ Тамъ же, 13—14.

⁶⁰⁾ Письмо Пушкина къ Гнѣдичу изъ Кишинева отъ 27 іюня 1822 г.

⁶¹⁾ Упомянутая выше брошюра, стр. 13.

⁶²⁾ Лучшее собраніе сочиненій В. Л. Пушкина то, которое издано подъ редакціей В. И. Саитова въ видѣ приложения къ журналу: „Сѣверъ“ за октѣбрь 1893 г.

⁶³⁾ См. стихотвореніе Дмитріева: „Путешествіе Н. Н. въ Парижъ и Лондонъ, написанное за три дня до путешествія“ (1803). Стихотвореніе это есть шутка автора по поводу отъѣзда Вас. Львовича за границу.

⁶⁴⁾ М. Халанський. „О віянні Вас. Л. Пушкіна на поетическое творчество А. С. Пушкина“. Харьковъ, 1900 г. (стр. 15).

⁶⁵⁾ „Історический Вѣстникъ“ за мартъ 1882 г., статья В. Авенаріуса: „Василій Львовичъ Пушкинъ“, стр. 606.

⁶⁶⁾ Суда—село, находящееся въ 50 верстахъ отъ Петербурга (по Варшавск. ж. дор.). Оно принадлежало Ив. Абр. Ганнибалу.

⁶⁷⁾ Гиршельдъ (1769—1792)—професс. Кильского университета. Его сочиненія: 1) *Landleben*; 2) *Der Winter. Eine moralische Betrachtung*; 3) *Theorie der Gartenkunst*; 4) *Von der Gastfreundschaft*.

⁶⁸⁾ А. М. Пушкинъ—дальній родственникъ Василія Львовича, четвероуродный братъ, какъ называетъ его Сайтовъ (см. приложенный къ вышеупомянутому изданію соч. В. Пушкина біографической очеркъ его, написанный Сайтовымъ, стр. XIV).

⁶⁹⁾ Сайтовъ, стр. IX.

⁷⁰⁾ Сочиненія кн. Вяземскаго, I, стр. XXIX.

⁷¹⁾ Сайтовъ, стр. X.

⁷²⁾ Халанский говоритъ, что извѣстіе о переводе В. Пушкинъ рус. пѣсенъ на фр. языкъ требуетъ еще подтвержденія (см. упомянутую въ 64-мъ примѣчаніи ст. Халанскаго, стр. 32 и 67).

⁷³⁾ Оба письма В. Пушкина къ Карамзину помѣщены въ изданіи его сочиненій подъ редакціей Сайтова, 1893 г.

⁷⁴⁾ Сайтовъ, стр. XIX, со ссылкою на Вигеля.

⁷⁵⁾ „А. С. Пушкинъ въ Александровскую эпоху“, изд. 1874 г. стр. 18.

⁷⁶⁾ „Историко-литературная христоматія“, т. II, стр. 173—174.

⁷⁷⁾ Старословомъ названъ Шишковъ.

⁷⁸⁾ Рѣчь безъ плана—разсужденія Шишкова; а далѣе намекъ на его обширные коментаріи къ Слову о полку Игоревѣ.

⁷⁹⁾ См. выпускъ III, 105.

⁸⁰⁾ Сайтовъ, стр. XX.

⁸¹⁾ Такъ, напримѣръ, принималъ эту эпиграмму еще въ 1882 г. Авенаріусъ (см. его статью о В. Пушкинѣ въ Историческомъ Вѣстникѣ за мартъ указанного года, 612).

⁸²⁾ См. тамъ же.

⁸³⁾ „Горе отъ ума“, дѣйствіе III, явл. 22-е.

⁸⁴⁾ Халанский, стр. 26—27.

⁸⁵⁾ Первые два стиха взяты изъ посланія къ арзамасцамъ, а послѣдніе изъ посланія къ Дашкову 1811 года.

⁸⁶⁾ „Історический Вѣстникъ“, мартъ 1882 г., стр. 608.

⁸⁷⁾ Сайтовъ, стр. XVII.

⁸⁸⁾ Халанский, стр. 24.

⁸⁹⁾ А. Измайлова цитируемъ по „Полному собранию его сочиненій“, изд. въ Москвѣ, въ 1891 г.

⁹⁰⁾ „А. С. Пушкинъ и его предшественники въ русской литературѣ“, стр. 17—18.

⁹¹⁾ См. выпускъ III, ст. о Радищевѣ.

⁹²⁾ Полное собр. соч. А. Измайлова. т. III, стр. 149, 156—157, 158—162, 162—164, 290—294.

⁹³⁾ Тамъ же, 191—192.

⁹⁴⁾ Тамъ же, 155.

95) Тамъ же, 185.

96) Тамъ же, 238.

97) Тамъ же, 306.

98) Тамъ же, 277—278.

99) Тамъ же, 174—175.

100) Тамъ же, 172—173 и 190—191.

101) „Русская Старина“ 1900 г., июнь, юль, августъ, сентябрь и д. Название статьи: „Александръ Ефимовичъ Измайлова“. Авторъ ея—Кубасовъ.

102) „Русская Старина“ 1900 г., июнь, стр. 559.

103) Тамъ же, августъ, стр. 412.

104) Тамъ же, стр. 414.

105) См. тамъ же, стр. 413—414.

106) Тамъ же, июнь, стр. 579.

107) Выписки изъ повѣсти: „На другой день“ приводимъ по тексту, напечатанному въ „Историко-литературной христоматіи“ Галахова.

108) Сочиненія Гоголя, изд. 13-е (редакція Тихонравова). Спб., 1896 г. т. IV, стр. 260—261.

109) Это говорить Галаховъ въ своей статьѣ, помещенной въ „Современникѣ“ 1849 г., томъ XVIII. Статья (стр. 60—97) посвящена разсмотрѣнію Измайлова, какъ баснописца. Авторъ занимается сперва чисто теоретическимъ вопросомъ: къ какому роду басенъ принадлежать басни Измайлова (стр. 60—71); далѣе указывается въ нихъ черты современности, потомъ переходитъ къ баснямъ съ общимъ содержаніемъ, отиѣщаетъ заемствованія, и заканчивается статью нѣсколькими замѣтками о языкѣ басенъ Измайлова.

110) „Современникъ“ 1849 г. т. XVIII, стр. 85—86.

111) Тамъ же, стр. 92.

112) Тамъ же, стр. 69.

113) „Русская Старина“ 1900 г., сентябрь, стр. 620.

114) „Современникъ“ 1849 г., стр. 90.

115) Тамъ же, стр. 88, и „Русская Старина“ 1900 г., сентябрь, стр. 621, гдѣ буквально повторены слова Галахова.

116) „Современникъ“ 1849 г., стр. 88.

117) „Русская Старина“ 1900 г., сентябрь, стр. 624.

118) Тамъ же, июнь, 572—573.

119) Тамъ же, 556—557. Для біографіи Измайлова мы пользуемся подробной статьей Кубасова и еще болѣе подробными статьями Галахова, помещенными въ „Современникѣ“ 1850 г., № № 10 (стр. 53—100) и 11 (стр. 1—64).

120) „Русская Старина“ 1900 г., июнь, 564.

121) Подробнѣе см. въ вышеуказанной (въ примѣч. 119-мъ) статьѣ Галахова, которой мы и пользуемся, описывая журналъ Измайлова.

122) Полное собр. сочиненій Измайлова, т. I.

123) „Современникъ“ 1850 г., № 10, стр. 92.

124) Тамъ же, № 11, стр. 27.

125) „Русская Старина“ 1900 г., июнь, стр. 582.

126) Тамъ же, юль, стр. 71.

127) Тамъ же, стр. 72.

128) Тамъ же, 77.

129) „Современникъ“ 1850, № 11, стр. 54.

130) Пыпинъ въ своей „Исторіи русской литературы“ машетъ нужнымъ

сказать об Измайловѣ лишь слѣдующее: „Онъ началъ чувствительными по-вѣстями въ стилѣ Карамзина (?), потомъ издавалъ журналы, особенно съ 1818 года «Благонамѣренный», извѣстный въ свое время халатною простотою издательства. Такою же безцеремонной простотой сюжетовъ и языка отличались его басни: темы ихъ бывали обыкновенно заимствованныя (?), но Измайловъ передавалъ ихъ своеобразной грубоватой манерой, которая привилась не весьма разборчивымъ читателямъ... Онъ былъ извѣстенъ, какъ «писатель не для дамъ»“ (IV, 291).“

¹²¹⁾ „Василій Трофимович Нарѣжный“. Историко-литературный очеркъ, удостоенный Уваровской преміи въ 1893 году. Спб., 1896 г., изд. 2-ое. Книга состоитъ изъ двухъ частей: I—стр. 1—109; II—стр. 1—159.

¹²²⁾ Бѣлозерская, II, 4—5.

¹²³⁾ Тамъ же, 6.

¹²⁴⁾ Выписки изъ романа приводимъ по изданію 1835—1836 г. (Спб., типографія Смирдива, въ двухъ частяхъ).

¹²⁵⁾ Бѣлозерская, II, 57.

¹²⁶⁾ Выписки изъ „Славенскихъ вечеровъ“ приводимъ по изданію 1835—1836 г.

¹²⁷⁾ „Славенскіе вечера“, стр. 150.

¹²⁸⁾ Тамъ же, 108.

¹²⁹⁾ Тамъ же, 125.

¹⁴⁰⁾ Тамъ же, 57.

¹⁴¹⁾ Тамъ же, 168—169, въ повѣсти: „Любославъ“.

¹⁴²⁾ Тамъ же, 199—200.

¹⁴³⁾ Въ „Историко-литературной христоматіи“, т. II, 293—294.

¹⁴⁴⁾ Бѣлозерская, II, 78; М. И. Сухомлиновъ: „Изслѣдованія и статьи по русской литературѣ и просвѣщенію“, т. I, 427.

¹⁴⁵⁾ Бѣлозерская, II, 81—82.

¹⁴⁶⁾ Тамъ же, 95.

¹⁴⁷⁾ Тамъ же, 96.

¹⁴⁸⁾ Си. предисловіе Нарѣжнаго къ его роману.

¹⁴⁹⁾ Си. въ III-мъ выпускѣ статью о мистицизмѣ.

¹⁵⁰⁾ М. Лонгиновъ: „Новиковъ и московскіе мартинисты“, изд. 1867 г. стр. 101.

¹⁵¹⁾ Бѣлозерская, II, 94.

¹⁵²⁾ Выписки изъ „Аристіона“ приводимъ по изданію 1835—1836 г.

¹⁵³⁾ „Исторія русской словесности“, II, 182, изд. 1880 г.

¹⁵⁴⁾ Тамъ же, 183.

¹⁵⁵⁾ Выписки изъ повѣсти: „Марія“ приводимъ по изданію 1835—1836 г.

¹⁵⁶⁾ Выписки изъ повѣсти: „Запорожецъ“ приводимъ по изд. 1835—1836 г.

¹⁵⁷⁾ Выписки изъ „Бурсакъ“ приводимъ по изданію 1835—1836 г.

¹⁵⁸⁾ „Бурсакъ“, I, 283—284.

¹⁵⁹⁾ Тамъ же, II, 130.

¹⁶⁰⁾ Тамъ же, II, 374.

¹⁶¹⁾ Издание книжнаго магазина „Нового Времени“.

¹⁶²⁾ „Бурсакъ“. I, 143—145.

¹⁶³⁾ „Исторія русской словесности“ II, 184.

¹⁶⁴⁾ Выписки изъ повѣсти: „Два Ивана“ приводимъ по изданію 1890 г. („Семейная Библіотека“ А. Чудинова, Спб. № 10 и 11-й).

¹⁶⁵⁾ Полное собр. соч. кн. П. А. Вяземскаго, I, 203—204 (изд. 1878 г.).

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Дальнѣйшій обзоръ литературы Александровской эпохи.

I. Подражатели Карамзина.

Подражатели „Бѣдной Лизы“ и „Писемъ русскаго путешественника“.—Распространеніе сентиментализма

стр.

1

II. Дмитріевъ.

„Взглядъ на мою жизнь“, какъ одно изъ наиболѣе цѣнныхъ произведеній Дмитріева.—Краткая внѣшняя его біографія.—Его воспитаніе, образованіе и вліяніе на него литературы иностранный и русской.—Отношеніе его къ нашимъ писателямъ старымъ и новымъ.—Его розовый взглядъ на старину и, не смотря на это, его умѣренный консерватизмъ.—Черты личности Дмитріева, родившія его съ тѣми писателями, вліянію которыхъ онъ поддавался

9

Обзоръ поэзіи Дмитріева.

Общий характеръ поэзіи Дмитріева.—Произведенія, дававшія современникамъ поводъ видѣть въ Дмитріевѣ Державина.—Отголосокъ поэзіи Хераскова.—Произведенія, сближавшія Дмитріева съ Богдановичемъ.—Слѣды вліянія поэзіи, служившей Вакху и Эроту.—Сходство съ Карамзиномъ.—Языкъ Дмитріева.—Взглядъ кн. Вяземскаго и самоопѣнка Дмитріева.—Произведенія сатирическія и басни.—Замѣтка о мелкихъ стихотвореніяхъ.—Мѣсто, отведенное Дмитріеву въ „Исторіи литературы“ Пыпина, и указанія профессора Владимірова

22

III. В. Л. Пушкинъ.

Первый взглядъ на сочиненія Пушкина.—Его басни, характеризующія автора.—Его сказки.

56

Чувствительность, мечтательность и идиллическія стремленія В. Пушкина.—Противорѣчащая имъ любовь его пожить.—Его возвышенные интересы.—Жизнь Василия Львовича, какъ рядъ фактовъ, отражающихъ его личность

62

Значеніе посланія, какъ свободной литературной формы.—Посланія В. Пушкина.—Отразившаяся въ нихъ личность автора: его любовь къ

поэзии и просвещенію и его литературные вкусы.—Его отношение къ Шишкову.—Характеръ его патріотизма и его религіозныхъ воззрѣній.—Отношенія дяди къ племяннику.—Стихотвореніе: „Вечеръ“	69
Оцѣнка произведеній В. Пушкина прежними критиками и статья профессора Халанского.—Вопросъ о вліяніи дяди на поэтическое творчество племянника.	79

IV. А. Е. Измайлова.

Свообразное подражаніе Измайлова Карамзину.—Его романъ: „Евгений, или пагубный слѣдствія дурного воспитанія и сообщества“.—Его восточные повѣсти.—Нѣсколько словъ о Бенитцкомъ	83
--	----

Басни и сказки Измайлова.

Ихъ предметъ, рѣзкій тонъ автора и благородное его намѣреніе.—Вопросъ объ ихъ самостоятельности, о принадлежности ихъ къ известному виду, о захватываемомъ ими кругѣ людей.—Цинизмъ изображенія въ нихъ.—Впечатлѣніе, производимое ими на читателя.—Образная характеристика баснописца	112
Біографія Измайлова и дополнительная свѣдѣнія о его литературной дѣятельности.—Журналъ Измайлова: „Благонамѣренный“.	130

V. Нарѣжный.

Дѣтство и воспитаніе Нарѣжнаго.—Его первые литературные опыты.—Служба на Кавказѣ и романъ: „Черный годъ, или горскіе князья“	146
Дальнѣйшія біографическія свѣдѣнія о Нарѣжномъ.—Его „Славенскіе вечера“.—Вліяніе на нихъ произведеній западно-европейской литературы и памятниковъ русской старины.—Отсюда—пестрый ихъ характеръ.—Субъективный элементъ въ нихъ, опредѣляющій чувства, мысли и идеалы автора	153
Еще двѣ повѣсти изъ древне-русской жизни.—Скудость біографическихъ свѣдѣній о Нарѣжномъ.—Его романъ: „Российскій Жилблазъ“.—Его повѣсти: „Аристонъ“, „Марія“ и „Запорожецъ“	162
Романъ: „Бурсакъ“ и повѣсти: „Два Ивана, или страсть къ тяжбамъ“.—Неоконченный романъ: „Гаркуша, малороссійскій разбойникъ“.—Общий взглядъ на произведенія Нарѣжнаго	187

